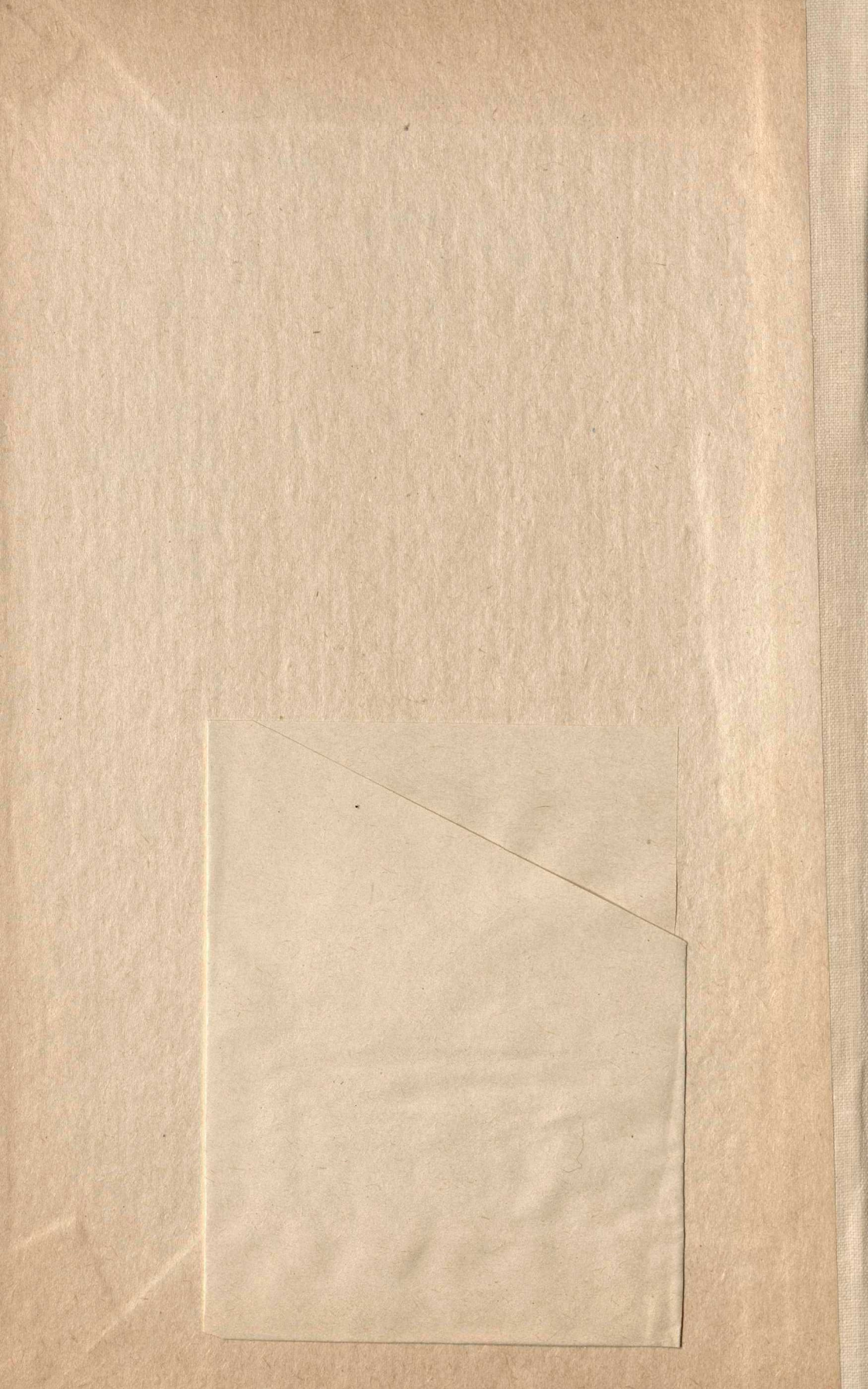


7
W

249

664



249
664 [106 кн.]

ВЕНОК

БЕЛИНСКОМУ

СБОРНИК
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. К. ПИКСАНОВА



„НОВАЯ МОСКВА“

W 249
664

—



471



1900 7. 11

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
КОМИТЕТ ПО ЧЕСТВОВАНИЮ ПАМЯТИ В. Г. БЕЛИНСКОГО


249
664

ВЕНОК БЕЛИНСКОМУ

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БЕЛИНСКОГО
РЕЧИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЫ

РЕДАКЦИЯ Н. К. ПИКСАНОВА

XXIV-47120-
У



„НОВАЯ МОСКВА“

1924

Отпечатано в типо-хромолитграфии

„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“

(бывш. 7-я) Мосполиграф,

в количестве 1.000 экз.

Мосгублит № 6474.

Обложка работы

художника Н. Н. Вышеславцева.

251, 1-1114

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
От редактора	III
I. Новые тексты Белинского 1—59	
— В. С. Спиридонов. Неизвестный Белинский. Вступительная заметка	3
1. „Оборона летописи“ Буткова (с примечаниями В. С. Спиридонова)	5
2. „Руководство к всеобщей истории“ Лоренца (с примеч. Н. К. Пиксанова).	11
3. „История Малороссии“ Маркевича (с примеч. В. С. Спиридонова)	27
4. Письмо к В. П. Боткину 1838 (с примечаниями И. Л. Поливанова)	51
5. Из письма к Боткину 1841 (с примечаниями Н. К. Пиксанова)	58
II. Речи в заседании 13 июня 1923 г. 61—89	
1. А. В. Луначарский. Вступительное слово	63
2. П. С. Коган. От идеализма к материализму	71
3. П. Н. Сакулин. Проблема искусства в критике Белинского	81
4. А. И. Южин-Сумбатов. Белинский и театр	87
III. Исследования, характеристики, материалы . . . 91—285	
1. Л. Л. Сабанеев. Белинский и музыка	93
2. А. В. Бакушинский. Встреча Белинского с Сикстинской Мадонной	109
3. Н. Л. Бродский. Белинский и Тургенев	120
4. И. Р. Эйгес. Мышление в образах. (Белинский, Гончаров, Тургенев)	130
5. М. К. Клеман. Белинский в неизданных письмах Галахова к Краевскому	141
6. М. П. Алексеев. Белинский и Диккенс. (К истории английского влияния в русской литературе)	152
7. Р. И. Шор. К источникам „Дмитрия Калинина“. (Драма Раупаха „Крепостные“)	205
8. А. Я. Цинговатов. Белинский в сознании Блока	222
9. И. Л. Поливанов. Я. П. Полонский о Белинском- (По поводу неизданного письма)	236
10. В. Л. Комарович. Идеи французского утопического социализма в мировоззрении Белинского	243
11. П. Е. Будков. Белинский и Некрасов	273
12. Н. Ф. Бельчиков. Белинский и М. Штирнер	279
— Ред. К иллюстрациям	284



ОТ РЕДАКТОРА

ОТ РЕДАКТОРА

„Венок Белинскому“ появляется с большим запозданием. Этот сборник был задуман в 1923 году, в связи с учреждением, под председательством А. В. Луначарского, Юбилейного Комитета по чествованию памяти В. Г. Белинского, при Российской Академии Художественных Наук. Речи на торжественном соединенном заседании Академии и Общества Любителей Российской Словесности в Большом зале Консерватории 13 июня и доклады в соединенном заседании пленума Академии и Юбилейного Комитета 5 декабря давали уже большой материал для сборника. К нему потом присоединились и другие работы по Белинскому, который поныне владеет мыслью читателей и исследователей, — и состав сборника был установлен к концу 1923 года. Однако, сношения с иногородними авторами, поиски иконографического и рукописного материала, обычные затруднения с печатанием замедлили выход книги в свет. Впрочем, замедление имело отчасти и хорошие результаты, так как в последнее время удалось включить в сборник кое-что новое и ценное.

Содержание книги естественно распадается на три отдела: I. Новые тексты Белинского (статьи и письма); II. Речи на юбилейном заседании 13 июня 1923 года; III. Исследования, характеристики, материалы. Книга украшена иллюстрациями, впервые появляющимися в печати (снимки с редчайшего портрета работы К. А. Горбунова, с бюста работы В. Н. Домогацкого, с редких портретов родственников Белинского, с автографов его и Я. П. Полонского).

Некоторые из статей третьего отдела исполнены по предложению редакции: „Белинский и музыка“, „Встреча Белинского с Сикстинской Мадонной“, „Белинский в неизданных письмах Галахова“, „Белинский и Некрасов“. Иные из обещанных для сборника работ не могли быть доставлены по тем или другим причинам: „Белинский и Герцен“ (Л. Б. Каменева), „Белинский и Гейне“ (П. С. Когана), „Белинский в потомстве“ (Н. Л. Бродского), „Белинский и Пушкин“ (Ю. Г. Оксмана). Хочется думать, что они все-же появятся потом в свет.

В подготовке сборника к печати редактору помогли Н. Ф. Бельчиков и А. А. Губаревич-Радобыльская. Получению иллюстраций оказали содействие Н. К. Козмин, А. И. Кондратьев и Н. В. Некрасов.

Н. Пиксанов

I

Н О В Ы Е Т Е К С Т Ы
Б Е Л И Н С К О Г О

202

2000

НЕИЗВЕСТНЫЙ БЕЛИНСКИЙ.

(Вступительная заметка).

Покойный С. А. Венгеров, задавшись целью дать нам по возможности полного Белинского, руководствовался при установлении принадлежности той или иной статьи критику—1) полной подписью, 2) псевдонимами и инициалами критика, 3) указаниями в переписке Белинского, 4) косвенными указаниями и разного рода догадками, 5) Галаховскими списками „незначительных“ статей Белинского, приложенными в хронологическом порядке к отдельным томам собрания сочинений Белинского в издании Соддатенкова и 6) журнальными записями или реестрами Галахова, заключающими в себе предварительную запись книг, разобранных для рецензирования Катковым, Белинским, Кудрявцевым, самим Галаховым и др.

Источники разнообразны и богаты. Но среди них мы не находим одного, весьма важного источника, это — текста журналов, где печатался Белинский. Обследование самих журнальных текстов, подкрепленное другими источниками, только и может дать нам полного и подлинного Белинского. Из труда С. А. Венгерова видно, что он проделывал эту работу, но проделывал частично, отрывочно, главным образом при редактировании первых томов своего издания. Полного, систематического обследования текста журналов, в которых работал Белинский, он не произвел, иначе он не пропустил бы таких статей, как „Вступление“ к „Физиологии Петербурга“ Некрасова (установлена проф. П. Н. Сакулиным. См. „Известия II Отд. Академии Наук“, т. XVI, кн. 31), „Иван Андреевич Крылов“ (напечатана проф. Н. Л. Бродским в четвертом номере журн. „Печать и Революция“ за 1923 г.), статью о „Руководстве к всеобщей истории“ Фридриха Лоренца (установлена Р. И. Ивановым-Разумником. См. „Рус. Ведомости“ 1911, № 122) и многие другие, которые, если можно так выразиться, лежали открыто, сами напрашивались в список статей Белинского. Правда, издание С. А. Венгерова остановилось на одиннадцатом томе. Но двенадцатый том, которым должен был закончиться текст Белинского, в смысле полноты издания не дал бы нам ничего нового, ибо сам редактор,—оставляя для этого двенадцатого тома второй цикл статей Белинского о Пушкине, его „Вступление“ к „Физиологии Петербурга“ Некрасова (С. А. Венгеров почему-то назвал эту статью „небольшой заметкой“ из „Петербургского Сборника“ Некрасова) и „цензурные выкидки“ из статьи об „Истории Петра Великого, напечатанные Н. О. Лернером в „Сев. Записках“ (1915, № 4), — писал в предисловии к одиннадцатому тому своего издания: „С точки зрения историко-литературной новизны настоящий том вполне заканчивает издание“.

Восполнение пробела в труде С. А. Венгерова, т.-е. исследование текста журналов — очередная работа, которую мы должны проделать, если хотим иметь

по возможности полного Белинского. Работа сложная и страшно кропотливая, за которую правильнее было бы приняться не одному, а группе лиц, которые, производя эту работу, могли бы взаимно проверять и дополнять друг друга.

Архив и библиотека С. А. Венгерова, согласно воле последнего, после его смерти перешли в Петроградский Институт Книговедения, где покойный был директором, и ныне составляют там особый отдел, под названием: „Архив С. А. Венгерова“. Коллегия Института постановила, в виду приближавшегося семидесятипятилетия со дня смерти нашего критика, в первую очередь закончить труд С. А. Венгерова по редактированию и комментированию полного собрания сочинений Белинского и поручила эту работу выполнить мне, состоявшему тогда заведующим „Архивом С. А. Венгерова“.

Взяв на себя эту ответственную работу, я при редактировании двенадцатого тома полного собрания сочинений Белинского сосредоточил главное внимание на обследовании текста журналов, в которых работал критик. В результате длительных поисков мне удалось установить с достаточной несомненностью принадлежность Белинскому трех переводов из Александра Дюма и восьмидесяти статей, рецензий и заметок, а затем наметить около ста рецензий, в которых имеются несомненные признаки авторства Белинского, но относительно которых я пока не решаюсь высказаться определенно, предварительно не проверив и не дополнив своих наблюдений. В числе установленных рецензий имеется десять, на принадлежность которых Белинскому мне впервые указал проф. Н. Л. Бродский, за что выражаю ему глубокую признательность; в примечаниях к XII тому полного собрания сочинений Белинского будет указано, о каких именно рецензиях здесь идет речь.

XII том сдан уже в печать, и можно надеяться, что он скоро увидит свет. А пока, пользуясь любезностью Н. К. Пиксанова, я помещаю в настоящем сборнике из вновь найденных мною работ Белинского две статьи.

Василий Спиридонов.

К статьям, избранным В. С. Спиридоновым, присоединена еще статья о „Всеобщей истории“, Лоренца

Р е д.

Оборона Летописи Русской Несторовой от Навета Скептиков.

Санктпетербург. 1840. В тип. Импер. Российской Академии. В 8-ю д. л. VI, 462 и LXV стр.

Книги, подобные „Обороне Летописи Русской“,—истинная редкость не только в нашей, но и в какой угодно европейской литературе: это плод многолетних напряженных трудов, плод обширных сведений и неутомимого внимания, направленного на критический разбор даже самых мелочных и, повидимому, несколько отдаленных от предмета, но действительно относящихся к нему фактов. В то время, когда наша беллетристическая литература рассыпается в фейерверочных искрах легоньких повестей и красиво-напечатанных виршах, или исчезает, как в клубах дыма, в серобумажных романах фризурных сочинителей,—ученая литература дарит нас, время от времени, такими произведениями, которые могут составить капитал науки и послужить действительным, прочным основанием к дальнейшим приобретениям. Таково и сочинение г-на Буткова, о котором мы говорим теперь, и которое бесспорно составляет важнейшую ученую книгу из всех появившихся в нынешнем году на русском языке.

Г. Бутков, если не ошибаемся, не издавал еще для публики отдельно критических своих исследований о древнем периоде русской истории и ограничивался только помещением своих статей по этой части в разных периодических изданиях. Теперь он решился, так сказать, собрать в одну книгу свои критические разыскания, свои убеждения, основанные на долговременных, внимательных исследованиях, и направить эту книгу против тех русских ученых, которые, вследствие также долговременных и—верим несомненно—добросовестных трудов, убедились, что летопись, известная под

именем „Несторовой“ и служащая до сих пор основанием древней истории России до XI-го века, не есть рукопись, составленная одним человеком; что, напротив, в ней к преданиям, искажившимся от времени, присоединились сказания о происшествиях иноземных, только примененных к русским событиям; что инок Киево-печерского монастыря Нестор мог оставить нам не более, как монастырские записки о событиях монастыря, к нему близких и достоверно ему известных, а все прочее принадлежит не ему и смешано с его записками после; что, следовательно, все сказания летописи о Рюриках, Аскольдах, Дирах, Олегах, Игорях, Ольгах, Святославах, Владимирях и Ярославах не могут быть признаны за достоверные, не будучи подтверждены ни современными сказаниями иностранцев, ни философией истории; что, поэтому, несправедливо почитают Новгород основанным в IX веке; что, в противность уверениям шлецеровой школы, не существовало Варяго-Руссов, пришедших с севера, но что Варяги были славяне, пришедшие на север России в XII-м веке, а Руссы искони обитали на юге ее, и проч. и проч. Все эти исследования так названных г-м Бутковым „скептиков“ очень важны и основаны на таких совестливых убеждениях, на каких должны основываться все ученые разыскания. Но, к сожалению, до сих пор еще они известны в отрывках, рассеянные там и сям по журналам. Г. Бутков мог собрать только 18 статей, против которых и поставил свою „Оборону“.

Вся книга его разделяется на две части: первая касается только летописи, приписываемой Нестору, и содержит в себе рассмотрение следующих вопросов: 1) на такой ли степени образования стояла Россия в XI веке, чтоб могла иметь тогда собственного летописца? 2) источники Летописи Русской, 3) Руссы Аскольдовы и договоры Олега и Игоря, 4) Руссы Шлецеровы и Эверсовы, 5) кто были Руссы и Варяги по понятию скептиков? и 6) основание Новгорода и его торговля.—Вторая часть относится собственно до Нестора и состоит из следующих шести глав: 1) явление Нестора; образование сего инока; начало и конец его временника; 2) разбор мнения скептиков о древних монастырских записках; 3) связь с летописью несторовых отдельных повестей о Борисе и Глебе, о зачале Печерского монастыря и о житии Θεодосиевом; 4) средства Несторовы к собиранию для летописи материалов; 5) о Василии, Сильверсте и Татищеве и 6) с каких пор Нестор известен в звании летописца?—Почти половина книги занята примечаниями, объяснениями, ссылками и также критическими разысканиями. За „Примечаниями“ следует „Прибавление“, состоящее из особой статьи: „О Руссах славянских, обитавших от устья Эльбы

по всему берегу Балтики и Финского Залива до вершин Днепра и Волги и до впадения Днепра в Черное море“, написанной по поводу статьи г-на Морошкина „О Руссах Славянских“. Ко всему этому присоединен „Указатель лиц, географических имен и замечательных предметов“. Одним словом это — сочинение, облеченное во всеоружие ученой книги.

Привыкши всегда отдавать почет труду честному и полезному, мы готовы были бы посвятить все свое время на то, чтоб подробно рассмотреть книгу г-на Буткова и высказать свои собственные убеждения касательно исследуемых им вопросов; но нас останавливает одно важное обстоятельство, которое до времени, кажется, должно было бы прекратить все подобные исследования, — именно: у нас нет еще летописи, изданной так, чтоб любознательный археолог мог положиться на нее, как на список возможно вернейший. Все, что было издано до сих пор, сделано по отдельным спискам и неполно; во всех изданных донныне списках встречаются разноречия, которые могут быть приписаны и умышленному произволу издателей, хотевших читать известные места летописи так, а не иначе, или невольным ошибкам при списывании и печатании. Только одна Археографическая Комиссия, имеющая теперь в своем распоряжении все существующие в России списки летописи — и харатейные и бумажные, да сверх того собравшая огромное число разных летописных сборников, — только она одна может дать нам летопись в настоящем ее виде, с вариантами, примечаниями, комментариями, снимками; тогда только — никак не прежде — вопрос о достоверности летописи и сказаний ее может быть рассматриваем со всех его сторон; тогда же можно будет рассматривать и вопрос о самом Несторе, как летописце. Судя по известиям, помещенным в журнале „Министерства Народного Просвещения“, мы должны скоро ожидать издания летописи, приготовляемого Археографическою Комиссиею и долженствующего составить эпоху в трудах наших по русской истории. До того же времени, казалось бы, приличнее всего — ждать и готовить свои нападения или обороны для того, чтоб предложить их ученому свету в то время, когда они будут опираться уже на прочном неколеблемом основании. В летописи, написанной, по мнению не-скептиков, за семь веков перед сим, важно не только каждое слово, — каждая буква: а кто поручится, при разноречии списков, что известное слово написано правильнее в одном, нежели в другом? Все это должно быть еще озарено и выяснено историческою даже палеографическою критикою, утверждающеюся на своде и сличении всех существующих списков летописи, и тогда только возможно спорить о достоверности или не-

достоверности „Повести временных лет“ и выводить свои заключения как из априорного, так и из апостериорного воззрения на нее.

По одной уже невозможности рассматривать вопросы, которые задал себе г. Бутков (не говорим о многих других причинах), мы никак не скажем, чтоб он успел „оборонить летопись от навета скептиков“, при всяком утверждении его, человек хоть немного знакомый с делом, поусомнится и поостережется верить ему, ибо эта вера пока должна быть верою на слово. Не скажем также ничего и о „разборе разных других, более занимательных (как говорит сам автор), новейших исследований, относящихся до древней Истории Российской и помещенных в „Примечаниях“.

Не менее того труд г. Буткова, как труд ученый, заслуживает полную благодарность всех принимающих участие в успехах отечественной истории. Автор, как видно, знакомый со многими иностранными языками, перечел, кажется, все, что прямо или косвенно относится к древнейшей русской истории и что напечатано на языках латинском, греческом, французском, немецком или английском; сверх того, прочел и обсудил, с своей точки зрения, все, решительно все, что только было написано у нас о летописи Несторовой, как в защиту, так и в опровержение ее достоверности; не пропустил не только ни одной книги, ни одной журнальной статьи, когда-либо и где-либо напечатанной, но даже заметил каждый мимоходный намек, сделанный в какой-нибудь газете, в статьях, иногда вовсе неотносящихся прямо к его предмету. Согласитесь, что одна только пламенная, бескорыстная, постоянно твердая любовь к науке может поддержать человека в подобном подвиге; только одно чистое и благородное желание утвердиться в своих убеждениях и ученых верованиях может отважить на такое тяжелое дело, требующее и огромного запаса времени, и неутомимого трудолюбия! Много ли у нас, со времени издания „Истории Государства Российского“ появилось таких обдуманых, с таким постоянным, неуклонным трудом составленных произведений по части русской истории? Поищите-ка: ни одного не найдете! Удовлетворительны или не удовлетворительны покажутся вам все доводы автора, — вы все-таки обязаны будете отзываться с уважением о труде его, хотя бы этот труд не заключал в себе никакого другого достоинства, кроме беспримерности... Мы нисколько не хотим этим сказать, чтоб труд г. Буткова не заключал в себе никакого другого достоинства, — напротив, одно уже то, что он собрал во едино — с одной стороны, все возражения так называемых им „скептиков“, а с другой — все возможные опровержения или защищения, которые когда-либо высказываемы были в утверждение достоверности „русской не-

сторовой летописи“ — одно это делает книгу его драгоценным сборником для каждого, кто интересуется вопросами древней истории России. Притом же, мы уверены, она поведет нашу историческую критику к дальнейшим открытиям: „скептики“, наверно, не оставят книги г. Буткова без возражения. Да и неприлично было бы им уклоняться от боя тогда, как есть возможность полагать, что победа останется на их стороне. Только пусть же они и изготовятся к защите своей так, как готовился г. Бутков к нападению на них: без этого бой не может быть равен, и они легко могут проиграть. Не отрывочные журнальные или газетные статьи нужны теперь: нужен полный, обдуманый и на прочных началах основанный трактат; нужно вывести наружу все свои убеждения — не с намеками только, но со всеми цитатами, со всеми пособиями, какие могут доставить сведения, обнародованные и отечественными и иностранными исследователями. Но мы уверены также, что „скептики“ не начнут этого дела прежде, нежели Археографическая Комиссия вполне окончит свое издание летописи: без этого они строили бы свою оборону на рыхлой, ненадежной почве...

От чистого сердца отдавая полную справедливость полезному и достойному всякого уважения труду г. Буткова, мы никогда не осмелимся поднять руку, чтоб обвинить его в его равнодушии и выражениях не совсем скромных, иногда употребляемых им против „скептиков“. Нет, никогда не поставим мы в вину горячую привязанность к своему убеждению! Равнодушие автора нам понятнее, может быть, нежели кому-нибудь другому, ибо там, где дело касается до противоречия нашим задушевному убеждениям, редко можем мы сохранить полное хладнокровие; убеждение мое — часть меня самого: если кто покушается отнять его у меня, я защищаюсь и, без сомнения, с жаром, до последней возможности, как защищался бы против всякого, кто хотел бы покуситься на мою жизнь или нанести мне рану. Убеждение мое — моя святыня; я не позволю оскорблять ее, и не откажусь от нее произвольно. Другое дело, если у меня не было никаких человеческих верований, никаких задушевных убеждений, которые срослись бы с внутренним существом моим: тогда я шутил бы над всем, и от всякого противоречащего мнения, от всякой противоположной системы отделялся бы шуточками, иногда язвительными, иногда ничего незначащими; но такое равнодушие в деле науки всегда указывало бы мое неуважение к ней и отсутствие во мне истинного убеждения в чем бы то ни было. Если же это убеждение есть, если дело истины — мое кровное дело, принимаемое мною прямо к сердцу — о, тогда прошу извинить: хладнокровным быть не могу и не буду! Да и ска-

жите, бога ради, отчего же позволяют честному человеку говорить горячо против порока, разврата, бесчестности и отстаивать права добродетели, а ученому не хотят дозволить нехладнокровной фразы, сказанной в защиту идеи, с которою, прожив несколько лет, он сроднился, и в истине которой он убежден? Разве истина священна менее добродетели?.. Итак, будучи далеки от того, чтоб порицать г. Буткова за его равнодушие в споре с антагонистами, мы видим в этом только доказательство, что он глубоко убежден в верности своей системы; а всякое искреннее убеждение — в наших глазах, почтенно. Если можно упрекнуть автора в чемнибудь, так разве в том, что он в „Примечаниях“ своих нередко только указывает на статьи свои, помещенные некогда в разных журналах и газетах. Почему бы, казалось, не перепечатать этих статей в виде приложения же к книге? А то, посудите, всякий ли имеет возможность отыскать тот номер газеты или журнала, где находится указанная статья, — и особенно газеты: многие ли сберегают у себя летучие листки, чаще всего употребляемые на обертки?

„От. Записки“ 1840, т. XI № 8, отд. VI, стр. 46—50. — Ценз. разр. около середины августа 1840 г.

Принадлежность Белинскому этой рецензии, ценной в биографическом отношении, я основываю на следующих признаках: во-первых, „Оборона Летописи“ принадлежала к числу петербургских изданий, которые чаще всего рецензировал Белинский; во-вторых, жалоба рецензента, весьма характерная для Белинского, на недостаток у нас трудов по истории; в-третьих — как и в этой рецензии, книга Буткова отмечена в числе „примечательных явлений по части ученой литературы“ в статье Белинского „Русская литература в 1840 году“ (издание Венгера, т. V, стр. 500—501); в-четвертых — указание в рецензии, что у нас нет научно-изданных летописей, о чем Белинский не раз говорил в своих статьях; в-пятых, язык рецензии, в котором мы находим любимые словечки Белинского: „фризурный сочинитель“ (ср. т. IV, стр. 289; т. V, стр. 440), „совестливое убеждение“ (ср. т. X, стр. 11), „касательно“ вм. „относительно“ (ср. т. V, стр. 502; т. VIII, стр. 490; т. X, стр. 5 и 61); в-шестых, большая терпимость рецензента в отношении к недостаткам разбираемого труда, столь непохожая на Белинского вообще, но характерная для него в некоторые моменты его „примирения с действительностью“, когда он сам писал Боткину о своей второй статье о Лермонтове: „Кроткий тон ее — результат моего состояния духа: я не могу ничего ни утверждать, ни отрицать, и поневоле стараюсь держаться середины“ (Белинский. Письма, под ред. Е. А. Ляцкого. СПб. 1914. Т. II, стр. 144); и в-седьмых, самое главное: рассуждение на целой странице о святости своих убеждений, о готовности „с жаром, до последней возможности“ защищать их, как „кровное дело“. Кому же могло принадлежать это рассуждение, на первый взгляд так неидущее к делу, как не Белинскому, которому в период „примирения с действительностью“ приходилось защищать свои убеждения от жестоких нападок и насмешек со стороны друзей: Бакунина, Герцена, Каткова и др. (см. Белинский. Письма. Т. II, стр. 115, 118, 120 и 121).

В. Спиридонов.

Руководство к всеобщей истории.

Сочинение Фридриха Лоренца. Часть I. Санктпетербург. 1841.

Век наш — по преимуществу исторический век. Историческое созерцание могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современного сознания. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии. Мало того: само искусство теперь сделалось по преимуществу историческим; исторический роман и историческая драма интересуют теперь всех и каждого больше, чем произведения в том же роде, принадлежащие к сфере чистого вымысла. Люди ограниченные никак не могут примирить, в своем сухом и узком понятии, свободного вымысла фантазии с историческою действительностью, — и некоторые из них, с свойственным невежеству простодушием, громко, во всеуслышание, издеваются над историческим романом, как над нелепостью, которая оскорбляет здравый смысл и помрачает славу гения шотландского романиста: в слепоте своей, эти жалкие умники не видят, что все величие гения Вальтера Скотта именно в том и состоит, что он был органом и провозвестником века, давши искусству историческое направление. Упадок живописи в наше время происходит совсем не от того, что это искусство исчерпало все свое содержание и отжило свой век: нет, содержание всякого искусства есть действительность, следовательно, оно неисчерпаемо и неистощимо, как сама действительность... Можно утверждать с большим основанием, что живопись — не умерла, а только обессилела в наше время, стараясь держаться старых преданий, итти по следам, раз и будто бы, навсегда проложенным великими мастерами средних веков, сиюсь остановиться в сфере некогда могущественных и великих, но теперь уже мертвых интересов и не делаясь искусством

по преимуществу историческим. Да, только в исторической живописи могут являться теперь великие творцы, ибо только историческая действительность может теперь дать живописи и живое содержание, и современный интерес... Таково влияние истории на современное искусство!

В знании историческое созерцание едва ли еще не больше заметно. Давно ли эстетика шла своим особым путем, не спрашиваясь у истории, не соприкасаясь с нею? Еще и теперь многие добрые люди, повторяя чужие зады, пренаивно уверяют, что искусство само-по-себе, а жизнь — сама-по-себе, что между тем и другою нет ничего общего, и что искусство унизилось бы, снизойдя до современных интересов. Действительно, если под „современными интересами“ разуметь моды, биржевой курс, сплетни и мелочи света, то искусство играло бы слишком жалкую роль, если б унизилось до симпатии к таким „современным интересам“. Так и было с искусством во Франции, когда оно заставляло греческих и римских героев выражать современные дворские сплетни. Нет, не то разумеется под историческим направлением искусства: это или современный взгляд на прошедшее, или мысль века, скорбная дума, или светлая радость времени; это не интересы сословия, но интересы общества; не интересы государства, но интересы человечества; словом, это общее, в идеальном и возвышенном значении слова... Мы теперь знаем уже, что искусство, как выражение сознания того или другого народа и целого человечества в известную эпоху, — есть как бы биение пульса его жизни, а потому и развитие и история искусства тесно связаны с развитием и историею народа или человечества. Вследствие этого, мы теперь знаем, что у новейших народов Европы, с тех времен, когда они познакомились с древними литературами, не могло, да и никогда не может быть эпопей в роде „Илиады“ и „Одиссеи“, и что „Освобожденный Иерусалим“, „Потерянный Рай“, „Мессиада“ и т. п. суть произведения людей даровитых, но отнюдь не гениальных, — произведения блестящие, но в то же время и ложные... Мы теперь знаем, что сатира не есть осмеяние пороков для исправления нравов, но что это есть высший суд над падшим обществом, его предсмертный раздирающий душу вопль, и что Персии и Ювеналы явились в римской литературе не случайно, а необходимо, и притом в самую пору, так — что ранее не могли явиться... Мы теперь знаем, что роман и драма должны преобладать, в наше время, над всеми другими родами поэзии, как наиболее приличные и способные формы для выражения современной действительности. Мы теперь знаем, что поэты нашей эпохи не могут быть ни классиками, ни романтиками, но что в их про-

изведениях должны заключаться и классицизм и романтизм, как прошедшее заключается в настоящем. И все это мы потому знаем, что знаем законы развития духа человеческого в истории...

В науке, собственно, влияние исторического созерцания так же ощутительно, как и в искусстве. Мы разумеем здесь преимущественно философию, как науку тех живых истин, которые положены краеугольными камнями мироздания. Впрочем, здесь влияние было взаимное: от успеха истории, как науки, сделался возможным окончательный успех философии, которая, в свою очередь, по мере собственных успехов, возвышала достоинство истории, как науки. Можно сказать, что философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах. По Гегелю, мышление есть как бы историческое движение духа, сознающего себя в своих моментах; и ни один философ не дал истории такого бесконечного и всеобъемлющего значения, как этот величайший и последний представитель философии...

Историческое созерцание проникло всю современную действительность — даже самый быт наш. Чувство общности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живет чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый по крайней мере претендует служить обществу, служа себе самому. Вражда между сословиями исчезает, и они примиряются в признании взаимной необходимости и взаимной важности для общества. Зависть уступает место соревнованию. Общественные предприятия возбуждают общий интерес, как дело, лично до каждого касающееся. Какая-нибудь железная дорога утверждается на основании опытов прошедшего, на предвидении результатов в будущем. Для обществ как будто исчезло различие между прошедшим, настоящим и будущим: общества равно живут теперь во всех трех этих отношениях времени, — и настоящее для них есть результат прошедшего, на основании которого должно осуществиться и их будущее. Прогресс и движение сделались теперь словами ежедневными. Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит. Каждое общество теперь в каждую минуту своего существования, представляется в нескольких поколениях, которые суть живые летописи прошедшего, свидетельство настоящего и пророчество будущего: это ступени исторического движения общества, ступени, едва ли отделенные друг от друга какими-нибудь пятилетиями!.. Так скоро все движется теперь...

Какая же причина этого скорого движения? — Созревшее историческое сознание, вследствие успеха в последнее время истории, как науки.

История была всегда и у всех народов: у одного как предание, у другого как сказка, у третьего как поэма, у четвертого как хроника, и т. д. У греков была даже художественная история, где с критическим анализом события соединялось их художественное изложение. Но это все еще не та история, о которой мы говорим: это еще простая история, как рассказ о событиях в жизни народа, а не история, как наука. Народ сам-по-себе еще немного значит, и сколько есть народов на земле, о которых мы знаем только то, что они есть, а больше ничего о них и знать не хотим. Притом же, повествование о том, что было, — еще не история. Средние века были богаты хрониками, в которых простодушные авторы описывали, что и как видели с своей точки зрения. Теперь история из хроники сделалась „мемуарами“. Но все это только материалы для истории, еще не история. Сущность истории, как науки, состоит в том, чтоб возвысить понятие о человечестве до идеальной личности; чтоб во внешней судьбе этой „идеальной личности“ показать борьбу необходимого, разумного и вечного с случайным, произвольным и преходящим, а в движении вперед этой „идеальной личности“ показать победу необходимого, разумного и вечного над случайным, произвольным и преходящим. Да, задача истории — представить человечество как индивидуум, как личность, и быть биографией этой „идеальной личности“. Человечество есть именно — „идеальная личность“: личность — потому что у него есть свое я, есть свое сознание, хотя и выговариваемое не одним, а многими лицами, свои возрасты, как и у человека, есть развитие, движение вперед. Идеальная — потому что нельзя эмпирически доказать ее существование, указав неверующему пальцем и сказавши: „вот человечество — смотри!“.

И однакож, сколько этих неверующих, которые никогда не признают существования того, на что нельзя указать, чего нельзя увидеть глазами, обонять носом, отвесть языком, услышать ухом, осязать рукою!.. Таково свойство всякой живой истины: сколько громко говорит она живой душе, столько нема для мертвой! Никто не усомнится в существовании человечества, как числительного собрания двуногих тварей, населяющих собою земной шар, но многие ли в состоянии понять, что человечество есть не только собирательное, но и еще и личное имя — название одного лица, которое, проживши несколько тысячелетий, подобно каждому человеку, отдельно взятому, не помнит своего рождения и первых лет своего бессознательного существования; которое, подобно каждому человеку, отдельно взятому, было младенцем, отроком, юношею, и теперь стремится к своей полной возмужалости, которое, подобно

каждому отдельно взятому человеку, всегда стремилось к положительному убеждению и знанию, и всегда отрицало свое убеждение и знание, чтоб, на его развалинах, основать более близкое к истине; которое, подобно человеку, заблуждалось и восставало, страдало и блаженствовало, и которого жизнь вечно будет состоять в том, чтоб заблуждаться и восставать, страдать и блаженствовать... Однакож, из этого отнюдь не следует, чтоб человечество стояло на одном месте, или чтоб оно стремилось от одной лжи к другой: нет лжи для человечества, но есть только старая истина, которая, разрушаясь, рождает из себя новую высшую истину, подобно фениксу, в новой красе возрождающемуся, по восточному преданию, из собственного пепла... Человечество движется не прямою линиею и не зигзагами, а спиральным кругом, так — что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины, — правда, поворота не вверх, а вниз; но для того вниз, чтоб очертит новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней, и потом опять итти, понижаясь, кверху... Вот почему человечество никогда не стоит на одном месте, но отодвигается назад, делая таким образом бесполезным пройденный прежде путь: это только попятное движение назад, чтоб с тем большею силою рвануться вперед... Сперва свет знания и цивилизации блеснул на берегах Ефрата, Тигра и Нила, но перешедши в Грецию, померк, — потом Греция же возвратила его, и уже не в том виде, в каком получила, но в большем и лучшем; Македонский герой разлил его до берегов Гангеса, утвердил в Сирии, Египте и Малой Азии... Погиб мир древний, с его цивилизациею и просвещением, с его искусством и правом; и что же? Варварские тевтонские племена, разрушившие Западную Римскую Империю с лихвою возвращают теперь земле Гомера и Платона взятое ими от нее, а смешавшиеся с римлянами вандалы и готы не вечно же будут дремать в позорном бездействии... Движение и развитие человечества основано на простом законе смертности отдельных лиц: народится поколение, образуется в известную форму, приобретет себе или просто привычкою усвоит себе, известный круг мыслей, известные убеждения и понятия, в которых и умирает, с которыми ему так же трудно расставаться, как с жизнью. Но вот следующее за ним поколение уже рознится от него: с жадностью принимает оно всякое нововведение, всякую новую мысль; старое поколение обыкновенно упрекает новое в вольнодумстве и разврате, а новое обыкновенно исподтишка смеется над старым, не слушая его, до тех пор, пока наконец не состарится само и не будет играть такой же роли в отношении к сменившему его поколению; — между тем, то, что в

начале казалось вольнодумством и развратом, в последствии признается и добрым, и истинным, и полезным.. Ведь было же время, когда сожжение на костре еретиков, вольнодумцев и чародеев считалось делом богоугодным, и когда величайшим безбожием могло показаться сомнение в необходимости и святости благонамеренного благочестивого аутодафэ; а теперь?.. Сколько же легло в землю поколений, связавших собою, подобно звеньям цепи, „тогда“ и „теперь“! Ведь такой переворот в образе мыслей не мог совершиться скоро! Сколько сожжено было вольномысливших о сожжении!.. Но одна только смена поколения поколением еще недостаточна для движения человечества по пути развития и совершенствования: в отношении к движению, юные поколения играют роль только плодородной почвы, на которой скоро принимаются семена преуспевания. Семена же эти бросаются на плодородную почву гениями — этими избранниками и помазанниками свыше, творящими волю посылающего их.. Иногда одного из таких гениев достаточно, чтоб оплодотворить живую мыслью целый век, — и если он властитель, подобно Александру Македонскому, Юлию Цезарю, Карлу Великому, Петру Великому, Наполеону — он покоряет себе массу; если же он является в мале, подобно тысячи представителей идеи, то большею частью несчастием жизни и раннею, преждевременною могилою утверждает в массах свою идею, — и часто те же люди, которые гнали его при жизни, потом готовы растерзать всякого, кто не захочет бессмысленно и безусловно боготворить благородную жертву их невежественного остервенения.. Но поколение, современное гению, проходит, — и следующие за ним беспечно рвут небесные цветы истины на могиле гения и упиваются их божественным ароматом, как бы не подозревая, что они возвращены кровью посеявшего их.. Но гении явление редкое; всякая сильная натура, всякий человек, превышающий окружающую его толпу, есть движитель в сфере своей деятельности, — и, таким образом, из совокупности многих частных движений, имеющих началом своим одного великого движителя, составляется общее движение масс. Мрачный дух сомнения и отрицания, как элемент, или, лучше сказать, как сторона всецелого и вечного духа жизни, играет в движении великую роль, отрывая отдельные лица и целые массы от непосредственных и привычных положений, и стремя их к новым и сознательным убеждениям..

Все сказанное нами — истины столько же несомненные, сколько и не новые, но для всех ли, и для многих ли?.. Повторяем: историческое созерцание есть основа всякого знания, всякой истины в наше время. Без него невозможно понимать, как следует, ни искусства, ни философии, ни права... Само естествоведение будет без

него мертвым сбором фактов, а не живым знанием. Не даром называется оно иначе „естественною историю“!.. Да, естествоведение есть история творящей природы, повествование о восходящей лестнице ее явлений, картина развития в немой природе того же духа вечной жизни, который развивается в истории, — что Шеллинг выразил двумя многозначительными словами: „Deus fit“... Без исторического созерцания, без понятия о прогрессе человечества, без веры в разумный промысл, вечно торжествующий над произволом и случайностью — нет истинного и живого знания в наше время. Будьте вы ориенталистом, изучите всю восточную мудрость, блистайте фактическими познаниями в естественных науках, удивляйте свет огромною начитанностью и фейерверочным остроумием; издавайтесь, в угождение толпе, над всяким так называемым априорным знанием, и прославляйте немой, мертвый эмпиризм: вы все-таки не будете от этого ученым человеком, не сделаетесь органом века, но удивите одну лишь чернь и заставите мудрых пожалеть о столь блестящих и так дурно употребленных способностях, если вы не понимаете, что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития, и что от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу и — будет новая земля и новое небо...

И однакож, несмотря на ясность и ощутительную достоверность этой идеи, — ее не так-то легко усвоить себе, как это может показаться с первого взгляда. Вот почему многие весьма умные от природы люди не признают ее с каким-то упорством и ожесточением. Если трудно от эмпирического созерцания переходить к отвлеченным понятиям, то еще, кажется, труднее отвлеченные понятия возводить в живые идеальные образы без лиц. Так, не всякий способен сам собою от людей и народов сделать отвлечение и назвать его человечеством; но еще менее найдется способных одушевить это отвлечение мыслию, дать ему индивидуальность и личность. Говоря о подобной неспособности, мы разумеем людей, которые наткнулись на подобный вопрос уже в зрелом возрасте, когда привычка, лень и неповоротливость раз-установившегося ума заставляет их крепко держаться за однажды — навсегда — полученные впечатления и понятия. Не то бывает в возрасте детства и первой юности, когда способность непосредственно и незаметно для самого учащегося принимать в себя идеи находится в полной своей деятельности. И потому-то первоначальное учение так важно для человека, что, можно сказать, решает участь всей его жизни. Хорошо и прочно положенное основание учению есть ручательство за истинную и

основательную ученость. Душу учения составляет система и наукообразность изложения. Самое дурное учение — это учение посредством игры, забавы, учение простое и естественное. Поэтому дурно, но систематически и наукообразно ученый в детстве человек счастливее всякого самоучки, ибо что он знает, — знает прочно, а главное, всегда может учиться сам, и его ученые приобретения всегда будут отличаться обширностью, глубиной, основательностью, если не всегда при этом, многосторонностью. — тогда как самоучка всегда и все будет схватывать скоро и живо, но вместе с тем и поверхностно, неосновательно, непрочно, сбивчиво, калейдоскопически. Что же касается до предрассудков, вкрадывающихся в учение, то ум, предоставленный самому себе, едва ли не склоннее к предрассудкам, нежели ум, направленный авторитетом книги или учителя.

Выше говорили мы о важности истории, как науки, для современного образования, необходимого каждому человеку, не только ученому, но и просто мыслящему. Из предшествовавших же рассуждений не ясно ли видно, как важно преподавание истории в средних учебных заведениях? Для детей моложе 14-ти лет история может иметь значение только разве сказок богатырских, и многие из них с большею охотой будут читать Квинта Курция „об Александре Македонском“ и военную историю римлян. Собственно же история для них не существует. Тем не менее время от 12-ти до 14-ти лет есть самое удобное для приговорительного занятия историей, для изучения, в систематической связи и последовательности, фактов, событий, чисел, мест, имен и т. п. Налегать на одну память вредно и губительно; но и без помощи памяти опять же нельзя обойтись: а так как только у детей эта способность может действовать самобытно, без особенного участия интереса и разума, то и всего удобнее положить в эту эпоху возраста прочное, фундаментальное знание истории. Разумеется, это знание будет фактическое, чуждое всяких взглядов и непосредственных рассуждений; но хорошо составленная учебная история никогда не может быть книгою только что фактической, в пошлом значении этого слова. В ней события (конечно, сухие и мертвые по самой уже краткости изложения) представлены в органической связи и ответственности, во взаимном воздействии и противодействии одного события на другое, одного народа на другой, так что ученик, сам того не замечая, владеет целым, хотя и далеко не подробным и неполным очерком судеб человечества. Но всего важнее то, что он, непосредственно, сам того не замечая и не отдавая себе в том отчета, привыкает созерцать народ и человечество, как идеальную личность, следовательно, без труда и отвлеченного усилия может входить в историю, как в

науку, которая более нежели что-либо другое должна сделать из него человека, как в отношении к современной образованности, так и в отношении к гуманности. Имея таким образом в руках своих аriadнину нить, с которою, не опасаясь заблудиться, можно ходить по лабиринту бесчисленных фактов, зная, где и как должно поместить каждый из них, ученик делается готовым к более обширному и подробному курсу, где мысль событий является не только непосредственно, но и освещается взглядами автора. Фундамент важен для дома, который он должен держать на себе: но сам-по-себе он ни к чему не годная и совершенно бесполезная вещь: курс истории в средних учебных заведениях должен быть для ученика домом на фундаменте приготовительной истории. Здесь ученик уже мыслит на основании фактов, сначала приобретенных им бессознательно ученическую рутину, и расширяет круг своих фактических познаний на том же основании. Если он и не будет слушать университетского курса, — он все-таки сделал великое приобретение: сам собою может он учиться истории, как науке, или по крайней мере, будет в состоянии читать с пользою большие исторические сочинения, не как „повествования о замечательных происшествиях в мире“ но как живую картину пути и хода, которыми человечество почти от животной бессознательности дошло до современного состояния...

Из этого видна великая важность хороших исторических учебников для средних учебных заведений. „Руководство ко Всеобщей Истории“ профессора Лоренца принадлежит к лучшим явлениям в своем роде не в одной русской литературе: это сочинение современно-европейское, напоминающее собою лучшие немецкие руководства последнего времени, как, например, Лео и др. Конечно, книга г. Лоренца не есть собственно курс для средних учебных заведений: она составлена из читанных им в Педагогическом Институте лекций, но она годится также и для гимназий, семинарий, и может быть полезна особенно для тех учащихся, которые не имеют возможности поступать в университеты. Мы слишком далеки от смелой мысли поверять со стороны современности, свежести и достоверности фактической стороны сочинение автора, известного в Европе своею ученостью; но не почтем нескромностью бросить взгляд на творение г. Лоренца со стороны общей идеи его.

Первые же строки во „Введении“ показывают, как верно и современно понимает историю г. Лоренц

„Нынешнее состояние мира и его образование (говорит он) развитием своим представляет содержание, а совершением — результат всеобщей истории. Хотя человек не изменяется в своей умственной и физической природе, хотя он все тот же, каким вышел из рук Создателя — те же желания наполняют его сердце, те же

страсти управляют его поступками, те же горести и радости сопровождают его, которые он чувствовал при начале своего земного странствования: однако, в развитии своих способностей он не всегда одинаков, но различно пользуется своими силами, и умственные его богатства увеличиваются; ибо ничто не погибает из того, что производит человеческий род в своем развитии. Одна генерация идет вслед за другою, и каждое поколение прибавляет к наследству, полученному от предков, свои собственные приобретения и, таким образом увеличив его, передает своим наследникам. Что для одной генерации ново и должно было пройти через все противоречия и победить все предрассудки, то становится знакомою вещью для следующих за нею. Теперь дети понимают то, что было тайною для мудрейших людей времен прошедших, потому что все понятия, все мысли, истекающие из деятельности ума человеческого, подобно атмосфере, ложатся над человечеством. И как наше тело вдыхает в себя физическую атмосферу, так и дух дышет этою духовною атмосферою, которая становится для него воздухом жизни.

„Естественно, что эта умственная атмосфера, подобно физической, имеет свои, так сказать климатные особенности, смотря по тому, больше или меньше какой-либо народ пользуется результатами всеобщего развития. Но каков бы ни был народ, находящийся в области истории, во всяком можно найти хоть часть этих результатов. И только там, где исчезает всякий след истории, наш дух не может дышать, лишась своей атмосферы, как человек не может жить в воде. Образованный человек, находясь среди новозеландцев, чувствует то же самое, если б его окружило стадо диких зверей. Человеческий дух подобен неистощимому роднику из глубины которого извлекаются всегда новые сокровища. Извлечение этих сокровищ и очищение их от нечистой примеси — вот труд, который составляет собственный предмет истории; и тот народ самый богатый, который является в истории самым деятельным. Такой народ мы называем „историческим“, потому что он, думая трудиться только для своей пользы, трудится для пользы целого мира, и результаты его деятельности раньше или позднее делаются общим достоянием. Потому-то историк не с равным вниманием смотрит на все народы, но все свое внимание устремляет в особенности на какой-либо народ, который начал или продолжал дальнейшее развитие умственной деятельности человеческого рода, который не только усвоил себе все прежние приобретения, но и умножил их. Так Греция, в продолжение некоторого времени, была центром всеобщей истории, потом сошла со сцены и потеряла всякий исторический интерес. Так Палестина некогда приобрела великое значение, а теперь только своими священными памятниками возбуждает наше внимание. Но то, что развилось на этих ничтожных точках земного шара, распространилось по всей земле, потому что другие усвоили эти приобретения и развивали далее. И так, хотя народы, по совершению своего умственного развития, необходимо ослабевают и умирают, однако, во всяком случае, человечество, рассматриваемое как одно целое, идет вперед, закон, по которому все происходит, вечен и неизменен, и история, в целом своем составе, прекрасна и велика, как прекрасны и велики другие творения, в которых дух божий собогволил открыть миру свое могущество и мудрость“.

К этому нечего прибавлять; похвалы здесь также неуместны: дело говорит само за себя. Но нельзя также безусловно согласиться с мнением почтенного автора о Китае и Индии, вследствие которого эти две страны будто бы не могут и не должны иметь места в истории, по причине их совершенно изолированного развития.

Так, Китай не имел действия на другие государства, которые, в свою очередь, на него не имели никакого влияния; но неужели же Ассирияне, Вавилоняне, Мидяне и самые Персы потому только в историческом смысле важнее Китая, что они были во внешних столкновениях с Египтом, Палестиною и Грецией? И неужели такое великое явление, как Китай, велико вне истории и без всякого к ней отношения? А Китай — великое явление, — не теперешний Китай — эта хорошо сохранившаяся, в течение тысячелетий, мумия, — а Китай древний, первоначальный, где человечество впервые из состояния семейственности перешло в состояние общности, государственности... Китай выразил собою момент семейства — государства: патриархальность высшей власти, руководствующейся определенными установлениями, беспредельное уважение к отеческой власти и обожествление умерших предков, так же точно обнаруживает в нем первое (по времени явления) государство в мире, как и его церемониальность, только теперь смешная в своей крайности. Но достойная уважительного исследования, как первый момент общественных форм. У семитических народов высшая власть явилась уже чистым деспотизмом, как второй момент, необходимо последовательно истекший из первого, выраженного Китаем. Дух человеческий в своем развитии не делает скачков, и мы скорее готовы думать, что, по древности Китая, затеряны следы его каких бы то ни было сношений с другими народами, нежели думать, что Китай не принадлежит к истории. Случайно только то, что лишено идеи, а Китай выразил собою идею первого гражданского общества, чему подтверждением служат его постановления, нравы, самое отсутствие религии, бедный язык, где один звук выражает пятьдесят совершенно различных понятий, иероглифическое письмо, самое, наконец, презрение к другим народам, как к варварам... Г. Лоренц не говорит ни слова о сношениях Индии с другими народами, чем и исключает ее из истории, а между тем включает Индию в историю за ее литературу... Не явное ли это противоречие?.. Индия точно заслуживает почетное место в истории за ее религиозные секты, за ее литературу и искусство вообще. В ней мы видим теократическую нацию, насквозь проникнутую религиозностью, а в ее религиозных сектах — обожествление материи и животности, — поэтому тело коровы и было в ней признано благороднейшей формою духа, а боги ее так часто являлись в форме животных. Это обожествление природы есть первый момент религиозного сознания. Мы видим его в Египте, где быки, кошки, аисты, лук, чеснок и пр. были божествами; но в религии Зендов второй момент религиозного сознания — отрицание природы в пользу отвлеченных представлений

добра и зла, на которые распалась, деятельностью движущейся диалектики мысли, всецелость бытия общего, отрицание образов природы в пользу бесплотных духов света и тьмы. В Индии же вы видите первый момент искусства, которое из символики силится перейти в художественность и колеблется между этими двумя крайностями, производя чудовищные образы богов и колоссальные храмы, лишенные всякой гармонии и стройности. В Египте искусство подвинулось вперед: боги приняли более человеческий образ; в изваяниях человеческих фигур видны соразмерность, правдоподобие и искусство; но эти фигуры неподвижны, принужденны, как будто связаны: художественный дух грека развязал их, обожествовав, в своих изваяниях, в образ человеческий. Вот точка, с какой, по нашему мнению, должно смотреть на историческое значение народов. Только тот народ имеет право назваться „историческим“, который выразил своею жизнью момент диалектически-развивающейся идеи человечества, и с этой точки зрения, Китай и Индия — страны, в высшей степени исторические. Г. Лоренц говорит, что у Индии нет истории; мы осмеливаемся не согласиться в этом смысле с нашим знаменитым ученым. В Индии нет истории династий, войн, договоров, словом, истории политической: но есть история браманизма и буддизма, есть история искусства и литературы — и вот ее настоящая, истинная история: другой не должно искать... Г. Лоренц несколько подробнее говорит о Зендах, Мидянах, Персах, Вавилонянах и Ассириянах — и что же? Из сказанного им об этом предмете существенно только то, что сказал он о религии Зендов — учении Зороастра, а все остальное, что говорит он — мы не понимаем, почему оно историческое, и до какой степени оно может служить картиною развития древнейшего человечества... С этой точки зрения мы находим не совсем удовлетворительным отдел о Египте: мало сказано о религии, об искусстве, о нравах, законах. Зато история Греции изложена, как еще никогда не излагалась на русском языке. Страницу, подобную 83—84, мы считаем одним из перлов истории г. Лоренца: только при таком объяснении духа народа из его поэзии можно понять историю народа! В наше время слово „всеобщая история“ налагает на автора огромные обязанности, потому что заставляет ожидать от него полной картины жизни народов, где, подобно искусно расположенным теням, должны занимать свое место: и религия, и искусство, и науки, и ремесла, и нравы, и подати, и войска, а не одни только войны да договоры. Политическая сторона должна быть только рамою истории, а не содержанием ее; собственно же, политическая история есть история специальная, как, например, история войн, история литературы,

искусств, ремесл и т. п. В этом отношении история Греции изложена г. Лоренцом превосходно. Все части ее расположены с таким искусством, что в уме читателя впечатлевается полная картина возникновения, развития, упадка взаимных отношений всех республик греческих; над всем носится дух целой Эллады во всей полноте и во всей обаятельной красоте своей.. Автор вводит нас даже в семейные, так сказать, тайны греческих обществ: говорит о жаловании судьям, солдатам, о податях, о богатых поместьях афинских аристократов с золотыми и серебряными рудниками в Фракийском Херсонесе и на островах... Если в истории Греции г. Лоренца слаба какая-нибудь часть, так это, по нашему мнению, очерк греческой мифологии: греческие мифы представляют собой полное развитие в поэтических, пленительных образах глубочайшего философского содержания; в них заключается вся мудрость эллинская, которая навсегда останется мудростью человеческою... Систему греческих мифов следовало бы или развить поподробнее и поглубже, чем это сделал г. Лоренц, или совсем не упоминать о них..

Так же хорошо, если не лучше, изложена у г. Лоренца история римлян до Августа. И не мудрено: здесь все положительно, несложно, и перейти от истории Греции к истории Рима все равно, что из области немецкого умозрения войти в мир практической деятельности англичан. Не распространяясь в подробностях, заметим только, что в очерке латинской литературы, г. Лоренц заставляет Овидия далеко уступить в таланте даже Вергилию, что, по нашему мнению, весьма несправедливо: ибо Овидий — истинный поэт, а Вергилий только щеголеватый стихотворец, ловкий в стихах. Но это, разумеется, мелочь; все же остальное в истории римлян у г. Лоренца превосходно.

К общим достоинствам прекрасного творения г. Лоренца принадлежит, кроме глубокой учености, еще и благородное, хотя и спокойное, сообразное с достоинством истории одушевление. Симпатия ко всему великому, доблестному, возвышающему душу, также составляет одну из отличительнейших черт истории нашего ученого и даровитого профессора. Сколько для примера, столько и для того, чтоб скрасить конец нашей статьи, выписываем здесь очерк личности Александра Македонского.

„Характер Александра Великого, вследствие множества распушенных о нем неверных рассказов, часто был представляем в ложном свете; поему, оканчивая его историю, мы должны сказать несколько слов о его личном характере — по крайней мере, сколько нужно для показания обыкновенно возносимых на него обвинений. Он был гений, в том никто не может сомневаться; он имел необыкновенную прозорливость в делах военных, в этом ему уступали первенство даже ста-

рые опытные генералы, вышедшие из школы его отца; политический ум и кротость души он показал в поступках своих с побежденными. С этими качествами он соединял еще поэтический дух и живую, все одушевлявшую и все за собой увлекавшую фантазию. Если бы утверждали только, что Александр, будучи еще так молод, не мог предохранить себя от влияния непрерывного счастья и ласкательств, которые обыкновенно действуют на душу человека, если б его обвиняли только в горячности, раздражительности и нетерпении противоречия, то это было бы согласно как с психологической, так и с исторической истиною, потому что Александр был человек и следовательно подвержен слабостям. Но так как всякое блистательное явление несносно для людской зависти, то обыкновенно стараются „мрачить лучезарное и попирает ногами возвышенное“. Сия судьба постигла и Александра; вслед за славою его подвигов идут обвинения, что он будто бы был предан пьянству и другим порокам, и одну из величайших душ, которая когда-либо являлась в человеческом теле, втаптывают в грязь презреннейших страстей. Предание о наклонности Александра к вину проистекает из самого мутного источника: за верное можно принять то, что Александр часто угощал своих генералов, и по окончании завоеваний завел у себя гарем: то и другое соответствовало придворным обычаям Македонян и Персов. Как царь Персидский он должен был иметь гарем, как царь Македонский, он должен был угощать своих знатных вассалов и с ними пить. Но что он не предавался ни сладострастию гарема, ни пьянству, о том свидетельствуют его дела, которых верно не мог совершить какой-нибудь сластолюбивый и преданный пьянству человек. Также и то, что он объявил о своем божественном происхождении, не есть еще доказательство его надменной гордости, он сам шутил насчет этого с Греками; только для Персов оно должно было иметь священный блеск, в котором они неохотно отказывали своим повелителям. Александр ревностно заботился о распространении наук и искусств. Славнейшие художники этого времени были: живописец Апеллес и скульптор Лизипп, которые следовали еще хорошему вкусу, несмотря на то, что искусство начало тогда клониться к фантастическому и колоссальному. Так Стасикрат хотел сделать из Афонской Горы колоссальную статую Александра. В правой руке она должна была держать город с 10.000 жителей, а левой — чашу, из которой большая река ниспадала бы в море. Умным и прекрасным ответом Александр отклонил этот план. Он сказал: „Оставьте гору Афонскую, как она есть: довольно и того, что она служит памятником глупой гордости одного царя: Кавказ, Гемоды и Каспийское море скажут обо мне потомству. Они будут памятником моих деяний“. Любовь к поэзии Александр показал не только глубоким уважением к творениям Гомера, но и тем, что он, среди громов войны и под бременем множества занятий, сам писал пиитические произведения. Также на Естественную Историю Аристотеля он употребил большие суммы и без его пособий и повелений успешное исполнение этого великого творения было бы невозможно“.

В заключение мы должны сделать два прозаические замечания: во-первых, для чего выписки из греческих писателей не переведены по-русски? Знание греческого языка у нас совсем не так распространено, как в Германии, и для большинства читателей г. Лоренца эти выписки только бесполезно увеличили книгу. Во вторых: перевод, несмотря на изъявленную автором в предисловии благодарность разным грамотеям, решительно недостоин такого сочинения, как история г. Лоренца.

„Отечеств. Записки“ 1842, т. XXI, № 4, отд. V: Критика, стр. 36—45. Цензурой разрешена около 30 марта 1842.

На принадлежность статьи о „Всеобщей истории“ Лоренца перу Белинского впервые указал Р. В. Иванов-Разумник в „Русских Ведомостях“ 1911, № 122. Свою аргументацию он потом повторил в книге „Великие искания“ (П. 1912) и в „Книге о Белинском“ (П. 1923). Но в издание сочинений Белинского, отредактированное им, статья не была включена.

Принадлежность статьи Белинскому устанавливается его письмами к В. П. Боткину. 17-го марта 1842 г. он пишет: „Ты ничего не прислал мне с Кульчиком о Лоренце и тем вверг меня в бедственное положение писать о том чего не знаю“. (Кульчик — А. Я. Кульчицкий, молодой приятель Белинского). А в письме от 31-го марта того же 1842 года читаем: „О Лоренце не хлопочи: преступление совершено — и в 4-м № „Отечественных Записок“ ты прочтешь довольно гнусную статью своего приятеля—ученого последнего десятилетия“.

Белинский иронизировал над собой как ученым и над этой своей статьей, но в ней изложены, правда—в уклончивой, прикровенной форме, его заветные убеждения (прямоту их выражению мешала цензура; отчасти именно этим надо объяснить суровый отзыв Белинского о своей статье). Это—его социалистические взгляды, созревавшие около того времени. Хороший анализ идеологии статьи о Лоренце дан Ивановым-Разумником в указанных книгах. Но ему еще не было известно, что Белинскому принадлежит еще статья об „Истории Малороссии“ Маркевича, печатаемая ниже. Сопоставление двух статей еще раз удостоверяет их принадлежность Белинскому и устанавливает неуклонную последовательность в развитии и углублении социалистических взглядов Белинского.

В письме к Боткину от 8-го сентября 1841 г. обширную, горячую тираду о своих новых воззрениях Белинский заключил словами: „Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новой землею“. В статье о книге Лоренца читаем: „Свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание делает людей братьями по духу, и будет новая земля и новое небо“. А в статье об „Истории Малороссии“ Маркевича Белинский пишет: „И недалеко уже время, когда исчезнут мелкие эгоистические расчеты так называемой политики, и народы обнимутся братски при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умиловленным небом“. (Подробнее см. ниже, в примечаниях В. С. Спиридонова к статье о Маркевиче). Весьма интересны также сопоставления суждений об исторических взглядах Гегеля—с большим их углублением во второй из статей. По поводу статьи о Лоренце Иванов-Разумник говорит: „В николаевском застенке нельзя было яснее высказать в печати верования утопического социализма“. Сопоставление с позднейшей статьей о Маркевиче убеждает, что это оказалось возможным; притом социалистические взгляды Белинского здесь углубились, и его суждения о Гегеле и о диалектическом развитии в истории, замечательные по силе выражения, уже отходят от утопического социализма и вплотную приближаются к научному диалектическому материализму. Таким образом, печатаемые две статьи тесно связаны друг с другом эволюционно.

Что касается самого Лоренца и его книги, то Иванов-Разумник ее считает „только простым компилятивным учебником“. Это несправедливо. Фридрих (Федор Федорович) Лоренц был профессором Главного Педагогического Института; впо-

следствии он читал лекции в Бонне; его „Руководство ко всеобщей истории“, выдержавшее несколько изданий, и по объему, и по научному уровню, гораздо выше учебника. Ср. Новый Энциклопед. Словарь, т. 24; С. А. Венгеров. Источники словаря русских писателей, т. IV.

Необходимо еще отметить, что принадлежностью большой статьи о „Руководстве Лоренца Белинскому устанавливается принадлежность ему же краткой рецензии о той же книге—в „Отечественных Записках“ 1842, т. XX, № 1, отд. VI—Библиограф. хроника, стр. 14 (установлено В. С. Спиридоновым). Это—маленькая осведомительная заметка, почему и не перепечатаем ее.

Н. Пиксанов.

История Малороссии. Николая Маркевича. Москва. 1842.

Ч е т ы р е т о м а .

Одна из самых характеристических черт нашего времени — стремление к единству и сродству доселе разрозненных элементов умственной жизни. Жизнь, очевидно, стремится теперь стать единою и всецелою. И если доселе проявлялась она в тысячах односторонностей, раз'единенною и раздробленною на бесконечное множество сторон, из которых каждая претендовала на право исключительной монополии в области духа, превозносясь над всеми другими и горделиво не признавая их важности, — это противоположное органическому единству стремление было необходимо для самого же этого органического единства, заря которого уже занимается на горизонте человечества. Надобно было, чтобы каждый элемент умственной жизни выработался и развился вполне, а для этого необходимо, чтобы каждый элемент жизни развился отдельно. Таким образом, раз'единение есть неизбежное условие единства, — первый момент в процессе единства. Только отдельно развившиеся элементы могли развиться вполне, и только вполне развившиеся элементы могли сознать свое родство и увидеть в себе не опасных врагов, а друзей, равно нуждающихся друг в друге и равно полезных друг другу. Доказательство этой истины представляет история народов, история обществ, летописи науки, искусства, даже ремесл. Каждому народу предназначено было развить одну какую-нибудь сторону жизни, и потому один народ оказал огромные успехи в войне, другой — в науке, третий в искусстве, четвертый в торговле, и т. д. И каждый из этих народов, до периода своей возмужалости, с ненавистью и презрением смотрит на все другие народы, считая одного себя и умным, и добрым, и дельным. Отсюда все национальные ненависти, отсюда соперничество, похожее на злобу, соревнование, похожее на зависть. Так, например, целые три века история Европы двигалась

и управлялась мыслью о политическом равновесии, которая состояла в том, чтобы не допускать ни одно государство быть сильнее других, хотя бы его сила была чисто внутренняя и проистекала от успехов торговли, промышленности, цивилизации, просвещения, — и как скоро одно государство усиливалось благосостоянием и политическим здоровьем, все другие спешили ослаблять его; средством к этому бывали большею частью усиленные кровопускания, — и война оканчивалась обыкновенно общим истощением и изнеможением и предмета зависти, и самих завистников.. Мысль, теперь смешная и детская, но тогда стоившая много человеческой крови, много человеческих слез!.. Это был момент кризиса, момент перехода от детства к возмужалости. В мысли, что государства должны ревниво смотреть одно за другим и имеют право друг друга ограничивать, уже в самой этой мысли видно начало единства, хотя и дурно понятого. Теперь это единство понято иначе и состоит в подчинении великой идеи национальной индивидуальности еще более великой идее человечества. Народы начинают сознавать, что они — члены великого семейства человечества, и начинают братски делиться друг с другом духовными сокровищами своей национальности. Каждый успех одного народа быстро усваивается другими народами, и каждый народ заимствует у другого особенно то, что чуждо его собственной национальности, отдавая в обмен другим то, что составляет исключительную собственность его исторической жизни и что чуждо исторической жизни других.

Теперь только слабые, ограниченные умы могут думать, что успехи человечности вредны успехам национальности, и что нужны китайские стены для охранения национальности. Умы светлые и крепкие понимают, что национальный дух совсем не одно и то же, что национальные обычаи и предания старины, которыми так дорожит невежественная посредственность; они знают, что национальный дух так же не может исчезнуть или переродиться через сношения с иностранцами и вторжение новых идей и новых обычаев, как не могут исчезнуть или переродиться физиономия и натура человека через науку и обращение с людьми. И недалеко уже время, когда исчезнут мелкие эгоистические расчеты так называемой политики, и народы обнимутся братски, при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умиловленным небом! Если настоящее историческое положение так резко противоречит этой картине и представляет ее несбыточною мечтою разгоряченной фантазии, то, для умов мыслящих и способных проникать в сущность вещей, это настоящее историческое положение человечества, как ни безотраднo оно, представляет все

элементы и все данные, на основании которых самые смелые мечты в настоящем становятся в будущем самою положительною действительностью.

Если под „обществами“ должно разуметь избранные, т.-е. наиболее просвещенные, образованные и цивилизованные классы и сословия в государствах, то в лице обществ гуманное сближение давно уже совершилось. Образованный Европейец теперь и вне своего отечества живет как у себя дома, не оставляя своих привычек, не переставая быть сыном земли своей, — и везде пользуется приветом и уважением. Особы разных наций и вероисповеданий вступают в брачные союзы, не нарушая тем ни обычаев, ни законов, ни нравственных понятий своих отечеств. Между тем, Англичанин и во Франции останется Англичанином, Француз и в Германии останется Французом, и наоборот, и никто из них, вполне симпатизируя чужой земле и, так сказать, чувствуя себя ее гражданином, не перестает быть сыном своей страны, не теряет духовной физиономии своей национальности. Здесь кстати заметить, что ненавистники европеизма упрекают у нас своих соотечественников за их страсть к путешествиям, за легкость и ревность, с какими они перенимают западные обычаи (т.-е. обычаи людей просвещенных и образованных). Эти мнимые патриоты до того простирают невежественный фанатизм свой, что в образованной части русского общества видят чуть не ренегатов, чуть не выроdkов, в которых нет ничего русского, и выставляют им, как достойный подражания образец неиспорченной русской национальности, неопрятную и грязную чернь. „Посмотрите“, восклицают они: „Француз, Англичанин, Немец, где бы и сколько бы не жил вне своего отечества, везде — Француз, Англичанин и Немец; а наши, во Франции — Французы, в Англии — Англичане, в Германии — Немцы; у себя же дома — и то, и другое, и третье, а потому ни то, ни се“. Конечно, в подобном обвинении есть часть истины, но от полной истины оно далеко, как тьма от света, и в целом — это обвинение совершенно нелепо. Навсегда оторванная реформою Петра Великого от своего прошедшего, не могла же Россия, с небольшим во сто лет, вдруг вырасти и возмужать, начать жить самостоятельную и оригинальную жизнью и приобрести всемирно-историческое значение. Вместо того, чтоб желать невозможного, лучше радоваться тем гигантским успехам в цивилизации, которые и без того сделала она в такое короткое время. Смешно подумать, что это обвинение в подражательности иноземному, под разными формами, повторяется уже лет пятьдесят слишком. Сперва оно восстало против галломанства в обычаях и в литературе, и предавало анафеме и французский язык и тех из

Русских, которые говорили и читали больше по-французски, чем на своем родном языке. Против Карамзина составила даже целая литературная партия, упрекавшая знаменитого преобразователя русского языка в растлении русского языка галлицизмами, хотя исполненный галлицизмов язык Карамзина в тысячу раз более естественный и живой русский язык, чем длинные, латинско-немецкие периоды книжного языка Ломоносова. Но время обнаружило всю ограниченность и все ничтожество этих мнимо-патриотических выходов против того, что составляло честь и славу Руси. Если образованное русское общество не говорило и не читало по-русски, этому была причина: тогда был только книжный да простонародный язык, и не было разговорного русского языка; следственно, не на чем было и говорить образованному обществу, хотя бы оно и само желало говорить по-русски. Если же и теперь еще на Руси не выработался вполне общественный и разговорный язык, то он уже существует, как материал, в половину разработанный, а потому им давно уже говорит среднее образованное общество (недавно сформировавшееся) и начинает говорить высшее общество (давно существующее). А что знание французского языка нисколько не находилось в противоречии с истинным патриотизмом и не было в ущерб ему, — лучшим доказательством этой истины служит великая война 1812—1814 годов: известно фактически, что не только в гвардии, но и в армии русской было много образованных офицеров, которые говорили по-французски, — однакож, это не помешало им лить кровь и умирать доблестно за свое отечество, языку которого они предпочитали язык своих достойных по храбрости врагов. Здесь кстати еще заметить, что и теперь, несмотря на страсть русских к путешествиям и поездкам за границу — Русский, навсегда оставшийся там, есть явление почти небывалое: стало быть, чужие обычаи не разрывают в Русских кровной связи с их родиною, и те немногие из них, которых судьба забросила на чужую почву и под чуждое небо, и те, среди чудес природы и цивилизации, — мы уверены в этом, — умеют хранить, как сокровище души, святую тоску по степям, городам и селам своей родины...

Что же касается до равнодушия прежнего общества к родной литературе, — оно было неизбежно: общество не читало по русски, потому что нечего было читать: два-три писателя, хотя бы и с замечательной силой таланта, но писавшие на неустановившемся еще языке, далеко не могли наполнить всех досугов и удовлетворить всем умственным потребностям людей, перед которыми отверсты были неистощимые сокровищницы богатых и созревших литератур Европы. Теперь все классы образованного и даже полубразованного

общества больше прежнего читают по-русски, потому что, сравнительно с прежним, русская литература представляет больше пищи для чтения, хотя и также далеко не уменьшает потребности в иностранных литературах. Высшее общество, как самое образованное на Руси, больше других навлекло на себя упреки и жалобы на равнодушие к русской литературе со стороны мнимых защитников ее... Но справедливы ли эти упреки и жалобы? Во-первых, Державин, если не по рождению, то по положению своему, сам принадлежал к высшему кругу общества; Фонвизин был допущен в него за свой ум и талант; Крылов, Жуковский и Батюшков были связаны дружескими отношениями со многими людьми этого общества; Грибоедов, Пушкин и Лермонтов более принадлежали к нему, чем ко всякому другому кругу общества. Во вторых: высшее общество покровительствовало Ломоносову в царствование Елизаветы; оно почти одно читало Державина и Фонвизина в царствование Екатерины; оно знало и читало Крылова, Озерова, Жуковского, Батюшкова, Пушкина и Грибоедова, в царствование Александра; теперь оно знает и читает Лермонтова и Гоголя... И до сих пор, в литературе нашей, есть имена, принадлежащие к высшему кругу, следственно, и знаемые там не по одним светским отношениям. Что высшее общество не знает и не слышало о множестве других „великих“ русских писателей, так это потому, что их очень много, и что у нас на Руси так легко, за одно стихотвореньице, за одну повестцу, за одну журнальную статейку, сделаться великим писателем: кто ж их всех перечитает и перепомнит?.. Иногда в спокойном равнодушии бывает больше глубокого смысла, чем в опрометчивой, но детской способности увлекаться, видеть гений во всем, что едва ли обнаруживает и обыкновенное дарование, придавать важность тому, что ничтожно в сущности, и гордиться богатствами, которые скоро портятся и сгнивают в глухих кладовых. В русской литературе, без сомнения, есть кое-что достойное внимания даже для иностранцев, и следственно достойное всей любви, всего уважения нашего; но из этого еще не следует, чтоб мы имели право равнять нежные светло-зеленые стебли нашей юной литературы с величественными и колоссальными деревьями европейских литератур. Уже самая мысль, что с нас довольно и нашего, — мысль, которую с такою родительскою нежностью лелеют люди, сами себе присвоившие скромное титуло „патриотов“, — уже одна эта мысль показывает и детство нашего образования и детство нашей литературы. Французская, немецкая и английская литературы не беднее друг друга, — и между тем, каждое новое, хоть сколько-нибудь, почему-нибудь замечательное произведение в одной из них, тотчас переводится на языки других. Через

этот братский размен сокровищ национального духа только увеличивается богатство каждой литературы.

В науке и в искусстве также резко проявляется теперь это стремление к единству путем взаимного соприкновения разнородных элементов. Было время, когда общее мнение, оставляя за поэтом пламенное сердце, а за философом холодный ум, отнимало у первого ум, а у второго сердце. Поэзия считалась откровением каких-то иступленных вдохновений, а поэтическое произведение — чем-то в роде изречений Пифии, в судорогах кривляющейся на священном треножнике. Поэту оставлено было только право восторженного безумия и безумного восторга, и у него отнято было право существа мыслящего — священнейшее из прав человека; в его безусловное заведывание была оставлена любовь, и он был исключен на право разума, как будто любовь и разум — элементы враждебно-противоположные, а не две стороны одного и того же духа. Под философом разумели существо холодное, сухое и бесстрастное по натуре. В самом деле, вся внешность была в пользу такого мнения. Пока философия только начинала свое великое дело, естественно, что тогда она удалилась от жизни и заключилась в исключительной сфере самой себя, погружившись в анализ разума, как силы действующей, и мысли, как предмета разума. Отсюда ее аскетизм, ее холодный и сухой характер, ее суровое одиночество. Кант, отец новейшей философии, был довершителем этого первого труда мышления, предмет которого — само мышление, а действующая сила — разум. Содержание философии Фихте уже более общее, и он является в ней пламенным трибуном прав субъективного духа, доведенных им до исключительной односторонности. Шеллинг, в великой идее тождества, открыл примирение Фихтева Я с объективным миром. Наконец, философия Гегеля обняла собою все вопросы всеобщей жизни, — и если ее ответы на них иногда обнаруживаются принадлежащими уже прошедшему, вполне пережитому периоду человечества, зато ее строгий и глубокий метод открыл большую дорогу сознанию человеческого разума и навсегда избавил его от извилистых окольных дорог, по которым оно дотопе так часто сбивалось с пути к своей цели. Гегель сделал из философии науку, и величайшая заслуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что только на его же основании и можно опровергнуть те из результатов его философии, которые теперь недостаточны или неверны. Гегель тогда только ошибался в приложениях, когда изменял собственному методу. В лице Гегеля философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же

она и кончилась, как знание таинственное и чуждое жизни: возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь, от докучного шума которой некогда принуждена была удалиться, чтоб наедине и в тиши познать самое себя. Начало этого благодатного примирения философии с практикою совершилось в левой стороне нынешнего гегелианизма. Примирение это обнаружилось и жизненностью вопросов, которые занимают теперь философию, и тем, что она оставляет понемногу свой тяжелый схоластический язык, доступный одним адептам ее, и тем, что она возбудила против себя ожесточенных врагов уже не в одних школах и в книгах. Теперь уже это не школьная, не книжная философия, знающая только самое себя и уважающая только собственные интересы, холодная и равнодушная к миру, которого сознание составляет ее содержание: нет, теперь она должна быть строгою, суровою и холодною, как разум, но вместе с тем и вдохновенною, как поэзия, страстною и симпатическою, как любовь, живою и возвышенною, как верование, могучею и доблестною, как подвиг...

С своей стороны, и искусство теперь сделало такой же шаг. Теперь оно уже не ограничивается страдательною ролью — подобно зеркалу, безучастно и верно отражать в себе природу, но вносит в свои изображения живую личную мысль, которая дает им и цель и смысл. Поэт нашего времени есть в то же время и мыслитель. О художественном произведении нашего времени философ не может сказать того, что сказал, помнится, Декарт своим друзьям, требовавшим его мнения о трагедии Расина: „положим, что она хороша, но что же она доказывает?“. Преобладанию субъективного начала должно приписать в поэтических произведениях нашего времени это обилие отступлений, делаемых от лица поэта, который и судит, и вопрошает, и отвечает. Словом, поэзия и философия уже не только не чуждаются друг друга, но беспрестанно подают друг другу руку, чтоб взаимно поддерживать себя, и даже часто до того смешиваются друг с другом, что иное философское сочинение прежде всего назовете вы поэтическим, а поэтическое — философским.

Поэзия проникает теперь и в прозу жизни, которой прежде она так гнушалась, — и мыслящий человек не может не видеть поучительного факта в том, что теперь и мебель, и игрушки для украшения комнат не только исполнены изящества, но и носят на себе отпечаток творчества...

В недавнее время возникла наука, которая есть вместе и искусство, и в которой сходятся сухое фактическое знание, холодный рассудочный анализ, высшее философическое созерцание, рабская подчиненность действительности, живое поэтическое чувство и твор-

ческая фантазия. Эта наука — история. Условия, составляющие ее, так велики и многосложны, соединение их так редко в одном и том же лице, что доселе было больше опытов истории и вообще исторических сочинений разного рода, чем того, что называется „историею“. Лучшие опыты по этой части принадлежат Французам, которые, как писатели, кроме других причин, еще и потому более других способны писать историю, что более других, как народ, делают историю своею национальною жизнью. Немцы, напротив, гораздо лучше понимают теорию истории, чем пишут историю, потому — что они живут более умственною и созерцательною, чем историческою жизнью. Итак, вот и еще новое условие для того, чтоб быть хорошим историком, — условие, не зависящее от историка!

Историю разделяют на всеобщую и частную, разумея под первую историю всего рода человеческого, и под вторую — историю одного какого-нибудь народа. Это разделение не так важно и существенно, как думают: ибо хотя объем „всеобщей“ истории и несравненно шире и глубже, чем объем так называемой „частной“ истории, однако условия, требуемые от историка тою и другою, совершенно одинаковы: кто лишен созерцания человечества, как идеальной личности, и потому на всякий народ, взятый сам-по-себе, смотрит как на что-то отдельно, без живой связи с человечеством существующее, тот не в состоянии написать хорошей истории и одного какого-нибудь народа. Следовательно, гораздо лучше разуметь под „частною“ историею не историю одного какого-нибудь народа, а историю одного из множества элементов, из которых складывается жизнь человечества и жизнь всякого народа. Поэтому, история религии, искусства, науки, права, торговли, промышленности, история политическая, военная и т. п., будет историею „частною“. Такая история, по своей несложности, требует менее условий от историка, и относится к настоящей (всеобщей) истории, как материал, хотя в то же время может иметь достоинство полной и стройно созданной истории. Такого рода истории чрезвычайно важны: только при условии их существования может существовать всеобщая история^{*)}. Историческая критика, состоящая в сличе-

^{*)} Здесь кстати заметить, что у нас до тех пор не будет удовлетворительной истории России, пока наши историки не примутся за составление частных историй по предметам, которые каждый из них изучал исключительно, как-то: истории церкви, истории военного ремесла, нравов, торговли, промышленности, права, политики, финансовой системы и пр. Все эти предметы требуют отдельной и частной разработки, фактической, критической и философской, требуют и трактатов и полных историй. Кроме того, полезна разработка каждого важного события особо, как, наприм., владычества Татар, междоусобия, отдельных царствований и проч. Но наши „славянофилы“ и „патриоты“ ограничиваются, вместо этого, пересыпанием

нии и проверке материалов, разборе фактов и т. п., дает тому, кто занимается ею, право на титул „ученого“, но не историка, хотя без таких „ученых“ и невозможна история, как наука и как искусство вместе.

Предмет нашей статьи есть история — собственно (всеобщая — в том смысле, какой мы даем этому слову), а потому и займемся только ею. Выше сказали мы, что история есть и наука и искусство вместе, ученое сочинение и художественное произведение в одно и то же время. Такое значение история получила весьма недавно, вследствие того стремления к единству и полноте прежде одиноко развивавшихся элементов жизни, которое составляет характеристику новейшего времени и о котором мы говорили в начале статьи. Этому новому направлению истории много способствовал гениальный человек, который написал одну только историю, да и ту плохую, и который написал множество превосходных романов. Вальтер Скотт был создателем нового рода поэзии, который мог возникнуть только в XIX веке, — исторического романа. В романе Вальтера Скотта история и поэзия в первый раз встретились, как начала родственные, а не враждебные. И в этом нет ничего странного, неестественного: поэзия прежде всего есть жизнь, а потом уже искусство; в чем же, если не в истории, жизнь проявляется с такою полнотою, глубиной и разнообразием?.. Марий на развалинах Карфагена — не только исторический, но и глубоко поэтический факт; Наполеон — лицо поэтическое не только под Тулоном, в Египте, под Аустерлицем, под Маренго, но и в Москве, и на острове Эльбе, и при Ватерлоо, и на острове св. Елены, и в Доме Инвалидов в Париже... Только умы ограниченные и сердца сухие могут видеть в историческом движении политику и войны, дела скучно-серьезные и сухо-важные: глубокий ум и живое сердце видят в нем биение пульса мировой жизни... Скажут: этак из истории можно сделать сказку, наполненную поэтическими мыслями, но ложную в фактическом отношении. Ни мало! В том-то и заключается трудность условий исторического таланта, что в нем должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие, с поэтическим одушевлением и творческою способностью сочетать события, делая из них живую картину, где соблюдены все условия перспективы и светотени. В движении исторических событий, кроме внешней при-

из пустого в порожнее, рассматривая такие вопросы, как происхождение Руси и решая их произвольными гипотезами. Другие, посмелее, пишут историю России, для которой не разработаны фактические материалы; удивительно ли, что, вместо истории, они издадут компиляции, да и те недоконченные?..

чинности, есть еще и внутренняя необходимость, дающая им глубокий внутренний смысл: само движение событий есть нечто иное, как движение из себя-самой и в себе - самой диалектически развивающейся идеи. И потому в общем ходе истории, в итоге исторических событий, нет случайностей и произвола, но все носит на себе отпечаток необходимости и разумности. Такой взгляд на историю далек от всякого фатализма: он допускает и произвол, и случайность, без которых жизнь была бы механически-несвободна, но в произволе и случайности он видит зло временное и преходящее, видит силу, которая вечно борется с разумною необходимостью и вечно побеждается ею. Историк должен прежде всего возвыситься до созерцания общего в частном, другими словами, идеи в фактах. Здесь ему предлежит не менее трудная задача — с честью пройти между двумя крайностями, не увлекшись ни одною из них: между опасностью затеряться и запутаться в многосложности событий и, за их частностью, потерять из виду их диалектическую связь между собою, их отношение к целому и общему (идее), — и между опасностью произвольно натянуть события на какую-нибудь любимую идею, заставив их лжесвидетельствовать в пользу или односторонней, или вовсе ложной доктрины. Избежать этих крайностей самый даровитый историк может только при помощи верного поэтического чутья и современно-философского образования. Отличать истинное от ложного, сомнительное от верного — дело исторической критики; но история, опирающаяся только на исторической критике и непогрешительная только с этой стороны, может быть суха, утомительна мертва; факты, при всей верности их, могут быть изложены в ней без перспективы, не картинно, не последовательно, так что, читая следующую страницу, читатель забывает предшествующую. Такие истории имеют свою цену и свое достоинство, как обработанные ученою рукою материалы для художника-историка. Понять значение и проникнуть в жизненную сторону фактов можно только поэтическим чутьем. Вот почему, читая иную историю, чуждую всяких вымыслов и наполненную самыми верными фактами, думаешь, что читаешь плохую сказку, где все делается не по законам разумной необходимости, а „по щучьему веленью, по моему прошенью“. И вот почему, читая роман Вальтера Скотта, где одно какое-нибудь историческое событие перемешано со множеством вымышленных, думаешь, что читаешь историю: так все естественно, живо и верно в романе! Летописи и другие исторические материалы суть не более, как камни, из которых только творческий гений художника может воздвигнуть стройное, изящное здание. Читая „Историю Завоевания Англии Норманнами“, Огюстена Тьерри, или его же „Рассказы о

Временах Меровингских“, думаешь, что читаешь роман Вальтера Скотта; а между тем, в этих сочинениях знаменитого историка французского нет ни одной черты, которая не основывалась бы на фактах и не подтверждалась бы хрониками; но и те, которым коротко и ученым образом знакомы были эти хроники, — в творениях Тьерри впервые познакомились с тою и другою эпохою, удивляясь, что в этих эпохах могло оказаться столько жизни, поэзии и разумности. Отсюда видно, что история требует творчества, как и поэзия. Отчего поэтическое произведение, иногда так живо напоминающее нам наше собственное положение в прошедшем, действует на нас сильнее, нежели действовало на нас это прошедшее, когда еще оно было настоящим? Другими словами: отчего поэзия действует на нас сильнее, чем та действительность, которая составляет ее содержание? — Оттого, что в поэтическом произведении устраняется все случайное и постороннее, и представляется одно необходимое и знаменательное, совоккупленные в стройной картине, носящей на себе отпечаток единства и целостности. То же условие требуется и от истории, а условие это требует творчества. И потому, история в наше время получает то же значение, какое у древних имел эпос.

Современно-философское образование необходимо для историка нашего времени еще более, нежели для поэта: ибо история не только искусство, но еще и наука, и наука многосложная, многосторонняя, которая, обнимая собою историю народа, в то же время обнимает и историю права, его искусства, его науки, а без современно-философского образования можно ли иметь прямое и верное понятие о праве, искусстве, науке и проч.? Приступая к истории какого-нибудь народа, историк прежде всего должен отчетливо и определенно понимать значение этого народа, видеть его отношение к другим народам, степень, занимаемую им в человечестве, и важность его исторической роли. Тогда сами собою, правильно и верно обозначатся и тон и объем его истории. Мы сказали „объем“: в нем большая важность, ибо нельзя произвольно писать историю большую или малую — объем ее всегда находится в пропорциональном отношении к объему духовной жизни народа. И против этого-то правила больше всего погрешают лишенные философского образования историки, особенно у нас, на Руси. Для наших историков написать историю России и историю Костромы — все равно, и только разве недостаток деятельности помешает им историю Костромы растянуть на двенадцать томов. За то, они не задумаются историю Петра Великого, написанную для русских, ограничить, например, четырьмя тощенькими томами, листов в шестьдесят, тогда как шестьдесят печатных листов можно наполнить только анекдотами об этом исто-

рическом исполине. И потому нашим историкам не худо было бы держаться арифметического и геометрического правила пропорции и задавать себе вопросы в роде следующих: если мифический период народа, от неизвестных времен его начала до Владимира, занял у меня два тома, то сколько же томов должен занять полуисторический период удельных междоусобий, столь обильный многосложными, запутанными и по большей части ничтожными событиями? — Уж, конечно, по малой мере — четыре тома. Итак, вот уж у нашего историка и набралось шесть препорядочных томов, которые размножаются и толстеют пока довольно последовательно. Но вот он продолжает спрашивать самого себя: если полуисторический период удельных междоусобий занял у меня четыре тома, то сколько же должен занять вполне исторический период татарщины, столь обильный событиями важными и огромными для Руси, каковы: нашествие Батыя, побоище донское, московская централизация, упадок удельной системы и проч.? — Уж, конечно, не менее восьми томов. Итого — четырнадцать томов. Но это чудовищное число ужасает нашего историка, и он, забыв последовательность и симметрию, ограничивается только четырьмя томами, — и из его истории выходит чудяще с огромною головою, непомерными плечами и маленьким, с грецкий орех величиною, брюшком. Разумеется, история от Иоанна III до Петра Великого должна бы занять у него, по соразмерности с четырьмя томами удельного периода, томов пятнадцать, а между тем, вся русская история, от своего начала до Петра Великого, занимает у него каких-нибудь двенадцать томов. И потому русская история только и доходит до Петра: наши историки чувствуют, что одна история Петра, по важности своего содержания, в десять раз объемистее всей предшествующей истории России. Здание, построенное без соразмерности без уважения к законам тяготения и ответственности, или падает или остается недоконченным: давно уже здание нашей истории остановилось на третьем этаже — и рухнуло, так что теперь для расчистки мусора нужно больше трудов, чем для сооружения нового здания. И мы думаем, что истинный историк начертал бы себе такой план русской истории: зная, что факты сами по себе ничего не значат, и что задача историка состоит именно в том, чтобы прозреть в фактах идею и сделать ее ощутительною для других в живой исторической картине событий, — он разделит историю России на периоды не для одного внешнего удобства в изложении, но потому, что увидит в каждом периоде особенную идею, которую и постарается выразить, не увлекаясь мелочными фактами и не загромождая ими своего повествования. Первый период (до Владимира,

или начала удельной системы и водворения христианства) войдет у него в введение, где он покажет только те немногие факты, которые более или менее несомненны и вероятны, и те результаты ученых исследований, которые более или менее удовлетворительно объясняют эти факты касательно происхождения, мифологии, поэтических и исторических преданий народа. Тут, разумеется, не будет места пустым гипотезам, этимологической дыбе, и все введение очень легко уместится на каких-нибудь ста страницах. Весь смысл удельного периода состоит в распространении русско-славянского племени по обширной степи нынешней России. Это распространение совершилось на Руси совершенно превратным образом в сравнении с тем, как оно происходило в Западной Европе: там оно сперва сделалось через завоевание, потом чрез усиление среднего сословия, имевшее следствием размножение городов и успехи цивилизации. У нас удельный князь срубал себе городок, где и учреждался его стол, от чего городок и делался столицею. Помещичье право было душою удельного периода, и князья тогда были — род помещиков, произошедших из одного дома; бояре их — род домашних людей, а простой народ — крестьяне. Централизации не было никакой, и Киев, а потом Владимир, были больше по имени, чем в сущности великокняжескими столицами: титул великого князя более льстило честолюбию претендентов, чем доставляло им действительную власть и силу. И это понятно: Русь, в период уделов, расширялась, а не централизовалась. И потому, историк должен сделать из удельного периода живую картину этого расширения, ярко и выпукло обозначив главнейшие его фазисы. Если, при этом, картина его будет оттенена колоритом правов эпохи и очерками характеров немногих действующих лиц, почему-либо замечательных, — история удельного периода будет не только полна, но и проста, не запутана, не многосложна: ибо всякая запутанность в истории происходит от неумения историка отличить важное и существенное эпохи от ее мелочных и пустых подробностей. В таком случае история удельного периода объемом своим разве немногими страницами превзойдет введение, так что и история татарского периода, будучи значительно обширнее истории периода удельного, весьма легко уместится с нею и введением в одном томе, и том все-таки не будет особенно велик. Татарский период был началом централизации древней Руси. Общее бедствие мало-по-малу воспитало в русских чувство единокровности и единоверия; удельные княжества ослабевают по мере возвышения Москвы, счастливо выдерживающей свои споры и с Рязанью и с Тверью. Великий князь постепенно становится из помещика государем, и самодержавие сменяет патриархально-поме-

щичье право. Но под татарским игом нравы грубеют: вводится за-творничество женщин, отшельничество семейной жизни; тирания варварского ига Монголов приучает земледельца к лености и за-ставляет делать все как-нибудь, ибо он не знает, будут ли завтра принадлежать ему его хижина, его поле, его хлеб, его жена, его дочь. Застой и неподвижность, сделавшиеся с этого времени основ-ным элементом исторической жизни старой Руси, тоже были след-ствием татарского ига. Итак, централизация и возвышение княже-ской власти на степень государственности, с одной стороны; иска-жение нравов русско-славянского племени, с другой, — вот идея пе-риода татарского ига и задача историка Руси! На этом кончится первый том его истории России. Падение уделов, укрепление само-державия, государственные формы, нравы, обычаи, сделавшиеся status quo: вот содержание русской истории от Иоанна III до периода междуцарствия. Событий политических тут немного, и события вну-треннего развития гораздо важнее их. Живая и подробная кар-тина всего этого легко уместилась бы в раме одного тома. Цар-ствование Грозного было периодом окончательного формирования физиономии и духа старой Руси, а вместе с тем и началом отрица-ния того и другого. В лице Грозного выразилась идея этого отри-цания, и неосновательно было бы думать, что дурное воспитание и смерть Анастасии сделали Грозного бичом Руси. По натуре своей, Иоанн Грозный был великий человек, и для него возможны были только две роли — или Петра Великого, или Иоанна Грозного: для первой были непреодолимые преграды, заключавшиеся сколько в отчуждении Руси от Европы, столько и в хаотическом состоянии самой Европы, — и внук Иоанна III сделался не преобразователем России, а грозною карою восточной формы ее государственного быта. Период междуцарствия был доказательством той истины, что если страна, в которой есть зерно жизни, не идет вперед, то она должна идти назад, а вмешательство поляков и шведов было фак-том, что отчужденное от Европы существование Руси уже кончи-лось, и что ей должно было или погибнуть, или войти в состав политического тела Европы, — тогда как доселе она даже при царях своих имела только некоторое значение для Европы, трепетавшей от оттоманского могущества. Благодатное солнце дома Романовых оза-рило Русь тишиною и спокойствием. При кротком Михаиле Русь отдыхала и целилась от глубоких язв междуцарствия и междоусобия, и потому ей было не до движения. Но при царе Алексее Михай-ловиче пробудился дух реформы, как выражение внутренней, еще бессознательной потребности России. Сделано было много нововве-дений и преобразований; иностранцы все более и более внедрялись

в почву русской жизни. Царь Феодор сожигает книги местничества: это была перчатка, брошенная старой Руси. Петр возрос и воспитался в атмосфере преобразований, которые были, впрочем, довольно бесплодны, потому что требовали не полумер, но радикального переворота,—а для того, чтоб произвести его, требовалось гения. Таким гением был Петр,—и он совершил переворот, для которого настало время и созрели элементы: Московское Царство окончило свое историческое существование—возникла Россия и империя...

Из этого видно, что с эпохою междоусобия и самозванцев начался новый период Руси, смысл которого—обнаружение недостаточности того политического организма Московского Царства, который выработался под влиянием Азии, и, следовательно, приготовление к явлению Петра Великого. Этот период свободно уместился бы в одном томе. Итак, вся история России, от начала ее до Петра Великого, могла бы изложиться в трех томах, и притом весьма полно и подробно, если полнота и подробность в том, чтоб не упустить ни одного важного события, ни одной характеристической черты, не гонясь за мелочами, которые только обременяют собою книгу и делают ее скучною и тяжелою для памяти читателя. Если какое-нибудь большое сражение ознаменовано подробностями, объясняющими успех или неуспех битв, произведших важные последствия, или характеризующих век и страну,—передайте их, но увольте читателя от стратегических подробностей, понятных и интересных только военным людям, изложив им только существенное и главное. Иначе из всякого царствования—даже из жизни царя Феодора Иоанновича, посвятившего себя исключительно жизни мошельщика и не вмешивавшегося в дела правления, можно составить книгу в двенадцать больших томов.

Мы твердо убеждены, что история России, написанная, по изложенной нами идее, историком с талантом и с современно-философским образованием, представила бы собою не сбор хронологически изложенных фактов, а духовную физиономию народа, его жизнь, его биографию, как идеального лица. В частях такой истории была бы пропорциональность, а объем соответствовал бы содержанию. Прошедшее являлось бы в ней причиною и объяснением настоящего, а настоящее—результатом прошедшего. В историю должно входить только необходимое, существенное, только то, что оставляет по себе вечные, неизгладимые следы, а это идея. Мы сказали выше, что идея удельного периода—расширение русско-славянского племени на материке нынешней России: и разве теперь не видим мы плодов, рожденных движением удельного периода, и разве теперешняя безграничность России не от него берет свое

начало? Мы сказали, что политический быт и нравственный колорит удельного периода заключаются в патриархально-помещичьем праве: разве и в теперешнем провинциальном быте России нет указаний на этот факт исторической старины? Мы сказали, что период татарщины был периодом централизации древней Руси и, вместе с тем, искажения ее нравов: и что ж? — разве крепость и могущество теперешней России не суть результат этой централизации, и разве в нравах и домашнем быту еще изгладились совершенно следы владычества азиатских варваров? Чтоб убедиться в этой истине, стоит только сравнить нравы нашего простонародья с нравами простого народа в Малороссии, мало потерпевшей или почти ничего не потерпевшей от ига татарского: в быту Малороссиян гораздо больше поэзии и человечности, чем в быту велико русского простонародья. Еще легче открыть в современной России результаты следовавших затем периодов. Каждый из них, как бы живыми нервами, связывается с последующими, и все они составляют один живой организм, выражением которого и должна быть история России, подобно реке, начавшейся подземными ручьями, мелкой и ничтожной в истоке, но, по мере течения, становящейся все шире и шире, глубже и глубже... Всякая история должна отличаться перспективою, так что, если смотреть от конца к началу, все видно уже и темнее, по мере отдаления. Вот об этой-то исторической перспективе говорил покойный профессор Каченовский, которого здравым и основательным идеям и умному скептицизму в деле русской истории доселе еще не отдано должной справедливости. И вот об этой-то перспективе, по крайней мере, до сих пор, мало думали наши историки: оттого у них блистательный двор Ярослава как две капли воды похож на блистательный двор Людовика XIV, а времена полубаснословных Олегов, Игорей и Святославов они описывают с такою же полнотою, подробностью и достоверностью, как будто бы они, добрые историки, сами недавно были современниками и очевидцами всех этих исторических теней...

Мы сказали выше, что одно из главнейших условий хорошей истории — соответствие объема с содержанием. История государств, действующих на всемирно-исторической арене и олицетворивших в себе судьбы человечества, таких государств, как, напр., Франция, Италия, Германия и Англия, — и история какой-нибудь Турции, только внешним образом, временным тяготением внешней силы соприкасавшейся с историею человечества, — требуют совершенно различных размеров. И потому, первая задача историка, приступающего к изложению истории народа, состоит в определении исторической важности этого народа: от степени его истори-

ческой важности должен зависеть объем его истории, равно как колорит и тон повествования.

Все сказанное нами только отрицательно может быть приложено к „Истории Малороссии“ г. Маркевича. Прежде всего в авторе незаметно особенного исторического таланта: его изложение вообще сухо и утомительно; он одушевляется только при рассказе о жестокостях Поляков над Малороссами, но и это местами вспыхивающее одушевление нисколько не отличается историческим характером, хотя и делает честь сердцу автора. Потом из „Истории“ г. Маркевича не только нельзя узнать, каких идей держится он об истории вообще — старых или современных, но даже и считает ли он нужным держаться каких-нибудь идей по этому предмету. Кажется, для него написать историю значит — привести в порядок исторические материалы, пересказав их по-своему. Нельзя не согласиться, что это самый легкий способ писать историю, тем более легкий, что он совершенно увольняет всякого, кому только вздумается приняться за подобный труд, от необходимости иметь талант и современно-философское понятие об истории. Тут главное дело состоит в разделении рассказа на главы и в означении каждой главы именем князя, если это история княжества, и именем гетьмана, если это история Малороссии, и даже именами двух и трех гетьманов, в одно и то же время владевших булавою. Но ведь дело в деле, а не в лицах. Об лицах нельзя не упомянуть, но героем истории должно являться или само событие, увлекающее за собою лица, или такое лицо, которое управляло событием, или в котором выражалось событие. Так, в удельном периоде русской истории, обозначают главы и отделения именами великих князей киевских, хотя эти князья и далеки от того, чтоб быть центром всех событий этого периода.

Малороссия никогда не была государством, следственно, и истории, в строгом значении этого слова, не имела. История Малороссии есть не более, как эпизод из царствования царя Алексея Михайловича: доведя повествование до столкновения интересов России с интересами Малороссии, историк русский должен, прервав на время нить своего рассказа, изложить эпизодически судьбы Малороссии, с тем, чтобы потом снова обратиться к своему повествованию. История Малороссии, это — побочная река, впадающая в большую реку русской истории. Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом, а тем менее — государством. Они умели храбро биться и великодушно умирать за свою родину, им не в диковинку было побеждать сильного врага с малыми средствами, но они никогда не умели пользоваться плодами своих побед. Разобьют

врагов в пух, окажут чудеса храбрости и геройства, и — разойдутся по домам пить горилку. Несмотря на вероломство, предательскую жестокость и клятвопреступничество буйного сейма польского, столько раз казнившего малороссийских депутатов, никогда не бывало недостатка в новых депутатах, с непонятным простоумием стремившихся в раскрытую пасть католического чудовища. Сколько раз малороссияне брали верх над поляками в кровопролитных войнах с ними, и между тем это нисколько не подвигало вперед их дела. Отчего же это? Оттого, что и так называемая Гетьманщина и Запорожье нисколько не были ни республикою, ни государством, а были какою-то странною общиною на азиатский манер. Настоящими и достойными их противниками были крымские Татары, и Малороссияне воевали с ними отлично, в духе своей национальности.

Вторгнется в Малороссию толпа крымских хищников, выжжет несколько городов и много сел, перережет порядочное число людей и больше того погонит в плен, вместе с бесчисленным множеством малороссийского скота, — удалое казачество при вести о набеге вдруг бросится вслед за хищниками, нагонит их, перережет, отобьет добычу и идет само в гости в Крым, где и оставит такие же следы своего посещения. Если же татары успеют благополучно вернуться восвояси, то казаки не замедлят поквитаться с ними визитом. Потом заключат мир или перемирие, которые та и другая сторона считает себя вправе нарушить по первой прихоти. Крымские татары и доблестное казачество понимали политику одинаковым образом. Татары по своему положению могли существовать только грабежом: это был род огромной разбойничьей шайки, имевшей подобие и вид государства. Казачество, с своей стороны, тоже могло держаться одними набегами. Этому было много причин; укажем на главнейшие из них. Казачество возникло из географических причин. Когда нашествие татар разъединило Северную Русь с Южною, Южная Русь сделалась какою-то нейтральною землею и общим владением каждого, кому только вздумалось пройти через нее, или войти в нее. С севера она отделялась степью от покоренной татарами Руси, с востока и юга была окружена татарами, с юго-запада прилежала к Молдавии, а с северо-запада — к Польше и Литве. Теснимая и раздираемая со всех сторон, Малороссия никак не могла образоваться в органически-политическое общество, и поневоле образовалась в общину людей, которые считали себя рожденными для того, чтоб резать других и быть зарезанными самим. Война еделалась стихиею этой общины, — но война не в европейском смысле, а в смысле удалства и молодчества. Казак знал в жизни

только два рода наслаждения: резню и горилку; ко всему остальному он почитал для себя за честь быть совершенно равнодушным. Товарищество всегда и везде, в битве и в гульбе, было верованием казака, и он с страстью и рыцарским великодушием каждую минуту жизни своей готов был сделаться мучеником своего верования. Пить и гулять нельзя было долго лихому казаку, тем более, что он скоро пропивал все, что приобретал на войне, и пропивал с каким-то мужицким аристократизмом, сыпля деньги без счета, поя знакомого и незнакомого и оказывая к золоту безрассудно великодушное презрение. Когда же ему нельзя было больше пить, то надо было драться: иначе он не понимал, зачем же ему было бы и жить на белом свете. Кроме этих причин, т. е. безденежья и скуки, были и другие причины для войны: начинающим свое казацкое поприще хлопцам нужна была военная наука, то-есть битва. С кем же воевать? С турками мир, с татарами мир. Ничего, басурманов никогда не грех бить и не грех нарушение мирных договоров и клятв с ними. И вот пылают берега Анатолии, дымятся села крымских татар; поход кончен, половина товарищей перетонула, перерезана, зато другая добралась до Сечи с богатою добычей и пьет, и гуляет себе на славу, угощая весь честной мир, широко разметываясь казацкою душою... Вот вам и политика. Она не многосложна и не хитра. Нравы Гетьманщины были стройней и кротче, но все же и для нее Запорожская Сечь была и идеалом и прототипом истинного рыцарства. Гетьман Рожинский дал некоторый род правильного устройства этой военной общине, и это устройство, как окаменелое, несколько не изменилось до времен Богдана Хмельницкого, который несколько улучшил его. Из этого можно видеть, как слабо было внутреннее развитие Малороссии, и как мало материалов может оно дать для истории. Это была пародия на республику, или — другими словами — славянская республика, которая при всем своем беспорядке имела призрак какого-то порядка. Порядок этот заключался не в правах, свободно развившихся из исторического движения, но в обычае — краеугольном камне всех азиатских народов. Этот обычай заменял закон и царил над беспорядком этой храброй, могучей широким размахом души, но бестолковой и невежественной мужицкой демократии. Такая республика могла быть превосходным орудием для какого-нибудь сильного государства, но сама по себе была весьма карикатурным государством, которое умело только драться и пить горилку. Умный Баторий умел ею пользоваться, к ее и к своей собственной пользе. Рожденная смутными обстоятельствами, возникшая из хаоса, эта странная республика должна была и исчезнуть с прекращением хаоса. По мере того, как

турки ослабевали, татары приходили в ничтожество, а Россия укреплялась — казачество становилось ненужным, и сила его погасала сама собою. Это глубоко понял величайший из мужей Малороссии — Богдан Хмельницкий. Если он помогал, без пользы для себя и родины, развращенному и безумному злодею Лупуле Молдавскому, увлекаясь чувством родства, — это происходило не от недостатка в гении, а от варварства того века, придававшего такое мистическое значение узам крови. За это Хмельницкий поплатился жизнью достойного своего сына Тимофея. Если Богдан поддался слабости отцовского сердца и согласился на передачу гетьманской булавы ничтожному и слабоумному сыну своему Юрию, в этом надо винить не великого человека, а век его, тем более, что на эту удочку поддавались и великие люди позднейших времен. Сам Наполеон пал от того, что интересы своей династии променял на интересы Франции... Богдан Хмельницкий был герой и великий человек в полном смысле этого слова. Много в истории Малороссии характеров сильных и могучих, но один только Богдан Хмельницкий был вместе с тем и государственный ум. Образованием он стоял неизмеримо выше своего храброго гульливого и простодушного народа; он был великий воин и великий политик. Потому-то и понял он, что Малороссия не могла существовать независимым и самостоятельным государством. Это сознание дорого стоило сердцу благородного сына Малороссии, и с скорбью сошел он в могилу. Невозможность независимого политического существования для Малороссии он приписывал географическому положению этой страны, со всех сторон лишенной естественных границ; но тут была и еще причина, может быть, не понятая им: она состояла в патриархально-простодушном и неспособном к нравственному движению и развитию характере малороссов. Этот народ отлился и закалился в такую неподвижно-чугунную форму, что никак бы не подпустил к себе цивилизации ближе пушечного выстрела и то для того, чтоб ударить на нее с копьем и нагайкою. Малороссы любили свое мужичество, как свою национальную стихию, как поэзию своей жизни, хотя сами и назывались „дворянами“, даже сидя в шинках или валяясь в грязи. И эта черта их народности была причиною фанатической ненависти к ним поляков, кроме католического фанатизма. Поляки называли их мужиками и холопами. Правда, эти мужики и холопы поступали с большею честностью, благородством, рыцарством и великодушием, чем благородные магнаты польские, хваставшие перед малороссами своим „гонором“ и своею „эдукациею“; однако, все же, если нельзя оправдать этой ненависти цивилизованного и имевшего аристократию народа к простодушному

и невежественному, хотя и доблестному племени, то нельзя и не видеть в ней смысла и причины.

Вот взгляд, с каким, по нашему мнению, должен писатель приступить к истории Малороссии. Тогда он поймет, что история Малороссии есть, конечно, история, но не такая, какою может быть история Франции или Англии; тогда он удержится в своем повествовании и от тона адвоката, и от тона панегириста, а постарается живо и просто, в кратких и характеристических чертах, представить картину быта племени, игравшего в истории временную и случайную, но исполненную дикой поэзии роль. В истории Малороссии самое интересное — это нравственная физиономия племени, обладавшего такою упругою, неукротимою силою характера, находившего поэзию и упоение жизни в оргии битвы и молодецкого разгула, как выражения широкого размета души. История Малороссии исполнена дикой поэзии, как ее политические народные думы. Это-то и упустил из виду новый историк Малороссии, увлекшись своею миссией историка и как бы вообразивши, что он пишет историю народа и государства, которые могли бы, при других более благоприятных обстоятельствах, развиться во что-то великое и вечное. Всему свое место и свое значение; ничего не должно ни унижать, ни возвышать по пристрастию. Вот почему, если необдуманный патриотизм кажется иногда жалок, то, с другой стороны, умышленная клевета, особенно печатная, кажется отвратительною. Доказывать, что малороссы были холопы поляков, а не свободное племя, на правах равного с равным, составившее с Польшею и Литвою род соединенных штатов, — доказывать это вопреки неопровержимым историческим свидетельствам значит лжесвидетельствовать; а оправдывать безумное зверство магнатов, будто бы имевших право усмирять своих холопей, — значит оправдывать тех жидов, которые печатали храмы Малороссиан.. Заблуждение первого рода заслуживает сожаления; заблуждение второго рода — презрение честных людей, которые умеют благоговеть перед святостию истины...

Народ или племя, по непреложному закону исторической судьбы, теряющие свою самостоятельность, всегда представляют зрелище грустное. Но разве не жалки и не заслуживали сострадания на Руси и эти добрые матери, которые, назад тому лет 50, с плачем и воплем провожали детей своих в школы, как будто бы дети их шли на место казни? Или еще лучше, разве не жалки эти жертвы неумолимой реформы Петра Великого, которые в своем невежестве не могли понять цели и смысла этой реформы? Им легче было расстаться с головой, чем с бородой, и по их кровному глубокому убеждению, Петр разлучал их навеки с радостью жизни...

В чем же состояла эта радость жизни?— В лени, невежестве и грубых, но освященных веками обычаях... В жизни Малороссии было много поэзии, — правда; но где жизнь, там и поэзия, с переменной существованием народного не исчезает поэзия, а только получает новое содержание. Слившись навеки с единокровною ей Россией, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке, от которых дотоле непреодолимой оградой разлучал ее полудикий быт ее. Вместе с Россией, ей предстоит теперь великая будущность... В истории ничего не бывает случайного, и трагические коллизии ее исполнены такого же глубокого смысла, как и потрясающей душу поэзии: в них открываются неотразимые определения миродержавного промысла, победоносный ход света разума, вечно борющегося с тьмою невежества и вечно торжествующего над нею...

Как всякий благонамеренный труд, „История Малороссии“ г. Маркевича заслуживает внимания и уважения, тем более, что в ее исполнении заметно много добросовестности и усердия, и две большие части материалов — особенной благодарности; но как история, в современном значении этого слова, сочинение г. Маркевича не выходит из ряда посредственных опытов такого рода. Она лишена достоинства живой, хорошо освещенной и с искусством группированной картины, и потому в ней нет целого, и внимание читателя, теряясь в лабиринте неловко расположенных подробностей, тяжело утомляется. По идеям и взгляду на вещи, сочинение г. Маркевича еще менее удовлетворительно, чем по искусству изложения. Все, что можно похвалить в новой истории Малороссии, — это искусство, с каким высказаны в остальной половине многие щекотливые подробности. Язык г. Маркевича не отличается правильностью, а того, что называется слогом, у него вовсе нет.

Отечественные Записки 1843, т. XXVIII, № 5, отд. V, стр. 1—18. — Ценз. разр. 30 апреля 1843 г.

Прямых указаний на авторство Белинского не имеется. Но достаточно быстрого ознакомления со статьей, чтобы без колебаний приписать ее критику. Прежде всего в этой статье характерно для Белинского то, что об „Истории“ Маркевича говорится мало, а вся почти статья посвящена развитию взглядов, не имеющих близкого отношения к разбираемому труду. Это — манера Белинского, часто пользовавшегося рецензируемой книгой, как поводом для развития своих излюбленных мыслей. Содержание статьи по существу не ново. В ней развиваются более углубленно, а местами повторяются, порой почти в дословных выражениях, многие мысли, с которыми мы встречаемся в ряде других статей Белинского этого периода. Особенно тесно связана эта статья со статьей критика о „Руководстве к всеобщей истории“ Фридриха Лоренца. Сделаем несколько сопоставлений.

В настоящей статье в замаскированной форме проводятся идеи социализма. Рецензент горячо верит в близкое единение людей. Он говорит: „В мысли, что

государства должны ревниво смотреть одно за другим и имеют право друг друга ограничивать, — уже в самой этой мысли видно начало единства, хотя и дурно понятого. Теперь это единство понято иначе и состоит в подчинении великой идеи национальной индивидуальности еще более великой идее человечества.. И недалеко уже время, когда исчезнут мелкие эгоистические расчеты так называемой политики, и народы обнимутся братски при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умиловленным небом". — На ту же тему говорит критик в письме к Боткину: „И настанет время — я горячо верю этому — настанет время, когда... не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди... Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новой землей". (Белинский. Письма под ред. Е. А. Ляцкого. СПб. 1914. Т. II, стр. 267—268). В статье о книге Лоренца мы находим те же мысли: „Современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития, и от его настоящего состояния можно делать посылки к его будущему состоянию. Свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу, и будет новая земля и новое небо". („Отечественные Записки" 1842, т. XXI, отд. V, стр. 36—45).

В настоящей статье уделено много места полемике с „мнимыми патриотами", обвинявшими образованное русское общество в галломанстве. Рецензент соглашается, что „в подобном обвинении есть часть истины, но от полной истины оно далеко, как тьма от света, и в целом — это обвинение совершенно нелепо.. Знание французского языка нисколько не находилось в противоречии с истинным патриотизмом, — лучшим доказательством этой истины служит великая война 1812—1814 годов: известно фактически, что не только в гвардии, но и в армии русской было много образованных офицеров, которые говорили по-французски, — однакоже это не помешало им лить кровь и умирать доблестно за свое отечество, языку которого они предпочитали язык своих достойных по храбрости врагов". — К этому вопросу Белинский вернулся месяцев через восемь, когда писал в своей статье „Русская литература в 1843 году": „Было время, когда наши писатели только и делали, что нападали на русское общество высшего и среднего круга за его страсть к французскому языку. Это было действительно недостатком со стороны нашего общества; но могли ли оскорбить его нападки, и притом еще не совсем справедливые, писателей, когда оно знало, что те же самые офицеры гвардии, которые по-русски объяснялись только по официальным делам службы, геройски жертвовали своею жизнью в битвах против тех же самых французов, язык которых они больше любили и лучше знали, чем свой родной?"... (изд. Венгерова, т. VIII, стр. 405).

Под свою защиту рецензент берет и Карамзина, которого тоже „патриоты" обвиняли якобы за порчу русского языка галлицизмами. „Против Карамзина, — говорит он в этой статье, — составила даже целая литературная партия, упрекавшая знаменитого преобразователя русского языка в растлении русского языка галлицизмами, хотя исполненный галлицизмов язык Карамзина в тысячу раз более естественный и живой русский язык, чем длинные латинско-немецкие периоды книжного языка Ломоносова". — Ту же защиту Карамзина мы находим в статье критика „Русская литература в 1841 году", написанной приблизительно года за полтора раньше этой статьи: „Карамзина обвиняют в растлении чужестранными словами и оборотами, преимущественно галлицизмами, девственности русского языка. Но эти люди забывают, что тогда не было никакого русского языка, и что латино-славянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русским языком, чем проза не только Карамзина, но и самых неловких его подражателей, отчаянных галломанов" (т. VII, стр. 17).

Основываясь на философии Гегеля, рецензент дает определение и намечает задачи истории. „История,— говорит он,— есть наука и искусство вместе, ученое сочинение и художественное произведение... Этому новому направлению истории много способствовал гениальный человек... Вальтер Скотт был создателем нового рода поэзии, который мог возникнуть только в XIX веке,— исторического романа. В романе Вальтер Скотта история и поэзия в первый раз встретились, как начала родственные, а не враждебные... В движении исторических событий, кроме внешней причинности, есть еще и внутренняя необходимость, дающая им глубокий внутренний смысл: само движение событий есть не что иное, как движение из себя-самой и в себе-самой диалектически развивающейся идеи... Историк должен прежде всего возвыситься до созерцания общего в частном, другими словами, идеи в фактах!“ Далее, набросав план истории России, рецензент продолжает: „Мы твердо убеждены, что история России, написанная по изложенной нами идее, историком с талантом и с современно-философским образованием, представляла бы собою не сбор хронологически изложенных фактов, а духовную физиономию народа, его жизнь, его биографию, как идеального лица.— Те же взгляды на историю и ее задачи мы находим в ряде других статей критика. В статье о вышеупомянутой книге Лоренца мы читаем: „Историческое созерцание проникло всю современную действительность... Вальтер Скотт был органом и провозвестником века, давши искусству историческое направление“... Под „историческим направлением“ разумеются „не интересы сословия, не интересы общества, не интересы государства, но интересы человечества; словом, это общее в идеальном и возвышенном смысле слова... Философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах. По Гегелю, мышление есть как бы историческое движение духа, сознающего себя в своих моментах... Сущность истории, как науки, состоит в том, чтобы возвысить понятие о человечестве до идеальной личности... Да, задача истории — представить человечество, как индивидуум, как личность, и быть биографией этой идеальной личности“... В статье о трудах Голикова, Бергмана и Кошихина: „В каком смутном брожении, в какой свирепой борьбе элементов и сил является история Европы средних веков! Но в этом хаосе немолчно раздается всемогущий глагол жизни, творческое „да будет!“... И вот почему, при всей пестроте, при всей яркости цветов, при всем разнообразии и смешении борющихся между собой элементов, история Европы представляет стройную и величественную картину разумных и великих событий; взор мыслителя усматривает в форме этой многосложной картины единство диалектически-развивающейся мысли“ (т. VI, стр. 122—123).

Можно было бы продолжить эти сопоставления. Но думаю, что и сказанного достаточно, чтобы не сомневаться в принадлежности Белинскому этой статьи.

В. Спиридонов.

Письмо В. Г. Белинского к В. П. Боткину.

Москва. 1838. Августа 12 дня.

Любезный Васенька — 100 поцелуев тебе в лысину за твое милое письмо. Знаешь-ли что в отсутствии я еще больше полюбил тебя, и потому твое письмо, длинное, против обыкновения и лени, подарило меня сладкою минутою. Что нужды, что ты пишешь мне в нем почти об одной музыке: общее во всем дает себя знать, где только есть оно. Жду (зачеркн. тебя с) твоего возвращения в Москву как светлого праздника, крепко, крепко обниму тебя, друга, брата души моей!..

Друг, ты несправедлив к себе, да уж, видно, так суждено Богом, чтобы все порядочные люди и хвалили и бранили себя не впопад. Не отрицаю тех достоинств, которые ты приписываешь мне, но не хочу говорить о себе, боясь быть или пристрастным или несправедливым к себе. Никто из нас не знает самого себя. Это (созна зачеркн.) самосознание есть удел действительности, а мы все идеальны, пошло идеальны (зачеркн. но) и, сверх того, отвлеченны. Друг! уединение — святое дело! Оно подвинуло меня вперед: я еще очень много глубоко (sic) почувствовал то, что недавно выговаривал, как конечное определение рассудка. Но все это еще не то, чего надо. А надо действительности, которая бы могла удовлетворить. На действительность я смотрю практически, как на твердость духа, вследствие равенства самому себе. Знанию, науке — решительно кланяюсь, но (зачеркн. уч) учиться или заниматься для полноты духа готов, и при маленьком интересе готов на принуждение, на усилие воли. Признаю торжественно элемент воли, и не тот, против которого недавно так горяче вооружался. Все дело в том, чтобы уловить истину в ее целости, в конкретном единстве всех ее сторон, так, чтобы одна сторона не (зачеркн. про) только не отрицала другой, но необходимо условливала ее. Работаю тяжело, по целой недели (sic) не одеваюсь — все жаль оставить (своей, но — ей зачеркн. и над этим окончанием: — ю) свою любезную комнату и тихий труд, целитель больной души. Но все еще много ленюсь, предаваясь фантазиям, часто в лице моем видны размышление и физио-

номия¹⁾. Ох, эти фантазии, чорт бы их взял! Но как много еще дают они мне. Но я не даю себе распускаться и иногда умею ловко прибрать себя в ежовые рукавицы. Что бы ни было, а уж сделаю из себя рабочую машину, хотя бы это стоило чахотки. Видно — кому чины, кому палаты, а мне все (старые зачеркн.) новые заплаты на старые штаны. Спасибо и за то. Труд единственный выход. Нынче разобрал кое-как главу из Вильгельма Мейстера. Чудо, прелесть! Мне начинает нравиться приискивать в словаре слова и посредством немногих данных и собственных соображений доискиваться до их таинственного (в подл.: таинственного) значения. Надеюсь превзойти Вагенера²⁾. Не тужи, Васенька, поживем подольше — будем дураками.

Всего не могу пересказать в коротком письме. Много нового (внешня шнего, где вторичное — шнего зачеркн. и поверх него: го) внешнего, связанного с внутренним, и во внутреннем беспрестанные новости. Я узнал, что и я люблю и ненавижу вместе. Да, поверхность озера души моей тиха и светла, а на дне черти. Все это высказывается больше непосредственно — чрез физиономию³⁾ и размышление. Например, когда я прочел в твоём письме, что тебя вывело из дисгармонии воспоминание о sonate pathétique, где-то разыгрываемой робкими пальцами — то мне стало не ловко, как будто сказал какую глупость или проигрался, словом, — не хорошо. О, Васенька, понимаю возможность лютой к тебе враждебности, если бы ты был счастлив. Я прочел (зачеркн. Эгм) „Клавиго“ Гёте — его превозносил Мишель⁴⁾, и еще некто советовал мне прочесть. Только теперь вспомнил я, что мне хотелось найти пьесу дрянную. Так как я читал ее духовными очами, и еще с таким чувствованьицем против нее, то и не мудрено, что — может быть, не мог вникнуть. Мне было весело, теперь только сознаю это, что она не произвела на меня никакого впечатления. Тотчас разругал ее и Гёте и послал к Мишке письмо. Вдруг приходит Катков и говорит, что если Гёте ничего не написал, кроме Клавиго и тогда бы он был великий гений. Иван Петрович⁵⁾ говорит (зачеркн. то же) почти то же. Видно, что я срезался — посрамахся окаянный. Мне было то досадно, то

¹⁾ См. и ниже: „Все это высказывается чрез физиономию и размышление“; физиономия — очевидно, в смысле определенного выражения в чертах лица.

²⁾ Ср.: „Шевырев — это Вагнер. Он на лекции объявил, что любит букву“.
(Письма I, 211).

³⁾ См. вып. 1.

⁴⁾ Мишель и ниже Мишка — обычные в письмах Белинского именованья Михаила Бакунина.

⁵⁾ Иван Петрович и ниже сокращ. И. П — ь — Ключников.

весело, что я срезался: черти возьмется на дне озера. Мишель теперь напишет (зачеркн. к) целую книгу в 12 томах, чтобы доказать мне мою ошибку, не подозревая того, что ларчик просто открывался. Пусть пишет — мы прочтем. Прочел я Майрата¹⁾, половина повести (где Серафима) — прелесть; остальное — чистая болезненная субъективность Гофмана. Кудрявцев написал мне новую (зачеркн. прелесть) повесть „Флейта“²⁾ — чудную вещь. Она вырвала у меня несколько слез и расшевелила змею воспоминания. Целый день душа моя плавала в музыке, состоявшей немного из диссонансов, но больше из грустной мелодии. (Мои музыкальные сравнения похожи (зачеркн. н а) вот на что: блондин или брюнет, нет, больше шантрет). Эту повесть пошлю в Прямухино (оконч. о написано поверх зачеркн. у). Туда поехала Н. А. Беер; я с нею виделся и вспомнил много, и сердце понеслось далече³⁾. Да (зачеркн. о з е р о), поверхность озера гладка и чиста, но на дне кроются тайники бурь. От Мишеля, кроме известного тебе письма, пока одни обещания писать. Что-то напишет (зачеркн. К.). С Кудрявцевым больше и больше схожусь. Он доказывает мне возможность для меня новой дружеской связи во (зачеркн. в с е й) всей обширности этого слова. Чудная, глубокая душа!

Друг, ободрись, не думай о себе. Поговорю о тебе. Наши похвалы друг другу имеют святой смысл. Это не обмен комплиментов, не задибривание чужого самолюбия в пользу своего. Нет, это поддержка одного другим, святой союз, основанный на стремлении к истине. Послушай, как я думаю о себе. Глубоко уважаю Мишеля, потому что глубоко понимаю его. Душа бездонная, как море! Но это не заставляет меня (вставлено) уже оборачивать на себя. Я знаю, что если в нем много такого, чего (в нем зачеркн.) нет во мне, то и во мне много, чего нет в нем. Каждый из нас есть своего рода самобытное явление, и нам не должно делать себя аршином другого,

1) Повесть Гофмана „Майорат“ — один из „ночных рассказов“.

2) А. Галахов в своих „Воспоминаниях о П. Н. Кудрявцеве“ („Русск. Вести“. 1858, февр., кн. 2, № 4) так характеризует повесть „Флейта“: „В повести „Флейта“ искусно раскрыты зарождение и постоянный рост начальной, отроческой любви, первые движения этого чувства, неопределенное, смутное состояние сердца, не оознаваемое тем, кто его испытывает. Кроме таинственного полусвета в рассказах Кудрявцева легко различить еще другой меланхолический оттенок“. Флейта была вручена Кудрявцевым (в то время еще студентом) Белинскому для журн. „Моск. Наблюдатель“, негласным редактором коего он состоял, — поэтому Белинский пишет: Кудрявцев написал мне новую повесть „Флейта“.

3) Наталья Андр. Беер, как и ее сестра Александра Андр., подолгу гостила в Прямухине, имени Бакуниных, и была свидетельницей увлечения Белинского младшей Бакуниной — Александрой Александровной.

и другим мерять себя: это фальшивая мера. Кто из нас больше, кто меньше — этого никто из нас не может знать. Разумеется, что он кажется мне выше меня, и очень может статься, что это так в самом деле. Всякий человек с истинным достоинством меньше всего видит свое собственное достоинство и больше всего недостатки, а в отношении к другим наоборот. Я в тебе вижу (и очень ясно) то, чего не вижу ни в себе, ни в Мишеле, другими словами, вижу в тебе самобытное явление — тебя; ни каждый из нас тебя, ни ты каждого из нас заменить (т. е. сделать ненужным) не можем. Скажу тебе (откровенно, затем р зачеркн. и поверх него в, а, р в свое место не вставлено) откровенно, что у нас есть большое перед тобою преимущество — наши возможности (а не действительности, которых ни у кого (зачеркн. зн) из нас нет) (зачеркн. опр) более определились; каждый из нас яснее, нежели ты, видит свою дорогу. Но что касается до элементов — я отказываюсь их мерить. У меня не было ни одной минуты, в которую бы я сознал свое над тобой превосходство в этом отношении; а я не перед всеми бываю так скромн. Напротив, много было минут, в которые я живо сознавал твое надо мною преимущество. Не стыжусь сказать, что в последнем случае я мог ошибаться, т. е. признаю возможность ошибки, но точно так же и признаю возможность правды.

Друг, кто не обинуясь высказывает такие мнения, тому можно поверить. Я встретил в жизни только одного человека, которому безусловно поклонился и теперь кланяюсь и всегда буду кланяться — ты знаешь о ком я говорю¹⁾. Потом, я встретил еще двух человек, с которыми стать наравне посчитаю за честь²⁾. Об И. П.—е судить не смею: может быть, он всех нас лучше³⁾. Больше я никому не кланялся и ни с кем даже не становился вровень. Начинаю думать, что это не обман самолюбия, а сознание истины: думаю так потому, что не стыжусь

высказать этого вслух. Прежде я бывал минутами самонадеяннее, но скрывал это тщательно, равно как и минуты самого жестокого разочарования в себе. Результат этого всего — мои слова должны иметь для тебя вес. Моя дружба (т. е. мое непосредственное чувство к тебе) выдержали важную пробу: вспомни нашу бранную переписку с Мишелем. Мне даже смешно, что я так утешаю тебя. Но я понимаю твоё состояние и понимаю цену такого утешения, как мое. Я помню, что подобные утешения со стороны моих друзей (и сколько раз от тебя!) выводили меня из отчаяния. Недаром наша дружба так крепка, недаром мы так любим друг друга и так нуждаемся один в другом. Ободришь, ты болен и скоро выздоровеешь. Ты становишься на колени перед моими глубокими интересами: я тебе скажу их — жажда блаженства и любви — вот все мои глубокие интересы. Знаю, что есть и другие столь же сильные, но в них для меня видна какая-то ясность, противоположная

¹⁾, ²⁾ и ³⁾ См. ниже комментарий к тексту письма.

таинству жизни. А ты, разве твое брожение не есть требование жизни? Разве ты не страдаешь? Радуйся — ты страдаешь, а блаженни плачущие тии бо утешатся. Нет, мой глупый Васенька, в тебе я вижу много, много интересов, больше чем в себе, и глубже. Не думай, что это может быть опровергнуто моею же мыслию, что я к себе неправ, потому что не могу себя знать. Если я неправ, то кто же поручится за твою правоту, а взаимная наша неправота в этом случае — добрый знак! В тебе тоже есть черти, по крайней мере, я знаю одного чертенка, который стоит доброго чорта и который мне очень не по сердцу. Вот он-то все и мутит. Да плюнь на него. Я с своим бился, бился, а он от рук отбился, и я дал ему волю. Впрочем, от него есть славный ладан — работа. В минуты отдыха можно давать ему волю, только надо держать его в руках. Пусть бесится, но с позволения. Вот твое положение относительно конторки и амбара — не знаю, что и сказать, хоть за Иваном Александровичем послать, так в ту же пору. Это уж реши собственным умом, а я только могу сказать, что понимаю всю гадость твоего положения. Это хуже, чем мое учительство, которое ограничивается 9-ю часами в неделю. Без субъективного интереса всякое дело — наказание Божие.

Музыка, музыка, чорт с тобой! Хотел бы любить тебя, но должен ненавидеть, потому что ты меня не любишь. Меня не любит все, что я люблю. Пока, впрочем, я мог бы помириться с жизнью, еслиб одно — хоть что-нибудь похожее на чувство. Это сведет меня с ума. Я теперь понял источник всех моих страданий, всех зол моей жизни, отчего я так часто и так низко падал, падаю и буду падать. Это от ложного удовлетворения истинной потребности. Пока не будет для меня хоть сколько-нибудь истинного, хоть временного удовлетворения этой жажды — заперто для меня царство духа. Мишель тотчас закричит, что не должно ограничивать своей жизни ничем видимым — да кричи, сколько угодно, хоть раздери горло, а я знаю, что знаю. Законы общего одни, но общее является под условием индивидуальности. Надо влезть в мою шкуру, чтоб узнать, чего мне нужно. Только поэтам предоставлена завидная участь вполне высказывать себя, а нашему брату и то хорошо, коли удастся намекнуть.

Уведомь меня, скоро ли ты приедешь — буду считать часы и минуты. Сколько новостей! Ух! Стихи Кольцова дрянь. Кстати новость: нелепый бранит французов хуже меня на чем свет стоит: конечный народ, у которого не было искусства. Каково!? Иван Петрович со дня на день становится лучше. Катков славный малый, но я всех лучше. К Кронебергу отослал письмо. Прощай. Твой В. Б.

В Москве другой уж день как хорошая погода — право не лгу. Скоро 12 часов. Небо мрачно, но звезды блещут ярко. С час назад прочел твое письмо и вот уж готов и ответ. Завтра пошлетя.

Пора спать и мечтать: чертенок начинает возиться, озеро волнуется.

* * *

Публикуемый автограф В. Г. Белинского составляет лишь первую половину его письма к В. П. Боткину; вторая половина уже известна в печати; она вошла в первый том издания „Белинский. Письма“, 1914, под ред. и с примеч. Е. А. Ляцкого (стр. 255), которому в примечании пришлось сказать: „Начало письма не сохранилось“, и датировать текст по догадкам: „Осень 1838“. В примечании указано, что письмо „взято Пыпиным из собрания Солдатенкова (280)“. Прихотливый случай развел эти две половины письма, но он же позволяет их и свести: первая половина нашлась. Она мною найдена среди остатков рукописного материала, принадлежащего перу П. Н. Кудрявцева, полученных мною от вдовы

П. П. Копосова, родного племянника Кудрявцева; говорю „остатков“, потому что главная часть была П. П. Копосовым пожертвована в рукописное отделение Румянцовского музея и в Историч. общ. при Моск. Университете (тексты исторических работ Кудрявцева). Автограф представляет собою листок бумаги очень низкого качества, не „почтовой“, от времени сильно изменившей цвет и хрупкой. Все четыре страницы исписаны полностью; текст последней строки имеет непосредственное продолжение в первой строке уже опубликованной второй половины письма. Почерк вполне разборчивый. Сверх особенностей правописания Белинского, которые отмечены Е. А. Ляцким, предлагаемый текст характеризуется еще некоторыми: *превзодти* и *найди*, *советывал*, не *подозревая*, в *отношении*, *мерить* наряду с *мерять*; начертания „по целой недели“ и истинну (в друг. случаях одно и) — несомненные описки; вероятно, описка и Вагнер (вм. Вагнер), и вообще письмо написано местами рассеянно, — не дописано: *глубо(ко)*, невнимательно исправлено *откровенно*, много поправок.

Что касается слов: „Прочел я Майрата“ (вм. Майорат), то промах Белинского здесь вряд ли есть результат рассеянности.

Вторая половина перепечатывается, смыкаясь с первой, но отличаясь в наборе.

Теперь в цельном виде письмо воспринимается уже без тех неясностей, которые были неизбежны в понимании текста второй половины без первой; не говоря уже об обрывке первого предложения, теперь уже полное, становится понятным и восклицание: „Музыка, музыка, чорт с тобою!“ (Боткин писал Белинскому „почти об одной музыке“), и уже не представляются неожиданными заключительные слова: „чертенок начинает возиться, озеро волнуется“; это „озеро“, „тишина“ поверхности и „черти на дне“ — лейтмотив значительной части письма, характеризующий настроение Белинского. Другим лейтмотивом является речь о „действительности“, служившей таким неотлучным предметом духовных устремлений Белинского в эту пору его жизни, устремлений к „уловлению истины в ее целостности, в конкретном единстве всех ее сторон“. Впрочем, письмо так насыщено и другими темами, тесно связанными друг с другом и рождающими одна другую, что анализ его содержания увлек бы к целой характеристике миросозерцания Белинского в последние годы его московской жизни и деятельности — предметов, слишком известных в литературе о нем. Другое дело — его душевное настроение „дня“, тем более, что только в настоящее время дата письма в его целом устанавливается точно: „12 августа 1838“. Белинский весь полон увлечения А. А. Бакуниной и вообще впечатлений своего недавнего пребывания в Прямухине, которые освежились свиданием и беседой с Н. А. Беер („и вспомнил много, и сердце понеслось далече“). Однако, — хотя он пишет (во 2-й половине письма): „жажда блаженства в любви — вот все мои глубокие интересы“, но тут же прибавляет: „знаю, что есть и другие, столь же сильные“, — и первая половина письма дает большой материал для подтверждения того: этот „тихий труд, целитель души“, который есть „единственный выход“, — вот что наполняет дни Белинского. Он работает „по целой недели не одеваясь“. Письмо вводит и в самые занятия его: его занимают Гёте, Гофман; самое приискивание слов в словаре и процесс понимания немецкого текста, для Белинского не легкого к усвоению, становятся для него привлекательными. Как характерны его предвзятое чтение „Клавиво“, очевидно, из духа противоречия, решительный приговор и этому произведению и Гёте — и затем полное сознание своей неправоты. Характерно и полное признание авторитета Каткова и Ключикова. При частых переменах в отношении Белинского к тем или другим лицам, это письмо имеет интерес, как свидетельство об оценке им ряда лиц именно в эту пору. Определяется сближение его с Кудрявцевым, с которым он признает „возможности нсвой

дружеской связи во всей обширности этого слова“; эта дружба укрепилась настолько, что, сменяя Москву на Петербург, он свое редакторство в „Моск. Наблюдателе“ передает Кудрявцеву (еще юному студенту). „Чудная, глубокая душа!“ восклицает он, характеризуя Кудрявцева. Если не считать отзыва Белинского (в письме к Панаеву от 10 авг.) о И. П. Ключникове: „очень интересный человек“, то настоящее письмо есть первое свидетельство Белинского об исключительном уважении к личности этого человека. Слова: „об И. П.—е судить не смею: может быть он всех нас лучше“— очень значительны. И. П. Ключникова: высоко ценил поэт Полонский: „как эстетик и мыслитель, глубоко понимавший и ценивший Пушкина как знаток поэтического искусства—пишет он, о Ключникове,—„он не мог своими беседами не влиять на меня“... („Мои студенческие воспоминания“.—„Нива“, ежемес. прилож., 1898, № 12, 650 стр.). По признанию Полонского, Ключников изображен им в незаконченном стихотворном романе „Свежее преданье“ под именем Камкова: „не фактическая жизнь играет тут главную роль, а характер и настроение Камкова“ (649 стр.). Вот, как напр., очерчен Камков-Ключников в I гл. „Свежее преданья“ (Полн. собр. стих. III, 329 стр.):

Он по летам своим был сверстник
Белинского. Станкевич был
Его любимец и наперсник.
К нему он часто заходил
То сумрачный, то окрыленный.
Надеждами, и говорил —
И говорил, как озаренный и т. д.

Еще горячее, чем в „Студенческих воспоминаниях“, Полонский говорит о И. П. Ключникове в письме (неизданном) к Л. И. Поливанову от 22 окт. 1897, высказывая оценку своей повести в стихах „Свежее преданье“: „Стихи мои слабы в сравнении с лицом, лучшим, каких я знавал в течение моей жизни. Мой Камков, как это многим известно, это И. Ключников, учитель Юр. Самарина и наставник Белинского, — Белинский и не был бы Белинским, если бы Ключников не свел его с кружком Станкевича, и на меня он имел благотворное влияние... Но сам ничего не сделал потому что для философской деятельности родился не во время — и нуждался в насущном хлебе“. Слова Белинского: „Я встретил в жизни только одного человека, которому я безусловно поклонился“ и т. д., без всякого сомнения, относятся к Станкевичу; что же касается поставленных затем „двух человек“, с которыми стать наравне он почитает за честь, то с наибольшей вероятностью в них следует видеть М. Бакунина и В. Боткина; это предположение согласно и со словами: „Потом я встретил“... и с дальнейшими (о И. П.—е): „может быть, он всех нас лучше“, — это „нас“ заставляет не выходить в догадках за пределы тесного круга ближайших друзей; такое предположение находит себе опору и в свидетельстве Пыпина: „После Станкевича самая важная роль в этом отношении (т.-е. во внутреннем развитии Белинского) принадлежит двум лицам, которые вошли в кружок около 1835 г.; один из них был М. Б. (акунин), другой — В. П. Боткин“ („В. Евр.“ 1874, № 6, 600).

Ив. Поливанов.

Из письма Белинского к В. П. Боткину. 1841.

(Выброшенные цензурой строки).

...Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею, на которой, как сказал Тиберий Гракх нашего века, Шиллер, видна кровь первого человекоубийцы. Какое право имеет он внушать мне унижительный трепет? Почему я должен снимать перед ним шапку? Я чувствую, что, будь я царем, непременно сделался бы тираном. Царем мог бы быть только бог бесстрастный, всеведающий. Посмотри на лучших из них — какие сквернавцы, хоть бы Александр-то Филиппович: когда эгоизм их зашевелится — жизнь и счастье человека для них ничто. Гегель мечтал о конституционной монархии, как идеале государства — какое узенькое понятие! Нет, не должно быть монархов, ибо монарх не есть брат людям, — он всегда отделится от них хоть пустым этикетом, ему всегда будут кланяться хоть для формы. Люди должны быть братья и не должны оскорблять друг друга ни даже тенью какого-нибудь внешнего и формального превосходства.

* * *

Печатаемый отрывок из обширного письма Белинского к Боткину от 28 июня 1841 года взят из трехтомного собрания писем Белинского, вышедшего под редакцией Е. А. Лядкого в 1914 году. В обычных, обращающихся в публице и библиотеках, экземплярах этого издания очень много пропусков в тексте писем Белинского, обозначенных всегда многоточиями. Но редактор напечатал несколько экземпляров издания полностью, с восстановлением всех пропусков; такие экземпляры представляют величайшую редкость.

Среди пропусков много таких, где говорится об интимных бытовых подробностях или допускаются резкие, неудобные в печати, „неприличные“ выражения. Но есть и такие, которые обусловлены были требованиями политической цензуры. Один из них мы и восстанавливаем теперь ко всеобщему сведению по одному из полных экземпляров писем. В интересах полноты и связности, отрывок печатается и с теми строками, которые уже широко известны (напр., о маратовской любви к человечеству). Нелегальные строки выделены разрядкой.

Упомянутый в письме „Александр Филиппович“, конечно, — Александр Македонский. Явственно проступает в пропущенных строках культ Шиллера. Ценны возражения против монархизма Гегеля, которого, в то же время, Белинский так высоко ставил за его историческую диалектику. Монархомахия связана в сознании Белинского с культом братства людей. Этими чертами отрывок сближается со статьями о Лоренце и Маркевиче (см. выше).

Н. Пиксанов.

II

Р Е Ч И

в торжественном соединенном заседании
Российской Академии Художественных Наук
и Общества Любителей Российской Сло-
весности, 13 июня 1923 года

Вступительное слово А. В. Луначарского.

Товарищи и граждане!

Мое слово будет иметь довольно скромное значение. Во-первых, рядом с моим вступительным словом мои коллеги выступят перед вами с целым рядом речей, которые дадут вам многогранное представление о Белинском. Во-вторых, при всей неисчерпаемости этой темы, всякому из вас о Белинском так много известно и всякий из вас так высоко чтит память Белинского, что мне можно прибавить к этому лишь немного. Свою речь я ограничу той новой оценкой Белинского которая вытекает из нашей великой революции, т.-е. я постараюсь сделать попытку определить место Белинского в истории русской культуры с точки зрения класса, являющегося носителем Октябрьской Революции. Впрочем, и здесь я буду делать не новое дело, так как работа эта превосходно проделана Г. В. Плехановым.

Прежде всего, такая крупнейшая фигура, как Белинский, характеризующая собой все, что есть лучшего в русской интеллигенции, могла проявиться только в исключительную эпоху социальной биографии народа вообще и этой его интеллигенции в частности.

Время Белинского было в некотором отношении эпохой пробуждения нации.

Каждая национальная культура, с нашей, марксистской точки зрения, всегда носит классовый характер, т.-е. определяется культурно-доминирующим классом. Высшие слои русского народа весьма мало влияли на его национальную культуру. Участие, которое крестьянство в своих казацких и сектантских ветвях принимало в истории русской мысли, было смутно и стихийно, да и вообще пробуждение нации совпадает обыкновенно с возникновением особого класса носителей культуры, сливающегося с высшими классами или близкого к ним.

Русское дворянство в общем и целом играет в истории русской общественности антикультурную роль, и, тем не менее, первые 10 лет самосознания в России совпали с возникновением такого самосознания в передовых группах дворянства.

Весна русской поэзии и русской мысли ознаменовалась появлением Пушкина и группы поэтов и писателей, носивших на себе печать дворянской культуры и дворянских подходов в том творческом акте, которым они подарили весь народ.

Белинский это прекрасно сознавал, и вы, конечно, помните ту яркую характеристику Пушкина как дворянина, которую Белинский неоднократно повторял.

Но если бы это было только чисто-дворянское самосознание, то период дворянского культурничества мог бы не входить вовсе в историю русского национального сознания. Надо сказать, однако, что господствующий класс в эпоху своего расцвета, выражая самым ярким образом свои классовые тенденции, в то же время в значительной мере отражает и судьбы всего руководимого ими целого. Дворянство, худо или хорошо, было все же организатором всех сил народа. К этому надо прибавить, что в России, с ее азиатским самодержавием, передовые группы дворянства быстро определились как оппозиционные, что тоже давало этим группам право на некоторое время ставить себя как бы во главе всего угнетенного народа.

Дворяне сознавали, конечно, что они принадлежат к господствующему классу — и отсюда патриотический душок, присущий им всем, даже наиболее радикально настроенным. Но все же перед мыслью дворян раскрылись некоторые горизонты, и многие из них далеко опередили казематное самодержавие и крепостную розгу. И еще одно замечание. Если передовой класс какого-нибудь большого народа начинает свою сознательную жизнь, то он, конечно, становится прежде всего перед самыми общими проблемами, перед вопросами природы, жизни и смерти, любви и т. д. В таком смысле он может проделать много общечеловеческого и элементарно-важного. И действительно, передовики русской культуры, почти сплошь дворяне, проделали в этом отношении гигантскую работу. Можно сказать, что первые гении каждого народа хватаются, естественно, за самое важное, между тем как последующие, хотя они и не уступают им в гениальности, переходят уже к вопросам более детальным, а дальше появляются эпигоны, которые — при всей талантливости — вынуждены либо повторять зады, либо придумать новые формальные ухищрения за исчерпанием большинства обще-интересных тем. Только крутые сдвиги в самой жизни могут создать в этом отношении совершенно новую, так сказать, весну.

В эпоху Белинского дворянство продолжало играть значительную роль. Лучшие слои дворянства все с большим отвращением относились к собственному, своему социально-политическому по-

ложению, и это потому, что все более ощущалось давление всей массы русского народа, который как будто начинал просыпаться. Конечно, нельзя было все же ждать, что народ непосредственно выступит на арену культурной деятельности.

Лучшие из дворян как будто служили до некоторой степени ему рупором, и, тем не менее, было ясно, что необходимо появление новой общественной группы, лишенной дворянских предрассудков, более близкой к народу и в то же время, в отличие от масс, способной владеть в значительной мере образованием. В Европе таким классом явилась буржуазия. Широкое развитие городской жизни привело с собою планомерную смену феодализма. В России буржуазия не сыграла очень заметной культурной роли. У нас нет ни одного писателя, который был бы, так сказать, с ног до головы буржуа и который сыграл бы видную роль в истории нашей мысли или нашего искусства. Нужно удивляться прозорливости Белинского, который, тем не менее, отводил буржуазии большую роль в будущем. Так он говорит: „Противная вещь буржуазия, но не нужно думать, что буржуазия не нужна. Наоборот, крайне нужна она нам: она может создать новую почву для социального развития и культуры“. Это свидетельствует о замечательном уме Белинского.

Но, так сказать, замбуржуазией в России в отношении культурном оказалась мелко-буржуазная интеллигенция. Я не хочу сказать, чтобы подобный слой не играл никакой роли в Западной Европе. Наоборот, роль его и там очень велика. Но у нас народническая интеллигенция выступила с известной независимостью от классовой именно в силу известной слабости буржуазии. В состав интеллигенции новой формации, сменившей собою, начиная с конца 50-тых годов, интеллигенцию дворянскую, во главе народа, вошли разночинцы. Тут были дети духовных лиц, фельдшеро́в, мелких чиновников, которые жаждали знания. Правительство, считаясь с непобедимой потребностью государства и хозяйства в образованных людях, вынуждено было открывать перед ними двери школ и сознать, что старого служилого класса недостаточно. Пришлось вызвать нового студента так сказать из недр народных или из слоев, близких к этим недрам. Он пришел оттуда с необыкновенно яркой физиономией, и самым главным представителем его был именно Виссарион Григорьевич Белинский. Типичный интеллигент-разночинец середины XIX века — он был, в сущности говоря, почти пролетарий. Он был нищ, ни с кем и ни с чем не связан. С самых детских годов своих он видел вокруг себя угнетение всего окружающего. Такие люди, как только начинали мыслить, мыслили оппозиционно или даже революционно. Конечно, разночинцы были верхушками масс. Но все же они прина-

длежали к этим массам, и знание преломлялось у них враждебно к верхам дворянским и бюрократическим.

Символично, что этот полуобразованный Белинский, которого выгнали из университета за неспособность, обогнал потом своих гениальных собратьев из дворянского класса.

Начиная с 40-х годов, он каждую молекулу впитанного им знания превращает в оружие борьбы за самосознание народных масс.

Но тут уже нужно сказать, что такой оппозиционер из народа фатально попадает в невыносимое положение.

— Для чего ты вызван из народа? — может спросить его история, — тебя вызвали для того, чтобы служить самодержавию.

— Но я не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Я хочу разрушить эту тюрьму для себя и для народа.

— А есть ли у тебя силы для этого?

— Я критически мыслящая личность, моя сила в яркости моей идеи и страсти моей эмоции. Я выйду и буду кричать, и криком моего сердца я разбуджу кого-то сильного.

Кого же сильного мог желать разбудить разночинец? Конечно, такая сила могла быть только народной массой и в первую голову — крестьянством. Позднее разночинцы и перешли к работе в деревне, Белинский же уже с самого начала не доверял этой возможности вызвать в ускоренном порядке пробуждение народных масс. Он был одинок и сознавал свое одиночество. Он говорил: „Мы сделали зрячими. История открыла нам глаза. Не лучше ли было бы, чтобы они закрылись навсегда?“. Он познал всю скверну мира, для него выявилась пропасть, которая звала его к переустройству жизни. Он слышал призыв прекратить страдания народа, из которого вышел, и не видел к этому решительно никаких путей. Это одиночество сказывается не только в его внутреннем, но и в его внешнем существовании. Белинский был больше всех одинок. Его мучила эта татарская цензура, постоянная опасность непосредственного давления власти на его судьбу, что только случайно не обрушилось на голову Белинского (он преждевременно умер). Его терзала и бедность, преследовавшая его до конца жизни.

Личность Белинского исторически состоит приблизительно из таких элементов:

1) Резкая критика существующего.

2) Поиски опоры для того, чтобы низвергнуть его гнет.

3) Социалистический идеал, который навязывается сам собою как наилучшее разрешение вопроса.

4) Известная национальная гордость.

Разночинцам присуще было сознание, что они впервые строят настоящую культуру своего народа и что они должны сделать это дело независимо от правительства и от растущего капитала.

Люди передовые, как Белинский, полагали, что Россия вступит последней в семью демократий, но она сократит все этапы и отольется в новейшие формы человеческой общественности раньше, чем Запад.

То, что Белинский отдался почти целиком литературной критике, непосредственно связано с огромным значением, какое изящная литература играла тогда в России, и, конечно, это не потому, что то поколение было как-либо особенно даровито в художественном отношении. Выдающаяся роль литературы объясняется тем, что это была единственная арена деятельности, где можно было говорить сколько-нибудь свободно. Художественное творчество во всех странах, в особенности в Германии, явилось, таким же образом, языком проснувшихся новых классов. В такую пору искусство всегда стремится к идее, сочетанию эстетических задач с вопросами мысли. Все общественные нужды устремляются через этот клапан. Реалистическая художественная литература России получает свое полное объяснение из этих соображений. Русская литература чувствовала, несмотря на нажим самодержавия, под собою народную почву. Люди мучились, падали, умирали, но оставались реалистами, они не хотели звать к себе утешительницу-фантазию, они оставались выразителями определенного протеста. В этом особенность физиономии русской литературы того времени. Реализм, необычайная трезвость, яркий смех, карриатура и внутренняя мука доминируют в этой литературе.

Белинский был пророком и предтечей русской интеллигенции. Мне предстоит сказать теперь, в кратких словах, как старался он разрешить упомянутые выше, стоявшие перед ним во весь рост проблемы.

В трудах Белинского замечается, во-первых, непосредственная критика существующего, во-вторых, готовность на всякие жертвы для ее исправления.

Если Белинский был бы только романтиком, интеллигентом, поставленным в железные тиски, он решил бы вопрос теоретично. Ведь один раз, опираясь на философию Гегеля, он заявил, что готов примириться с действительностью, облобызать ее и прижать ее к своей груди. Но каждый нерв кричал в нем, что этого нельзя, что он будет всю жизнь каяться в этом, что действительность отнюдь не разумна. Он признал ее разумной на мгновенье, ²овсе не

потому, что хотел помириться, что мужество покинуло его. Нет, никогда, быть может, не был он так морально прекрасен, чем когда писал свое „Бородино“. Он внутренне сознавал свою правоту, ибо он утверждал, что всякая критика, всякий идеал, который не поддерживает реальная сила, бесплодны.

Нет, он не был фантастом. Он был настолько борцом, что ему нужны были реальные результаты в этом мире. Он был поклонником силы, энергии и победы. Все это в нем было настолько живо, что он согласился было признать право силы, чтобы только не казаться поклонником бессильного права. Эти металлические элементы в сердцах и душах лучших разночинцев существовали вообще, иначе не могла бы выделиться грандиозная фигура Чернышевского, которую почтительно приветствовал сам Маркс. Будь Белинский несколько менее умен, несколько менее страстен, он не договорился бы до этих чудовищных вещей, но тут сказалась именно сила его ума.

Конечно, скоро ужас перед кумиром, который он выдвинул, сразил Белинского и заставил искать его другого исхода. Он вновь возвращается к острой критике, но уже на новой стадии развития — он уже понимает, что критическая личность не может удовлетвориться пропагандой, он заявляет, что любит человечество по-маратовски, он увлекается Робеспьером. Помните знаменитый разговор его с чиновником у Грановского, в изложении Герцена? Чиновник заговорил об образованных странах, где людей критикующих сажают в тюрьму. Тогда Белинский, весь трепеща, возразил: „А в еще более образованных странах защитников старины посылают на гильотину“. Все, вплоть до Герцена, были тогда испуганы. Да, это был критик, готовый пустить в ход критику оружия, гильотину, как инструмент критики. Он любил человечество той активной любовью, которая в определенные эпохи приводит вождей народных масс к террористическим методам борьбы. Террорист жил в Белинском, но рядом с этим Белинского одолевает тоска. Он чувствует, что еще не пришло время, он гадает о том, когда оно придет, и в этих поисках занимает совершенно оригинальное положение. Он говорит: „Я молюсь на народ, но ждать, чтобы крестьянство само устроило свою жизнь, это то же, что ждать самоорганизации волков в лесу“. Иногда он говорит о народе с настоящей злобой. Масса инертна. Она сложиться в активную организацию не может. Но ждать другого? Чего?

И он останавливается на реформах Петра. Он прославляет меньшинство, во главе которого стоял Петр и который в мучительном насильственном процессе толкнул вперед инертную массу. Дело

было, конечно, не в том, чтобы благословлять самый Петровский строй. Но, по Белинскому, надо принять его как факт, исходить из него. Отсюда мечта Белинского, вокруг которой он всегда ходит. Меньшинство монтаньяров, меньшинство якобинцев, ясно понимающих интересы народа и защищающих их всеми средствами. Ему мечтается именно такое меньшинство, опирающееся на глухое сочувствие народа. Ему хочется, чтобы оно шло дальше путями Петра. Однако Белинский видел рыхлость окружающей его интеллигентности, знал, что дворянство даже в лучших своих представителях отжило свое время, и готов был приветствовать даже прогресс буржуазии, как подготавливающий почву для культуры. Перспектива у Белинского была довольно правильная, почти марксистская. Да и вообще от сугубого идеализма, с которого он начал, его всегда и все более тянуло к материализму. Весь последний период его жизни протекал под знаком Фейербаха. Он совсем ушел от Гегеля. Такова была эволюция Белинского.

Так как Белинский больше высказался как художественный ценитель, чем как публицист, то приходится сказать два слова о его основных тенденциях в этой области.

Белинский, как сын своей эпохи, обладает большим художественным инстинктом. Он звал русских людей именно к работе в области искусства и старался подготовить их к правильному пониманию художественных задач. Белинский часто колеблется в своих суждениях, но никогда не останавливается на ошибках, сам исправляет их. С этой точки зрения, не останавливаясь на промежуточных этапах, нужно сказать, что Белинский никогда не потворствовал тенденциозному искусству, т.е. мнимо художественному выражению голых мыслей. Искусство для Белинского есть особая область, для которой есть свои законы, ничего общего не имеющие с публицистикой. Белинский был во многом настоящий эстет, но все же он знал, что искусство есть выражение идеи. Он учил, что идеи эти должны проникать сверху до низу произведение искусства и давать ему цельность. Народный художник для него — глашатай народных мыслей, нужд и эмоций. Подлинная литература есть, в сущности, творчество народа в честь своих избранников. Искусство для Белинского есть величайшее служение жизни, но служение на особом языке. Отсюда напряженнейшая любовь Белинского к правде, к реализму и неменьшая любовь к чистой художественности, к убедительности. Вы помните знаменитое место из письма к Гоголю, где Белинский пишет: „Мистической экзальтации у нашего мужика нет, у него слишком много смысла и положительного в уе.“

На этом зиждутся надежды Белинского на будущую судьбу

мужика. Ему кажется, что народ атеистичен, что он против того, чтобы его кормили фантазиями.

„Он прозаичен,— пишет Белинский,—ясен и страшно требователен к жизни“. Белинский ждет, что он пойдет по пути осуществления своих идеалов, а не мечтаний о потустороннем мире.

Мы знаем свидетельства Кавелина о том, что Белинский первый говорил, что Россия по-своему скорей, лучше и мощнее разрешит вопрос о взаимоотношении труда и капитала, чем Западная Европа. В этом была своеобразная национальная гордость Белинского. Вы помните, что Добролюбов в своем отзыве о Белинском говорит: „Что бы ни случилось с русской литературой, Белинский будет ее гордостью, ее славой и украшением“.

Плеханов не удовлетворился этим, он прибавляет: „К этому необходимо прибавить, что Белинский оплодотворил общественную мысль и открыл новые горизонты чутьем гениального социолога“. Добролюбов хочет сказать: Белинский всегда останется для нас дорогим памятником лучших начинаний нашей молодости. А Плеханов утверждает: он еще не закончен, Белинский. Это какой-то угол, который раскрывается дальше, и вся русская общественность есть продолжение проблемы поставленной Белинским. И мы скажем после Плеханова, что русская общественность разрешает, начиная с Октябрьской Революции, практически ту же проблему. Маркс, ставя ее, в свою очередь говорил: „Только идеал, опирающийся на массу, становится силой“.

В чем заключалась причина ликования 90-х годов? В том, что гора пришла, наконец, к Магомету. Социалистическая мысль обрела опору в рабочем классе. Рабочий класс—руководящий маяк социалистической мысли. Когда наши оппортунисты утверждали, что рабочий класс сам найдет свой путь, Ленин опровергал это и требовал от передовой интеллигенции, от „революционных микробов“, облегчить искания рабочего класса, прививая им высшие формы рабочего сознания, открытые на Западе. Мечта Белинского об опирающемся на массы, остро мыслящем активном дисциплинированном меньшинстве осуществлена Российской Коммунистической Партией. В этом нашли мы реальное разрешение проблемы Белинского. Постепенно, начиная со времени Белинского, все шире вливается в намеченное его проблемой русло бóльшая и бóльшая ширь народной силы. Мы находимся посредине половодья этой реки, но у истоков ее все еще видна колоссальная фигура Белинского с глазами, вперенными в туман грядущего. Он стоит там, величественный пророк с орлиными очами, перст ^в апостол нашего народного сознания.

ст

А. Луначарский.

От идеализма к материализму.

I.

Кажется, Владимиру Соловьеву принадлежит афоризм: „Человек происходит от обезьяны, а потому положим живот свой за ближнего своего“.

Автор этого иронического изречения был, повидимому, убежден, что на дарвиновской теории ни морали, ни жажды жертвы и вообще никаких благородных побуждений не построить.

Не буду повторять не раз приводившихся доказательств в пользу того, что эволюционная теория никогда не забывала нравственного чувства среди других факторов, участвующих в борьбе за существование. В данный момент в силлогизме В. Соловьева меня интересует окрашивающий его утилитарный оттенок.

Обыкновенно, жрецы „чистой мысли“ не любят путать вопросы практической деятельности с философией. Философская истина, добытая априорным путем и витающая на тех высотах, где пребывает Абсолют, в своей ценности не зависит от того, вытекает ли из нее обязанность жертвовать собою для ближнего, которого, скажем, эксплуатирует другой, более удачливый ближний, или, наоборот, последователь данного философского учения может с невозмутимой душой принять это явление как известную стадию в процессе самосознания Абсолютного Разума, и на этом основании сидеть сложа руки.

Вероятно, Владимиру Соловьеву казался более правильным другой силлогизм: „Бог существует, поэтому умрем за ближнего своего“.

„Бог существует“ или „Человек происходит от обезьяны“ — два утверждения, исключаящие друг друга. Истинно то из них, которое оправдает себя нравственной деятельностью своих последователей, подобно прославленному кольцу Натана Мудрого.

Конечно, Владимир Соловьев так не рассуждал и для него существование бога утверждалось его собственным сознанием, независимо от количества верующих, готовых к жертве. Думаю, что и из великих немецких идеалистов ни один не пошел бы на такую

проверку своей системы. Но нет никакого сомнения в том, что так подходил к философии Белинский.

II.

Если одинакового обаяния исполнены периоды его метафизических увлечений и эпоха поворота к материализму, то именно потому, что он никогда не изменял себе в основном требовании — искать в человеческой мысли обоснования нравственного долга, который для него заключался в „положении живота за ближнего своего“.

В этом его сродство с основными тенденциями нашего времени. Он был инстинктивно близок материалистическому толкованию „явлений духа“ даже в те времена, когда следовал за немецкими идеалистами, потому что всегда, сознательно или бессознательно, ставил себе вопрос: выражением и стимулом каких актуальных общественных сил является та или другая система. Объективные условия его времени, та стадия развития философской мысли, которую он застал, не позволяли ему установить научную связь между материальной основой и философской надстройкой, но он инстинктивно чувствовал эту связь, и вся его литературная деятельность, поскольку он касался философских вопросов, была прогрессивным движением по пути раскрытия этой связи, постоянным приближением к ней.

Поэтому он с таким увлечением набрасывался на то или иное учение, и так решительно, часто с чувством страстной ненависти, отбрасывал его, когда путь его собственного общественного развития с очевидностью раскрывал перед ним противоречие между методом действий, которого требовали его разум и сердце, и философской системой, не обосновывавшей этого метода.

Поэтому как-то клочковато воспринимал он построения германских мыслителей, произвольно выбирая из них мысли, соответствовавшие его общественному настроению, мало заботясь об изучении каждого из них в целом, не проникая глубоко в систему, как в законченный гармонический круг идей. Он знакомился с нужными ему мыслями, а не с системами. Последние не имели для него самодовлеющей ценности. Белинский не был спутником, — он был планетой, движущейся по своей собственной орбите и вовлекающей в орбиту своего движения в качестве спутников то, что встречалось ему по пути. Оригинальный ум и великое сердце не позволяли ему никогда быть истолкователем чужих мыслей. Созерцательное начало приобретало власть над ним, поскольку оно служило могучему

волевому, активистскому началу—этой истинной стихии его души. Его путь лежал вне философии, как таковой. Он имел свою задачу, которая определялась свойствами его боевой природы. Рядом с ним не могло быть другого центра. В кругу людей и идей он всегда становился центральной силой, преобразившей все кругом, производившей отбор—во имя своих собственных стремлений. Он не мог стать спутником даже самого Гегеля, и идеи этого последнего могли быть только этапом на пути, по которому шел Белинский к своей цели.

Поэтому путь от идеализма к материализму, пройденный Белинским, не следует понимать как путь чисто философский. Это был суд, произведенный им над теориями перед лицом долга и практики. Это были непрерывные поиски совершенного теоретического обоснования его борьбы за освобождение человечества. Важно не то, как передал Белинский Фихте или Гегеля. Важно то, что ни тот ни другой не выдержали испытания и потерпели крушение перед судом революционных стремлений Белинского. Он отверг идеалистическую философию не потому, что она была плоха как воплощение усилий гениальной мысли, не потому, что в ней не было глубины, красоты и поэзии, а потому, что он постиг чуткой душой писателя-общественника, что идеалистической философии не по пути с прогрессивными силами века, что ее союзники в прошлом, в силах косных и задерживающих естественное развитие исторических событий.

Изучать Белинского как философа, вне его основных стремлений.—бесполезная задача. Белинский показал, как следует пользоваться философией в качестве оружия, и недаром философы, отстаивающие самодовлеющую ценность философии, не пропускающие в ее зачарованное царство свежего дыхания жизни, так враждебно относятся к великому критику. Он погубил „философию для философии“ и научил русское общество ставить ее в связь со всем сложным процессом исторического развития.

III.

Мы привыкли понимать идеализм и материализм как два основных течения философской мысли, как два диаметрально противоположных взгляда на отношения между бытием и сознанием.

Плеханов дал исчерпывающее определение обоим течениям. На материалистической почве мыслитель стоит в том случае, когда он берет за точку отправления объект или, иначе, бытие или, еще иначе, природу. При этом ему приходится объяснить, каким

образом к объекту прибавляется субъект, к бытию — сознание, к природе — дух. Различия в этом объяснении обуславливают разнообразие отдельных систем, которые, несмотря на это разнообразие, остаются материалистическими.

К идеалистическим относятся все те философские системы, в которых точкой исхода является субъект, сознание, дух. При этом разнообразии этих систем зависит от того, каким образом философ-идеалист прибавляет к субъекту объект, к сознанию — бытие, к духу — природу.

Для последовательного мыслителя не может быть среднего пути. Центром вселенной, источником ее объективного бытия для идеалиста всегда является человеческое мышление. Положение всех настоящих идеалистов от элейской школы до Берклея заключается в следующей формуле: „Всякое познание посредством чувства и опыта есть одна видимость, и истина находится только в идеях чистого рассудка и разума“.

В параллель этому кантовскому определению идеализма, Л. И. Аксельрод („Двойственная истина в современной немецкой философии“) дает следующее определение противоположному направлению мысли: „Положение всех настоящих материалистов от Демокрита до школы Маркса-Энгельса таково: всякое познание о вещах из чистого рассудка или чистого разума есть одна видимость, и истина заключается только в опыте, т.-е. в познании свойств действительных материальных предметов“.

В московский период своей деятельности Белинский стоит на точке зрения идеализма. Конечно, „дух“, „субъект“, „сознание“ — его отправная точка, а не бытие, не природа, не объект. Действительность — только отражение „вечной идеи“, природа и история — только ключ, открывающий дверь, ведущую в ее царство. Под влиянием Фихте, он убедился, что „идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота“. Бакунин, говорит он, „первый уничтожил в моем понятии цену опыта и действительности, втащив меня в фихтианскую отвлеченность“. Вне мысли все призрак, мечта. „Одна мысль существенна и реальна. Что важнее: идея или явление, душа или тело? Идея ли есть результат явления или явление есть результат идеи? Без сомнения, явление есть результат идеи“.

Из двух „способов исследования истины: *à priori* и *à posteriori*, т.-е. из чистого разума и из опыта“, Белинский решительно становится на сторону первого. Если факты опровергают априорное убеждение его, значит ложны факты, а не убеждение.

IV.

И то же преклонение перед „духом“ и перед „субъектом“ не покидает Белинского, когда он, расставшись с Фихте, увлекся философией Гегеля. В письме к Бакунину (от 14 августа 1838 г.) он сообщает, что он находится в „созерцании бесконечного“ и глубоко понимает, „что всякий прав и никто не виноват, что нет ложных ошибочных мнений, а есть моменты духа“. В статье о Менцеле он снова подтверждает, что „в мире нет ненужных и вредных явлений, все направляется не человеком, а Высшим Разумом“.

Белинский в упоении. Из трех систем: Шеллинга, Фихте и Гегеля, последовательно владевших его умом, он восторженно переносит в свои статьи весь арсенал идеалистической философии, поет гимны Вечной идее, Абсолютному субъекту, Абсолютному Разуму, априорным идеям, спекулятивному методу, отрицает действительность, опыт и т. д. И стоит пробежать статьи петербургского периода, чтобы сразу увидеть, как решительно переходит он от метафизического мирозерцания к научно-позитивному, от спекулятивного метода—к эмпирическому, от веры в существование врожденных идей—к объективному исследованию мира явлений. Он, заявлявший, что „умозрение всегда основывается на законах необходимости, а эмпиризм—на условных явлениях“ (в статье о нравственной философии Дроздова)— он утверждает теперь, что „безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и ненадежный“ („Взгляд на русскую литературу 1846 года“). Разум, произвольно создающий истины не на основании фактов, вызывает насмешки с его стороны, и он требует: „вместо того, чтобы думать о невозможном и смеяться всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменную действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями“. — Белинский все определеннее приходит к убеждению, что единственный источник наших знаний — мир явлений, исследуемый эмпирическим путем.

Для „чистого“ философа эти скачки мысли были бы свидетельством отсутствия глубины, склонности к эклектизму, признаком природы не органической и не цельной. В Белинском, напротив того, они — свидетельство изумительной цельности и последовательности его природы.

Если он легко отрекался от вчерашней философской святыни, то он ни разу не изменил себе в тех требованиях, которые предъявлял к каждой системе. Для того, чтобы понять Белинского

важно ставить вопрос не о том, которому из великих идеалистов следовал он в тот или другой период своей жизни.—Важны три вопроса: чего искал он в данной системе? как подходил к ней? почему отрекался?

Чего искал? Искал всегда, сначала смутно, а потом все определеннее, разрешения противоречий, которые представляла ему „гнусная расейская действительность“. Знаменитый дифирамб „вечной идее“ в „Литературных мечтаниях“ — разве это не вопль человека, желающего вырваться из тисков, в которые заключили его картины человеческого страдания — „слеза ребенка“, „роды и поколения, проходящие на земле“, „смерть истребляющая жизнь“ и т. д. Гармония и примирение, которые давала ему шеллинговская философия, не были тем примирением, которое позволяло иенским романтикам действительно радостно принимать мир и все явления жизни.

Как подходил? Не так, как они. Было что-то нервное, болезненное в этом подходе. Было стремление утешить себя, найти выход там, где его не было, притянуть за волосы факты к системе. Нужно заглянуть сквозь строки „Литературных мечтаний“ в душу автору, чтобы понять, что это не было погружение в бездонную глубину гениальной философско-поэтической системы. Это был набег ума, потрясенного действительностью, только начавшего свои первые поиски к разрешению мучительных вопросов.

Почему отрекся? Потому что „дыхание“ вечной идеи“, как ни старался не мог усмотреть во всем, во всех явлениях, потому что невозможно было писателю, пылавшему пламенным пафосом гражданина, всерьез и надолго закрыть глаза на явления, диссонансом врывающиеся в „гармонию, царствующую в вечном брожении“. В тех же „Литературных мечтаниях“ находится знаменитый призыв: „Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением...“. И достаточно сравнить непрочный пафос гимна „вечной идее“ и эти, пропитанные мучительной болью строки („Если ты рожден сильным земли, гни свой хребет, ползи змеей между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами...“), чтобы понять, из какого источника, вытекал интерес к философии, чего он искал в ней, чего не находил, совершая свои набег, и почему с горечью и проклятием уходил оттуда.

V.

Перейдем к Фихте. Здесь еще более ясные очертания принимает истинная сущность философских исканий Белинского, которая смутно чувствовалась в его шеллингианский период. Самое заявле

ние это: „уцепился за фиктианский взгляд с энергией, с фанатизмом“ — не тон философа, не подход мудрого мыслителя, витающего в абстракциях. Это — почти крик отчаяния, это — утопающий, хватающийся за соломинку. И подобно тому, как в период шеллингианской „гармонии“ он не переставал думать о человеческом страдании, об оскорблении человеческого достоинства, о подлости, разлитой кругом, так и фиктианство было только временным убежищем, где Белинский думал обрести постоянный душевный покой.

Заключительные строки статьи, наиболее ярко отразившей фиктианские увлечения Белинского (статьи о нравственной философии Дроздова), ясно говорят, что стремление к абсолютному и вера в „идеальную жизнь“ не могли усыпить мысли о „так называемой действительной жизни“, которая есть якобы „отрицание, пустота“ и т. п. Объект, этот призрак, рожденный субъектом, приобретает плоть и кровь, а субъект постепенно теряет свои реальные черты и превращается в бесплотный призрак: „Не напрасно все миры связаны между собою электрической цепью любви и сочувствия и все живущее, все дышащее составляет звено в этой бесконечной цепи, не напрасно человек и рождается, и умирает, и веселится, и скорбит, и горячо любит милое, и горько рыдает, лишаясь его, и не переживает своих склонностей, и, стоя на праге вечности, вспоминает об них еще живее, и рыдает об них еще горше, и сладки ему слезы его; не напрасно человек стремится к какому-то блаженству и ищет его всю жизнь, ищет его и в шумных наслаждениях юности, и в безумном упоении пиров, и в ужасах кровавых битв, и в тревогах опасностей, и в обольщениях славы, и в очарованиях власти... Вечность не мечта, не мечта и жизнь, которая служит к ней ступенью!“.

Итак, жизнь уже — не призрак, не пустота, не мечта. Это — начало исцеления от фиктианского идеализма, и внимательный читатель мог догадаться, что жизнь, эта ступень к вечности, вскоре окажется такой важной и сложной ступенью, что перед ней померкнет свет самой вечности, и на ней остановится автор.

VI.

Нужно ли говорить о гегелианском периоде, отмеченном этими же, уже знакомыми нам переживаниями Белинского, с тем только различием, что здесь поставленные нами вопросы: чего искал? как подходил? и почему отрекался? получают наиболее полный и отчетливый ответ. Известна та порывистость, с которой он бросился в объятия гегелианской философии („Новый мир нам открылся“ и

т. д.) и те мучительные сомнения, которые овладели им после короткого периода спокойствия, нравственные страдания, пережитые им после примирения с действительностью, о которых рассказывают в своих воспоминаниях Панаев и Герцен.

Плеханов произвел анализ известного письма к Станкевичу, в котором он пишет о своем увлечении Гегелем. Этот анализ подтверждает лишний раз, что Белинский искал в каждой философской системе ответа на стоявшие перед русской мыслью проблемы общечеловечности.

„Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила, — нет, не описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова — это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности — и кончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде..“

„Вопросы, — говорит по поводу этой тирады Плеханов, — на которые должна была ответить Белинскому наука, были теми же самыми вопросами, за разрешением которых он прежде обращался к „политике“. В них нет никакого „отвлечения“; это конкретные вопросы общественного развития: чем объясняется „падение царств“? законны ли завоевания? на чем основывается владычество штыка и меча? наконец, — и это самый важный и самый глубокий вопрос, — неужели история человечества есть царство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тогдашний социализм умели давать лишь отвлеченные ответы на эти конкретные вопросы; они осуждали известные, несимпатичные исторические события, напр., завоевание одного народа другим, но не объясняли их. Социализм еще не вышел тогда из своей утопической фазы. Наоборот, философия Гегеля дорожила только конкретными ответами на конкретные исторические вопросы. И она уже отчасти давала такие ответы, опираясь на историю“. (П л е х а н о в. „Виссарион Григорьевич Белинский“).

Действительность стала идолом Белинского. Он твердил это слово, „вставая и ложась спать“. „Дикость его природы“ стала исчезать. Ему казалось, что покой снизошел в его душу. Он ожесточен против Шиллера, которого ранние трагедии „наложили на него дикую вражду с общественным порядком“. Дело сознющего разума, пишет он, сознавать действительность, а не творить ее. Словом, набег на гегелевскую философию был совершен Белинским так же

стремительно, с тем же отчаянием и с той же жаждой спасения от действительности, как и на предшествующие системы. Если было какое-нибудь различие, то разве только в том, что на этот раз Белинский пережил новую встречу с немецкой мыслью более тревожно и трагично. Исследователям предстоит заманчивая работа — установить все обстоятельства, при которых писались статьи о бородинской годовщине и Менцеле. Все, что известно об этом, свидетельствует, что Белинский находился в это время в лихорадочном состоянии, было что-то напоминающее отчаянную попытку человека, для которого нет выхода и который где-то в глубине души сам не верит в возможность спасения.

VII.

Гегелевская философия не помогла ему разрешить мучившие его вопросы об окружающей его действительности, как не помогли и системы других идеалистов. Он понял, что московский гегелианский кружок был, в сущности, „необитаемым островом“, где он и его друзья тщетно искали убежища. Он перенес центр внимания от сознания к бытию и понял, что основная причина его сомнений и страданий заключается в формах общественной жизни, в которых ему пришлось жить: „В нас отразился один из самых тяжелых моментов общества, силою отторгнутого от своей непосредственности и принужденного идти тернистым путем к приобретению разумной непосредственности, к очеловечению“, и он почувствовал непримиримую вражду к „москвдушию“, т. е. к идеалистическому просто-душию.

Действительность, еще недавно бывшая его идолом, стала теперь предметом его ненависти: „Все субстанциальное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло“. В письме от 13 июня 1840 года он пишет: „Меня убило это зрелище общества, в котором властвуют и играют роль подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове... Отчего же европеец в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней выход из самого страдания?“. В письме от 4 октября 1840 года: „Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с действительностью!“.

Новый путь Белинского — путь изучения действительности и борьба с ее отрицательными явлениями. В сентябре 1841 года он уже „в новой крайности“: идея социализма стала для него „альфой и омегой веры и знания“, „поглотила историю и религию, и фило-

софию", ею объясняет он теперь свою жизнь и жизнь всех, с кем встречался на пути жизни.

Утопический социализм не был разрешением вопросов, мучивших всю жизнь Белинского, а то учение, которому предстояло перевернуть сознание европейского общества, еще только намечалось, и появление „Коммунистического манифеста“ совпало со смертью великого критика.

Переход Белинского от идеализма к материализму не был процессом развития философской мысли. Это был приговор, произнесенный великим общественником целой эпохе в истории человеческого сознания. Мы больше уделяем внимания философским увлечениям Белинского, чем его разочарованиям. А между тем на эту сторону его деятельности должно быть устремлено внимание исследователей. Здесь все богатство его души, в „великих отречениях“ неисчерпаемые сокровища плодотворных мыслей, столь поучительных для нашего времени, еще не избывшего приливов идеализма. Здесь голос Белинского звучит нам предостерегающим сигналом и великим заветом при разрешении вставших перед нами самими исторических задач. Здесь он — предшественник того философского мирозерцания, под знаменем которого разворачивается коммунистическая революция. В моменты разочарования оттачивал он те смертоносные стрелы против идеализма, которыми мы еще долго сможем пользоваться в борьбе против сил, пытающихся остановить ход истории. И тем ценнее его мысли, что они исходили из чуткой совести, искавшей ответа в том храме, в котором не оказалось ничего, кроме холодной пустоты.

П. С. Коган.

Отъ Дни. П. Манава

№ 71

1874

Москва, 1852 год, Мая 21 дня,

Победный братъ!

Константианъ Григорьевичъ!

Прощай еще на годъ! — Какое право тебе?
Да, прощай! и не тужи: кончено дело
и мнѣ съ тобой не видя тебя, отъ конченого
до это думай! Думай не все, еще думай,
а какъ судьба приключитъ. Это старинный
дѣлъ въ этомъ кѣсѣ, Григорьевой сестры.
Она поживаетъ медвѣдъ какъ шаманъ, и,
подобно символу, мучилу боленбургъ Бруноу
Мадаранку, вѣнчикъ за шевелу королю еврею
за дукъ духа прѣвъ! Не и тужи, помиривъ
еще годъ: буду трудиться до упаду, буду прѣвъ
дѣлъ Бога силъ коню, но делу я усталъ дѣлать
по арвану, буду доставать и кончить любовь

Письмо Белянского к брату Константину

تحت
۱ ۲ ۳

Проблема искусства в критике Белинского.

Можно ли говорить о Белинском с Лефом в руках? Левый фронт искусства, как заразы губительной, боится „маститости“ и „традиции Белинского“. И все-таки можно говорить о Белинском с Лефом в руках. Более того: можно говорить о Лефе с Белинским в руках.

Вся огромная область искусства взбудоражена теперь сверху до низу. Всё поставлено „дыбом“. При перемещении, а может быть, и при падении многие приняли весьма рискованные позы. Идет спешная перестройка, в темпе нашей бурной эпохи. Со сцены конструктивистов, не умолкая, раздается стук плотничьих топоров: не искусство творится там, а делаются „вещи“. Искусство — „метод строения жизни“, оно лишь терпится—„впредь до полного растворения в жизни“. Новые „могильщики“ ставят себе целью взорвать искусство изнутри, „бороться внутри искусства его же средствами за гибель его“. Впереди решительное упразднение автономии искусства, его смерть. Проблема искусства получила в наши дни колючую заостренность. Это — хорошо, полезно. Как хлыст и шпоры отяжелевшему коню.

За шумом революционно-художественной ломки, пожалуй, не расслышишь даже „неистового“ голоса Белинского. И это будет жалко. Здесь он не чужой. Пусть всё поставлено „дыбом“: Белинского этим не испугаешь. В „неистовстве“ он не уступит любому из нас.

Еще в 1842 г. Белинский писал, что его время—„век перехода, век, которого одна нога уже переступила за порог неведомого будущего, а другая осталась на стороне отжившего прошедшего“. Литература стояла тогда на распутьи, на трудном переходе от романтики к реализму. Пушкин был еще жив, когда критик набрасывал горячие строки своих „Литературных мечтаний“ (1834). А Гоголь начал вместе с Белинским: критик и автор „Мертвых Душ“ растут параллельно. Из мглистого яйца вылупливается художественный реализм; мужает, запасается силами, чтобы под знаменем литературного натурализма отстаивать свои права на эстетическое и социальное значение. В 30—40-х годах шла упорная борьба

за новые формы литературы, совершалась ломка, не безразличная для общих судеб искусства.

С первых же своих шагов Белинский страстно ринулся в бой и сразу выскакивает на передовую линию огня, самую опасную и самую ответственную. Ежегодно устраивал он генеральные смотры литературе и властным голосом человека, которого уполномочила на то сама история, произносил свои приговоры над старыми авторитетами. Сколько кумиров было повержено им во прах! Не он ли с молодым задором громко заявлял, что у нас нет литературы? Штурмом шел он на твердыни искусства; срывал незаслуженные венки с одних голов и увенчивал других, почти безошибочно угадывая новые таланты. Обуянный страстью разрушения, самым отрицанием он уже утверждал новые ценности искусства.

В суждениях своих Белинский руководился философскими и эстетическими теориями. Но еще чаще художественным и социальным инстинктом. „Теории, — справедливо заметил еще Ап. Григорьев, — увлекали его, как и многих, но в нем было всегда нечто высшее теорий, чего нет во многих“. От природы получил Белинский помазание на подвиг критика, и был „смел и дерзок“, когда шла речь об искусстве, об его непосредственном понимании. „Моя смелость и дерзость в этом отношении, — писал он в 1838 г., — простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел“. Враг нормативной эстетики, он рано стал сомневаться в том, что „законы изящного определены у нас с математической точностью“ и существуют как некий „свод законов изящного“, „уложение искусства“. По его мнению, „законы“ эти выводятся из фактов литературы; „с получением новых фактов“ „изменяются и законы изящного“. Сам Белинский так и поступал. Ему хорошо известны „современные понятия о творчестве“. Но важнее всего само творчество великих художников. Свою эстетическую идеологию и свои литературные оценки строит он по творчеству Шекспира и Гёте, Пушкина и Гоголя.

Белинский был человеком больших горизонтов. Каждое частное явление мыслил он в аспекте великого целого. Писатель — звено в цепи литературного движения; русская литература — часть литературы всемирной; литература — составная часть искусства; искусство вместе с философией и наукой входит в общий творческий процесс жизни. Как натура реальная и „социабельная“, непосредственным чувством ощущает Белинский биение жизни, а философской мыслью охватывает жизнь как единство в многообразии. Он был прирожденным и убежденным монистом. „Без всякого сомнения, — рассуждал он („Взгляд на русскую литературу 1847 года“), — жизнь разде-

ляется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна". Белинский не затруднится сказать (в статьях о Пушкине), что жизнь „всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных проявлений жизни". Искусство, в представлении нашего критика, обволакивается какой-то гигантской атмосферой жизни.

Тут мы подходим к важнейшей проблеме наших дней.

Быть или не быть искусству, как самодовлеющей сфере творчества? А если говорить скромнее, то каковы эстетические отношения искусства к действительности? Вопрос, который был формулирован Чернышевским в приведенных мною выражениях, и над которым Белинский думал в течение всех пятнадцати лет своей деятельности.

Искусство — автономно по своей изначальной сущности. Оно обладает особой природой, какой нет у других проявлений человеческого творчества. Поэты рождаются, а не делаются. „Способность творчества, — учил Белинский, — есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия". Критик не боялся употреблять эти сакраментальные слова. Ибо „творчество — не забава"; „если поэт решится на труд и подвиг творчества, значит, что его к этому движет, стремится какая-то могучая сила, какая-то непобедимая страсть".

Являясь „воспроизведением действительности", искусство дарит нас новым миром. И этот „повторенный, как бы вновь созданный мир" — не фикция, не извращение действительности, не одуряющий кошмар, а светлый мир художественных образов, которые обогащают наше бытие и нужны человеку для полноты его духовного существования.

Святотатственно прозвучали бы для Белинского слова (Б. Кушнера): „Вдохновение — пустая, вздорная сказка... Вдохновение условно и бесповоротно отменяется". Правда, Н. Ф. Чужак назвал это мнение „радикалистским перегибанием" палки. Но не понял бы Белинский и настойчивого требования лефистов говорить не о творчестве, а о „производстве", не о переживаниях, а о „производственных движениях", не о художнике, а о „психо-инженере, психоконструкторе", не о художественном произведении, а о „вещи". Не стал бы он радоваться, если бы лефистам действительно удалось окончательно „сдернуть покров тайны с ценностей искусства, оземлить и приземлить его, превратить творчество в работу, и

искусство — в ремесло, мастерство“. Об этом, как известно, думал еще Писарев.

Леф как-то обронил мысль, что искусство есть „своеобразная, построенная на использовании эмоции деятельность“. Вот этот тезис Белинский принял бы и в подтверждение стал бы ссылаться на самоопределение великих художников.

В наше время не редкость услышать категорический взгляд (Брик), что „нет поэтов и литераторов, — есть поэзия и литература“. Белинский восстал бы против подобного умаления прав творческой личности. „Ибо, — сказал бы он, — источник творческой деятельности поэта есть его дух, выражающийся в его личности, и первого объяснения духа и характера его произведений должно искать в его личности“. Из личности поэтов постигается творческий „пафос“ поэзии. „Социальная роль поэта, — возразили бы Белинскому, — не может быть понята из анализа его индивидуальных качеств и навыков“. Можно, сказал бы на это критик: необходимо раньше понять поэта в его индивидуальной личности, и тогда только станет возможным говорить о социальном значении его творчества.

Белинский никогда не сомневался, что искусству принадлежит высокая жизненная функция. Находясь под обаянием гегелевской эстетики, он утверждал, что поэт есть „орган общего и мирового“, и что истинная поэзия своим содержанием имеет „не вопросы дня, а вопросы веков, не интересы страны, а интересы мира, не участь партий, а судьбы человечества“. Поэзии, таким образом, ставятся мировые задачи. Эта ее „польза“ безгранично важна (как в начале шестидесятых годов будет доказывать это и Достоевский). Белинский ждал, что „истинно художественное произведение“ укрепит человека „на великодушную борьбу с невзгодами и бурями жизни“, следовательно, — сказали бы мы, — поможет человеку организовать волю к жизни. Мало того. В той же статье о Менцеле (1840) Белинский не запрещает поэту „отзывать песню на современные события; нет, это значило бы впасть в противоположную крайность“, а каждая крайность, — наставительно говорит он, — „есть нелепость, плод ограниченности ума и мелкости духа“. В сороковых годах Белинский еще проще и определеннее ставит вопрос о социальной роли литературы. Не для забавы ленивых сибаритов существует поэзия, — доказывал он, — не для тех, кто ищет в искусстве красивой лжи и желает, чтобы самые стоны страдания долетали до него „музыкальными звуками“.

„Литература есть народное самосознание“, заявлял Белинский уже в первые годы своей деятельности. В „Литературных мечтаниях“ рядом с торжественным хоралом на мотивы шеллинговой философии

(„Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой вечной идеи“ и т. д.) дается чисто социологический анализ общества в его отношении к просвещению и литературе. Творчество Гоголя, поэта действительности и главы „натуральной школы“, а также быстрое развитие беллетристики в русской литературе 30—40-х годов окончательно уяснили Белинскому общественный смысл поэзии. В наблюдении над живыми фактами литературы нашел он гибкий критерий художественности. Оказалось, что существуют разные степени художественности: от вечных творений высокого искусства, от „художественных“ созданий гения до произведений только „поэтических“, до беллетристики (Основьяненка, Жуковой, Зинаиды Р.) и даже до „фризовой“ литературы Комаровых и Алипановых. Одно эстетическое мерло может привести к догматизму, к нормативным оценкам. Коррективом служит социальный критерий. Из абсолютных приговоры становятся относительными: на своем месте, применительно к художественным потребностям данной социальной среды, всё имеет свою относительную цену. Сознательно применяя к литературе методы исторический и социологический (пусть в зародыше), Белинский пришел к широкой и единственно верной формуле, в которой „всем нашлось место“. Применительно к нашему времени он подал бы голос не за противоположение (или—или), а за равноправие (и—и); он сказал бы, что искусство может являться как „бытоотобразительство“ и как „агитвоздействие“, как „лирика“ и как „энергическая словообработка“, как „психологизм беллетристики“ и „как авантюрная изобразительная новелла“, как „чистое искусство“ и как „газетный фельетон“ и т. п. „Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна“, прибавил бы Белинский. Всему найдется место, но именно свое место на длинной скале художественности.

Так постулировал Белинский художественную и социальную стоимость искусства и литературы.

Ныне всячески стремятся сбросить искусство с его „самостийного пьедестала“; ждут не дождутся момента, „когда действительная жизнь, насыщенная искусством до отказа, извергнет за ненужностью искусство“. Но искусство — не поваренная соль, которая, насытив собою воду, без остатка растворяется в ней. Ближе определяется его сущность мыслью „Орфея“ о нераздельности и вместе о неслиянности искусства и жизни. Это — как раз одна из идей Белинского, одна из его „традиций“, прочно осевших в нашем эстетическом сознании.

Искусство, — не переставал твердить великий критик, — „прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выра-

жением духа и направления общества в известную эпоху". Меняются эпохи, меняется и искусство. Рядом с безнадежными речами „могильщиков“ в той же литературной группе раздается иногда, хотя и более робко, утешительное мнение, что левый футуризм в общей диалектике исторического процесса есть лишь антитеза, и что „на почве нового социального уклада — через одно, два поколения“ возродится „подлинное искусство“.

Да будет так!

П. Сакулин.

Белинский и театр.

У театра и его артистов, как у книги, своя судьба. Как бы ни смотреть на театр, все-таки необходимо установить одно его коренное свойство — его мимолетность. Не будем сейчас останавливаться на доказательствах того, что сценическое искусство — одно из сложнейших искусств и требует от своих художников необычайного напряжения творческих сил: если живописец, скульптор, кто угодно из художников берется за осуществление зародившихся в его душе образов в форме статуи или картины, то он в качестве материала своего произведения имеет глину, мрамор, холст, краски — все то, что вне его, что послушно его воле безусловно, как неодоушевленный объект ее проявлений. Актеру надо творить из себя самого: он сам, как человек, во всей полноте своих физических и духовных возможностей, свойств и переживаний является и художником и материалом, и скульптором и мрамором, и живописцем и красками. — Но эта трудность слияния в одно творца и творения, трудность, которая при своем преодолении дает в конечном результате высочайшие достижения, есть одновременно, по неизменным законам жизни, и подлинная причина той мимолетности, о которой я говорил. Актер сыграл сегодня — и, сойдя со сцены, он остается только воспоминанием. Картина и статуя сохраняют на века замысел и творчество их создателя. Живой материал актера, т.е. он сам в художественном претворении себя самим собою, беспощадно уничтожает свое создание в момент, когда он возвращает себе... самого себя. Судьба всего живого. Остается для будущего только отражение созданного на душе зрителя. Но и зритель — лишь живой, более или менее восприимчивый экран, также неспособный зафиксировать творение артиста. Как бы он ни был потрясен или захвачен актером, как глубоко ни было бы воспринятое им впечатление, он бессилен его не только воспроизвести, не только фиксировать в чемнибудь неумирающем, но и сохранить в себе самом надолго его отражение: оно бледнеет и вянет с каждым днем.

Безграничная благодарность театра принадлежит тем, кто найдет в себе силы не только отразить в своей душе образ, созданный актером, во всей его полноте и всесторонности, но своим

личным творчеством сумеет передать будущему то, что дал ему актер. Гений Белинского равен гению Мочалова по могучей силе впечатления. При чтении знаменитой статьи Виссариона Григорьевича перед вами вырастает Мочалов-Гамлет во весь свой гигантский рост. Он живой. Он играет перед каждым, кто читает эту дивную поэму его творчества, созданную Белинским с тою же силою, с тем же гением, с каким Мочалов творил из себя своего Гамлета.

Только творческая душа могла так передать творческое создание актера. Если бы каждая эпоха театра имела такого критика, много великих сценических моментов не умерло бы навеки для следующих за ними поколений. Я совершенно искренно должен сознаться, что Мочалов в статье Белинского лично для меня так же жив и памятен, как памятны мне те великие художники сцены, которых я видел сам. Такое впечатление может сделать только тот художественный критик, в душе которого живет подлинное собственное творчество равной силы с творчеством артиста. Белинский, так сказать, сам играл Гамлета вместе с Мочаловым, духовно сливался с ним в каждом моменте его глубочайших переживаний и любил в нем полное, совершенное созвучие со всем тем, чем жил он сам.

Путем этой великой любви и гениального проникновения гением художника Белинский, как никто другой, понял смысл и значение самого театра для современного общества данной эпохи, и понял в то время, когда театр был местом если не всегда забавы, то, в лучшем случае легкого развлечения, поверхностных впечатлений, вызывавших или легкие же слезы или беспечный смех. Любя измученную, принесенную в жертву искусству душу артиста, Белинский полюбил и то дело, которое творилось теми подлинными художниками сцены, для которых жить жизнью изображаемого на сцене лица значило отдавать этой жизни и все свое существо во всей полноте. Только таких артистов и признавал Белинский, только им и отдавал себя, как человека, с тою же полнотою, с тем же богатством всего подлинно „человеческого“, каким обладала его гениальная, вечно мятущаяся, вечно рвавшаяся в высь душа. Непреклонно суров был великий критик ко всему, что не имело права прикасаться к делу сцены. Он требовал „могучего, страшного художника“ и этим требованием на небывалую высоту ставил не только идеологию, но и самое дело театра.

Счастлив артист, нашедший такого критика. Счастлив театр, к которому такой его верховный судья и ценитель предъявляет такие требования. Много ненужных, поносных для театра явлений

не имело бы места при Белинских. Но и многое, чем велики всякие эпохи подлинного творчества, не проходило бы так бесследно, как это зачастую проходит, если бы на страже театра стояли люди — пусть не равного Белинскому гения, но твердо идущие по указанному им пути.

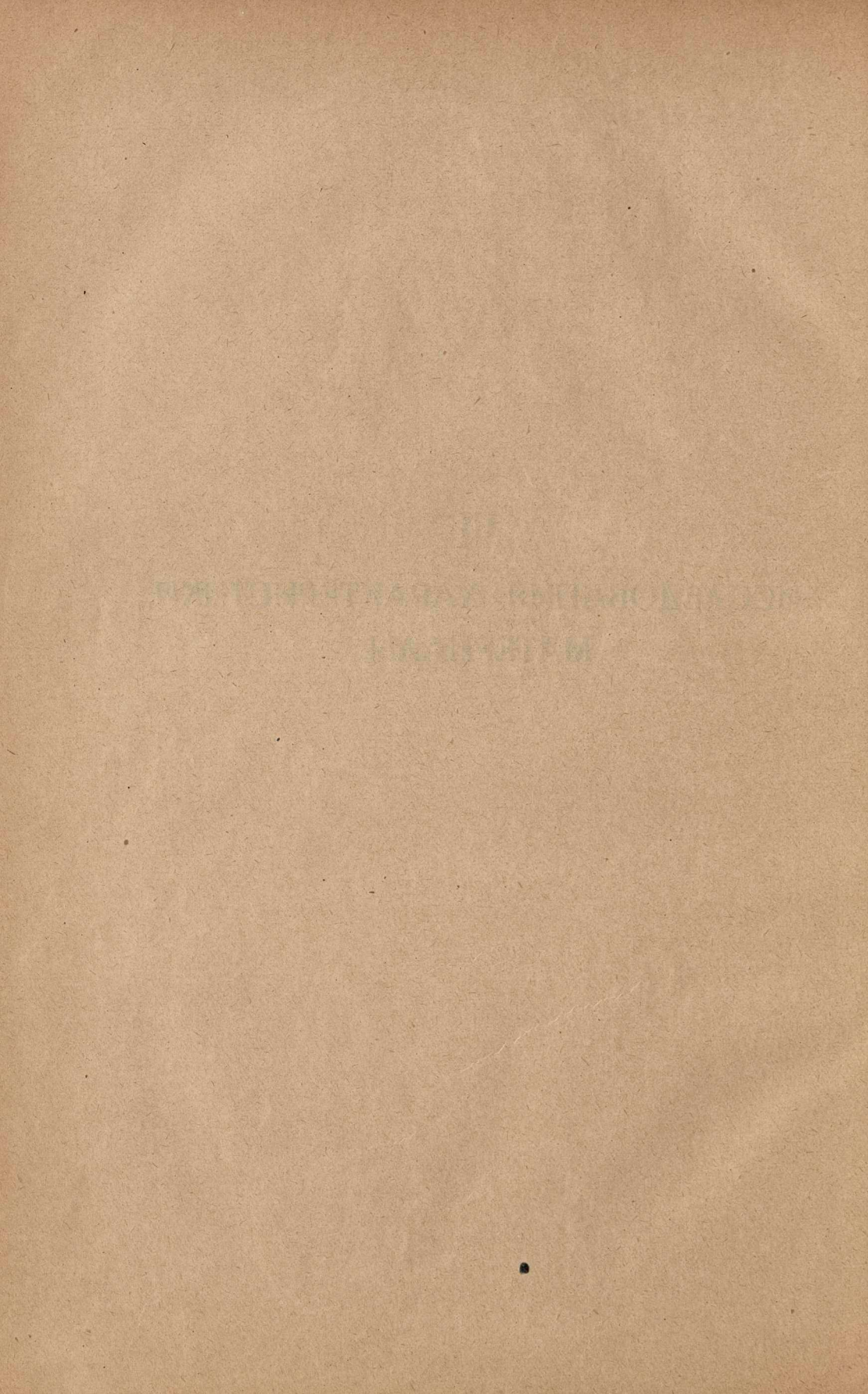
Всякие речи побледнеют перед силой его подлинных слов. Ему не надо панегиристов. Пусть Белинский сам говорит за себя. Я прошу вашего разрешения прочесть вам отрывки из его описания, как творил Мочалов Гамлета, и вы сами доскажете все, чего я не договорил в своем слове¹⁾.

А. Южин-Сумбатов.

¹⁾ Далее оратор прочел отрывки из статьи Белинского об игре Мочалова в роли Гамлета.

III

ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ,
МАТЕРИАЛЫ



Белинский и музыка.

„Музыка, музыка, чорт с тобой! Хотел бы любить тебя, но должен ненавидеть, потому что ты меня не любишь“.

Таковыми словами Белинский характеризует эмоциональный тон своих впечатлений от музыки в письме к В. Боткину ¹⁾. Выражаясь более определенно и кратко, он был чужд звуковой стихии, неразвит в ней, и это, быть может, обусловливалось недоразвитием самого слуха. Но музыка, помимо слуха, глубоко заражала его своим „дионисизмом“ — он ее глубоко и „страшно“ переживал и „не понимал“, она стояла пред ним глубокой загадкой, каким-то живым чудом, непостижимым и непостижимо действенным. Музыкальная трагедия Белинского глубока и мрачна: его письма переполнены сознанием двойственности своего к ней отношения, глубокой коллизии эмоции и познания, и, видимо, эта трагедия обострялась еще острым сознанием присутствия этих же непостижимых музыкальных элементов в излюбленной и, казалось ему, ясной ему поэзии.

Посмотрим, однако, более внимательно и подробно на существо музыкального восприятия Белинского — это типичное восприятие дилетанта; оно важно не только как один из второстепенных, быть может, биографических штрихов: оно имеет существенное значение в оценке и картине его восприятия слова, т.-е. в той сфере, в которой мы обычно привыкли воспринимать Белинского как литературного мыслителя и критика. Его „трансцендентность музыке“ многое объяснит и в его литературных вкусах и оценках и составит любопытное дополнение к его общей эстетической позиции.

Белинский был „немузыкален“, „не имел совершенно слуха“ — таковы отзывы его друзей. В воспоминаниях о Белинском Д. Иванова (1875) упоминается о домашних спектаклях в доме родителей автора воспоминаний; ставили там, между прочим, модную в то время оперу-водевиль Аблесимова: „Мельник-колдун, обманщик и сват“. В этих спектаклях на долю В. Г. Белинского приходилась роль

¹⁾ Письма Белинского. III т., стр. 437. Дополнения. (Изд., под ред. Ляцкого, 1914 г.)

отца Аниоты, и Иванов констатирует, что, „арии свои Виссарион передавал неисканным речитативом потому что к музыке и пению был совершенно неспособен“¹⁾. Тот же Иванов утверждает другой любопытный штрих — неспособность его к танцам и отсюда нелюбовь к ним. „В. Г. при своей сутуловатости и неуклюжести не отличался в танцах грацией и больше ходил в них скорым шагом, чем танцевал“²⁾. Правда, это могло бы быть отнесено за счет „застенчивости и неуклюжести“ Белинского, но оказывается, что в деле авторства, в деле чтения эта застенчивость не проявлялась, что заставляет думать, что она обусловлена была отсутствием четкого созерцания музыкального ритма и поэтому высказывалась яснее в сфере танца „под музыку“.

Стадии дилетантского восприятия музыки обычно группируются так: на первой самой грубой стадии воспринимается один ритм и то в наиболее примитивных периодических формах. В дальнейшей стадии действует главным образом ритм и тембр, действует своим чувственным очарованием, и потому симпатии склоняются более к тембру пения, человеческого голоса и скрипки, как наиболее чувственных тембров. Приблизительно в этой же стадии наблюдается оценка грубой виртуозности, эквилибристики технической. В этих стадиях собственно музыкальная стихия еще дремлет в восприятии, и эмоция постигается лучше, если дано ей словесное дополнительное выражение в виде ли наименования музыки, или программы, или текста. Дальнейшая стадия характеризуется уже восприятием мелодии, но плохой ориентировкой в гармонических звуковых комплексах. Последующие стадии (восприятие гармонии и контрапункта) уже не могут быть характеризованы, как дилетантские. Данные писем и писаний Белинского свидетельствуют, что он всецело принадлежал к примитивным группам дилетантского восприятия, что, повидимому, только немного и робко мелодические контуры проникали в его сознание. „Литературность“ звукового восприятия, т.-е. восприятие музыки через призму текста, характерное для дилетантства, все время сказывается в Белинском. Музыка только как чувственный, раздражающий и волнующий фон к слову и его смыслу, но не как самостоятельная эстетическая организация переживания. Об этом, очевидно, говорит Н. Н. Тютчев, когда вспоминает впечатление на Белинского сцены из „Лючии“: „Сколько я понимаю, тут на Белинского подействовала не музыка, а трагизм сцены проклятья“³⁾. А ведь тут дело касалось „Лючии“,

¹⁾ Ibid., стр. 437.

²⁾ Ibid., стр. 437.

³⁾ Ibid., стр. 449.

т.-е. произведения в музыкальном отношении в достаточной мере примитивного. Видимо, даже мелодия еще не открывалась Белинскому в его восприятии. Что это так, видно из его плохой музыкальной памяти: он не помнит слышанного даже когда оно ему нравится, даже когда оно просто и доступно. В 1840 году он пишет Боткину: „Вообще я немножко подвинулся в музыке: в „Роберте“ не дремал, но от многого был в удовольствии, сам не зная почему“. Таким образом даже кумир широкой публики „Роберт“ уже стоит на грани его восприятия. Воспринимающий мелодию всегда ее помнит, а Белинский несколько раз упорно констатирует невозможность для него запоминания музыки: „На другой день я был вечером у Василья на музыкальном вечере. Одно место из одной сонаты Бетховена произвело на меня такое же могущественное действие, как многие места из игры Мочалова в роли Гамлета. Но несмотря на то, я не помню хорошо этого места и едва ли узнаю эту сонату“¹⁾. Быть может, именно от этой полной своей звуковой трансцендентности Белинскому музыка становилась для него неизбежной, непостижимой и реальной тайной и именно так влекла его к себе, как в мир хаоса. Музыка для него должна была быть особенно ярко голосом хаоса. И она действовала на него стихийно в те миги, когда эта хаотичность не достигала пределов его восприятия, когда она представляла ему в некоторой относительной упорядоченности. Иногда, видимо, эта потребность общения с хаосом музыки достигала в нем силы мучительного желания. Он пишет (1843): „Странное дело: бывают минуты, когда смертельно жаждет душа звуков и раздается в ушах оперное пение. Такие минуты во мне и не слишком редки, и слишком сильны“.

Недоступность, реальная невозможность для него самого извлекать эти таинственные для него гармонии, видимо, еще более обостряла эту жажду звуков. Он мог слышать их не всегда, тогда как „дикое наслаждение“ (его выражение) от чтения стиха он мог испытать по своему почину. Он уподоблялся жаждущему в пустыне, да еще такому, который не всегда был в состоянии воспринять спасительный источник. Отсюда эта крайняя нервическая обостренность в его „воплях“ о музыке. „Посмейся надо мной, — пишет он Боткину уже в 1840 г., — иногда умираю от

¹⁾ Ibid. т. I, стр. 130. И ниже в выноске еще раз ссылка на свою музыкальную беспамятность. „На Роб. Дьяволе, который некоторыми местами, которые я разумеется забыл и не узнаю впредь, потряс меня, но вообще произвел тягостное впечатление скуки.“

жажды слышать музыку, иногда слышу около себя запах таких номеров из „Роберта“, на которые не обращал никакого внимания¹⁾. О „Фрейшюце“ нечего и говорить — иной раз хоть умереть, да услышать, но именно тут-то и не попадешь, как хочется. Хочу зарядить ходить в оперу. Одно воспоминание о „Лейермане“ исторгает слезы. Услышу ли когда“²⁾. „О, меломан!“

Итак, он сам себя величает „меломаном“, он жаждет звуков, даже воспоминание о них, приходящее неожиданно и вне его воли (характерно для бессознательного восприятия, лишенного волевой репродукционной памяти на звуки), „исторгает слезы“ — обычный эффект слушания музыки у Белинского. Во всех цитатах, выше приведенных, поражает густой, ярко выраженный эмоциональный тон восприятия. Эмоциональный, а не эстетический. Видно что эстетически музыка еще не могла действовать на Белинского, она действовала только физиологически, со всей неудержимостью чувственного тона, приводила его в экстаз, вовсе в исступление, с почти сексуальной страстностью им излагаемые. И эти впечатления „не слишком редки и слишком сильны“. Впрочем, видимо, сила этих впечатлений, возбуждений сильно слабеет к концу его жизни. Цитаты о могучем действии на него звуков, столь страстные и частые в первых двух томах его переписки, обнимающих годы с 1839 по 1843, совершенно исчезают в третьем томе, что стоит в видимой связи с его усталостью от жизни, болезнью и отхождением от „музыкальных“ друзей, да и с общим процессом его „прозаизации“, который вообще можно проследить в его литературных вкусовых эволюциях.

И в эти не слишком редкие минуты музыка представала Белинскому всегда в своем экстазно-трагическом лике, не как космос, а как голос хаоса. Он глубоко искренен, цитируя Байрона-Лермонтова:

Я говорю тебе—я слез хочу, певец:
Иль разорвется грудь от муки.

Страдание, претворенное в предельное наслаждение, — вот чего ищет Белинский в музыке. Его манит надрыв, заложенный в звуках. Музыка разрезает насыщенную страданием атмосферу души, разрезает, доводя ее до экстаза страданий. Оттого он — трагик в своем музыкальном вкусе, трагик вследствие своего звукового профанизма, впадающий нередко в сентиментализм. Он идет

¹⁾ Характерно для вневолевой репродукционной памяти и для несознательного звукового созерцания.

²⁾ Ibid., т. II, стр. 193—194.

Коллегии Министров, в отделе Восточных,
Гр. и Н. Министров.
№ 10 ар. 1875

А. Кошкин,

Министр Императорского Государства,

Александра Яковлевича!

Давно давно хотел бы написать Вам в том
числе 2-й разе уведомивши вас, — и потому хотел
отвратить на вас, пока еще 1840-й год совсем
не уйдет, чтобы Вы не имели права уведомить
меня, что я отменяю Ваше не в том смысле
воту, а ровно через год. Бога ради, не прати-
скайте мне суждения замедленного письма
будно бы уведомивши замедленно: чтобы убо-
ркой было, что ко мне не могут обратиться
импорт, ашра: «Вассации Григорьевой, в
аналогичной департаментской управлению. Мин
Сибирей и Байкал и восточна, в том случае
модель оправдывают мне непонимание министерства
земства, будно бы уведомивши все мое
время пишу, и правда открывается прише
Филипп Яковлевича и мною, или — лучше сказать —
почти как и дресса, и время у меня про-
ходит в ожидании и ожидании о том».

Письмо Белинского к А. Я. Кульчицкому (3 сен. 1840)

слушать музыку, которая бы „разрывала сердце на части“, будь то „Роберт“ или „Волшебный стрелок“ или Бетховен, но самый звук для него — темная стихия. Он, видимо, воспринимает его чрез сюжетность, чрез слово, как в опере и романсе, либо чрез обаяние гениального имени, как в случае Бетховена. Оттого пение ближе Белинскому. „Смейся над моими ушами“, — пишет он Боткину, наиболее частому поверенному его музыкальных излияний, — „но я в этот вечер пережил годы. Не могу слышать пения — оно одно освежает мою душу благодатною росой слез“¹⁾. Итак — пение, музыка в роли катартического завершения переживания, действие одновременно глубоко психологическое и почти физиологическое; оно вызывает у Белинского потоки слез, приводит его в состояние почти психопатическое, мучительно-сладостное. Но только этот лик музыки открывается Белинскому: ему вовсе чужда и непонятна гармония, аполлинический момент звукового искусства. Более того — он ему психологически вовсе не нужен. Оттого он пишет тому же Боткину: „Смешно сказать, а ведь пойду на Роберта или Стрелка, как только дадут, но на горе мое дадут все балет „Жизель“ да „Руслана“²⁾. Оттого к „классической музыке“, под которой в его время разумелись авторы до Бетховена, он оставался неизменно равнодушен. Н. Н. Тютчев в воспоминаниях пишет: „У нас много занимались музыкой, особенно классической. Бывало (Белинский) сидит и слушает безучастно. Затем подойдет к фортепиано и скажет: „Ну, а теперь сыграйте для меня“. Эта фраза означала, что нужно сыграть „Leiermann“ Шуберта или „Danse infernale“ из Роберта — единственные две музыкальные пьесы, которые он, по собственному признанию, понимал и любил“²⁾.

Конечно, судя по общей картине, наверное, он не „понимал“ и этих вещей, но он их чувствовал и любил, опять-таки, возможно, по ассоциациям чисто литературного типа, вызываемым их заголовками, „программой“, как „Leiermann“ или „Danse infernale“. Очень возможно, что та же музыка, сразу преподнесенная ему без этих заголовков, не произвела бы на него впечатления. В этом восприятии музыки много черт от „цыганщины“, уже тогда существовавшей и даже распространенной в русских интеллигентско-дворянских кругах. Нам неизвестно, знал ли Белинский цыганское пение, но вряд ли можно предположить, что он его не знал; и если именно к нему, в котором так ярко выражаются элементы экстазма и надрывности, он представляется равнодушным, то это вернее всего обусловлено именно его чуждостью музыке, его литературным восприятием

1) Ibid., т. II, стр. 335.

2) Ibid., т. III, стр. 449.

музыкального языка, не могшим найти в „дыганщине“ своей точки приложения. Но эмоциональный план тождествен: стремление к блаженству — страданию, завершающееся „проливанием слез“, желание расчувствоваться, обнажиться душой, пережить катарсис. Чрезвычайно характерным штрихом для музыкального вкуса Белинского является и его нелюбовь, переходящая в отвращение, от специфически русской народной музыки. Западник по воспитанию и традиции, Белинский отошел от руслу народного творчества: даже к литературному эпосу русского народа отношение его скептическое и насмешливое. Тем более это должно было проявиться в музыке, которая не говорила ему словами текста и была непонятна в своей музыкальной, песенной стихии. Русская песня, видимо, ассоциативно связывалась у него с идеей столь мало симпатичного ему славянофильства. Недаром он называет эти песни „славянскими“ — не без иронии. Его отношение к ним ярко высказывается в следующем отрывке из письма к Боткину: „Раз играли мы в преферанс — я, Тютчев, Кульчицкий и Кавелин. Юноша распелся — голос у него недурен, а главное в его пении — душа и страсть. Сначала он орал все славянские, а я ругал их; потом он начал песни Шиллера (?), а там из Роберта и Фрейшица“. В этом „ругании“ славянских песен, очевидно, литературно-социальная предвзятость, — тут говорит в Белинском теоретик литературы, игнорирующий достоинства русского народного творчества, и западник, нетерпимо относящийся к культу русской песни как к знамени реакционного славянофильства. Какие это были „славянские песни“, петье в данном случае Кавелиным, трудно сказать, но вернее всего это были модные в то время полурусские, полуитальянского стиля композиции так называемого псевдо-русского стиля, ибо до настоящей русской песни, неискаженной в ее ладовой самобытности, тогда еще не докопались, и она была фактически неизвестна, только Глинка в те годы намечал первые штрихи подлинного стиля. Итак, это был итальянско-русский песенный тип, не столь уже отличавшийся от модных арий итальянских опер и почти лишенный русской специфичности. Следовательно, не музыкальная сторона могла вызвать в Белинском отвращение к ним, а только ряд связанных с ними ассоциаций общественного и литературного характера. По всей вероятности, той же антипатией, которую вызывала в западничающем Белинском русская песня, объясняется и полное равнодушие его к творчеству Глинки, именно тогда расцветавшему полным цветом. Именно то, что составило ценность творений Глинки, — их обоснованность на народном типе песенности, — поставило к ним Белинского во враждебно-равнодушные отношения, ибо заставило его смотреть на

гениального композитора как на пассивное орудие славянофильства и даже реакции. Круг, в котором вращался современник Белинского — Глинка, был не тот, где был всегдашним Белинский; только в немногих лицах эти круги соприкасались (Одоевский), и это обстоятельство тоже разделяло их. Надо вспомнить, что круг Белинского, как-никак, относился к „неблагонадежным“ политически, и это не было мало-важно для скромного, смиренного и лояльного Глинки. Из всей жизни Белинского следует с очевидностью, что он прошел совершенно мимо развития в эту эпоху стихийного русского творчества в области музыки, мало даже интересовался им, и имена Верстовского, Алябьева, Глинки и Даргомыжского были для него отвлеченными схемами, не говорившими ничего его душе, хотя и известными ему.

Как типичный носитель дилетантского музыкального содержания, Белинский ценит в музыке сначала голос—тембр. Он оперу оценивает прежде всего „по голосам“—это для него важнее других статей. „Я видел Роберта“,—пишет он.—„Петров великий актер: он сыграл передо мною роль свою, как гениальный актер. Но голоса у него для нее не хватает—это уж и я тотчас заметил. Если бы ему голос дурака Лаврова, я не пропустил бы Роберта ни разу“¹⁾. Итак—голосистый певец для него предпочтительнее великого артиста сцены именно потому, что в оперу он идет для звука, а не для драмы, а быть может, и не верит в „драму в опере“, как многие в его время.

Он—страшный консерватор в музыке, не в смысле пристрастия к прежней музыке, а в смысле пристрастия к вещам, ему хорошо и давно известным. Они обросли в его представлении ассоциативными грезами, целым миром воспоминаний и напоминаний, и их репродукция сразу оживляет для него весь этот мир воспоминаний о пережитых дорогих страданиях и радостях. Звуки ценны не сами по себе, а как провода, по которым текут любимые воспоминания как „метод вызывания их“. Он плачет от звуков, но кто может поручиться за то, что это слезы от самих звуков, а не от этого роя воспоминаний, нахлынувших при звучании знакомых мелодий, с которыми срослось так много и столь дорогого?

Многие штрихи в его переписке дают полное основание думать, что это именно так. Музыка обладает удивительной способностью вызывать необычайно яркие ассоциации и воспоминания всего того, что сопутствовало, когда она воспринималась в первый раз. Вспоминается все до мельчайших подробностей, до обстановки, до мелочей, вспоминается без усилий памяти, одним звуковым воздей-

¹⁾ Ibid., т. II, стр. 35—36.

ствием, как воскресающая в памяти картина. Вспоминается невольно, помимо воли. Вспоминается неуловимый и невыражаемый словом общий тон пережитой эпохи, душевный колорит того времени. И это происходит безотносительно к качеству и свойствам самой музыки: она напоминает всегда и одинаково, будь она плоха или хороша, будь она соответственна или несоответственна этим настроениям. Музыканту ясна независимость самой музыки от этих роев воспоминаний, но для дилетантского созерцания характерно восприятие их в слитном образе. Дилетант любит знакомые звуки за то, что они напоминают ему, что они вызывают в нем дорогую для него картину пережитого. Он склонен приписывать самой музыке эту картину, как ее „сущность“ или „содержание“. Особенно дорога становится музыка, таким образом связанная с какой-либо яркой жизненной полосой. Мы невольно узнаем эту картину восприятия в Белинском, хотя бы в этих его словах, обращенных к Боткину: „Бывают минуты, когда душа моя жаждет звуков¹⁾. Дорого бы я дал, чтобы послушать в твоей комнате „Leiermann“, мне кажется, что я зарыдал бы, если бы, проходя по улице, услышал под окном его чудные, грациозные звуки—которые глубоко запали мне в душу. Когда Одоевский при мне заиграл Лангеру „С Богом, в дальнюю дорогу“—во мне душа заболела тоской и радостью, услышав знакомые и милые звуки. Пожми руку доброму Лангеру, я часто вспоминаю о нем“²⁾. Конечно, не самая музыка „Leiermann“ Шуберта, по существу неспособная вызывать такое потрясение, могла вызвать в Белинском эти переживания, а тот мир воспоминаний, который влекли с собой эти „знакомые и милые звуки“, вызывавшие у Белинского скорбно-сладкое воспоминание о тех переживаниях, которые были больше связаны с этой музыкой. То же и с Лангером—недаром он его самого немедленно и нежно вспоминает. Самая жажда „звуков и слез“, являющаяся одновременно, из него возникает под давлением внешних, жизненных перипетий и личных переживаний интимного свойства. Иногда эта мечта о „Прямухине“, в связи с невозможностью в него ехать,—о том Прямухине, с которым у него связаны наиболее сладостные воспоминания³⁾, иногда это сознание болезни и немощи, иногда душевный кризис сознания⁴⁾, иногда прямой эффект влюбленности, когда ему идея музыки кажется отождествленной с образом любимой,—типичная метафора переживания для романтика,

1) Ibid., II, стр. 36.

2) Ibid., II, стр. 36.

3) Ibid., II, стр. 335; I, стр. 193.

4) Ibid., I, стр. 188—194.

каким был Белинский в раннюю эпоху. „Все будут слушать слышимую музыку, а я буду созерцать видимую“¹⁾. Под влиянием же существующего экстаза души музыка вливается в него особенно легко, даже музыка, мало для него доступная по своим свойствам, музыка, которая в иных состояниях была бы им отвергнута. И он сам в эти минуты удивляется неожиданной власти звуков над своей душой: „Вчера, например, я, и варвар и профан в музыке, слушал „Septuo“ Бетховена со слезами восторга на глазах, трепетал от звуков, которые так неожиданно и сильно заговорили в моей душе“²⁾. „Варвар и профан“, не знающий даже того, что он слушал не „Septuo“, а септуор Бетховена, не знающий и того, что, быть может, в этом самом септуоре, бодром и веселом по музыке, автор менее всего ожидал от слушателей слез и „трепетания“ — он видел в музыке физиологический выход своего лирического душевного беспорядка в звуках. Этому восприятию предшествует „смертельная тоска“, „ужас перед своей пустотой“, размолвка с М. Бакуниным³⁾ и примирение с ним, — состояния, высказываемые им в фразах, вроде таких: „Могила то манит меня к себе прелестью своего беспробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей...“⁴⁾. И после этого романтического хаоса жизнерадостный септет Бетховена раскрывает уши Белинскому для восприятия несуществующих в его музыке слез и трепетаний.

Вкус в музыке, как легко можно вывести из предыдущего, у Белинского не то чтобы отсутствовал, но просто о нем и вопрос не поднимается. Можно говорить лишь о вкусе в применении к его общему тону настроения, общему для его писаний, мыслей и музыкальных ощущений. Он чрезвычайно плохо разбирается в пантоне великих музыкальных имен и в их генетическом соотношении, он — профан не только в восприятии музыки, но даже в теоретическом вопросе о музыкальной культуре, в направлениях, в абсолютных ценностях отдельных представителей творчества. Он не может отрешиться от индивидуального пристрастия к голосу, к вокальной музыке, более легкой для его восприятия. В связи с этим находится несколько странная идея о разделении музыки на „немецкую“ и „итальянскую“ по принципу предполагаемого отношения к голосу: немецкое музыкальное верование, „которое смотрит на итальянскую музыку как на роскошь, которое, вместе с этим гениальным и простодушным старинным мастером (Бахом) боится лучшего в мире музы-

1) Ibid., I, стр. 193.

2) Ibid., I, стр. 194.

3) Ibid., I, стр. 188—193.

4) Ibid., I, стр. 188.

кального инструмента, человеческого голоса, как слишком исполненного страсти, профанирующей искусство в той заоблачной и потому самому несколько холодной сфере, в которой эксцентрические немцы хотят видеть царство истинного искусства¹⁾,— и итальянское, которое, повидимому, обладает обратными характеристиками. Здесь—уже полная неосведомленность человека, попавшего в чуждую и незнакомую ему сферу. Иначе Белинский не говорил бы о „простодушии“ Баха—одного из самых сложных и глубоких мастеров, ни об антипатии немцев к голосу, для которого никто другой, как тот же Бах написал 97% своих сочинений. Белинский не в курсе того, что характерно в Бахе, в Бетховене, он не в курсе того, что делается в его время в музыке. Россини и Беллини — вот те имена, которые ему приходят в голову первые (да и последние), когда ему надо защитить гений Европы от нападок Одоевского, констатирующего его угасание. Беллини и Россини, а не Шопен, не Мендельсон, которые тогда уже (1844) успели дать лучшие свои творения миру.

Мейербер, а не Вебер. Как я уже указывал выше, большое и полное равнодушие его к Глинке и к его музыкальным откровениям. видимо, в значительной мере обуславливалось его антипатией ко всему, что носило характер слишком специфически национальный, „славянофильский“. Опера Глинки „Жизнь за царя“ была слишком взыскана „высочайшими“ милостями, слишком стала символом официозного патриотизма, чтобы передовой круг Белинского мог включать самого автора в число „положительных“ явлений. Надо помнить, что в этом кружке оценка всегда была не только эстетической, но и общественной, и этому критерию Глинка не удовлетворял, что было уже достаточно, чтобы его музыка была синонимом скуки („на мое несчастье, дают все только „Руслана“²⁾)— это в 1844 году, год спустя после появления в свет лучшего содания глинкинского гения.

Самый круг Белинского был, в сущности, весьма далек от музыки. Это не был один из выдающихся в музыкальном отношении кружков. Связь его с центром тогдашнего музыкального мира (Верстовский, Глинка, кн. Голицын — покровитель Бетховена, Львов,

1) Соч. Белинского, под ред. Иванова-Разумника III. II. 48. Стр. 876. Самая „биография Баха“ Одоевского есть род новеллы, вовсе не основанной на исторических данных, а составляющий свободную композицию Одоевского и отражающий его взгляды на музыку. Белинский совершенно напрасно называет ее „биографией таланта“—это просто фантазия по поводу „идеи Себастиана Баха“.

2) Ср. также отзыв о „Роберте“. Ibid. I, стр. 130, выноска: „произвел тягостное впечатление скуки“.

Вильегорские и др.) была, видимо, в полном отсутствии, а связь с периферией музыкального мира поддерживалась чрез Лангера, кн. Одоевского, А. И. Кронеберга, Н. Н. Тютчева, Боткина. Количество музыкальных штрихов и впечатлений сильно редет в его жизни, когда с его жизненного пути так или иначе выключаются Одоевский и Лангер. Это стоит, впрочем, в известной связи и с другим процессом, а именно с прозаизацией мировоззрения Белинского, линию которой можно проследить к концу его жизни. Возможно, что значительная часть музыкальных впечатлений просто не доходила до него, вследствие его крайней немusыкальности, и не лишено вероятия и то, что его музыкальные друзья,—Боткин, Лангер, Тютчев, сами не посвящали его особенно глубоко в свои музыкальные дела, не посвящали и не просвещали, убедившись раз в его малой восприимчивости к искусству звуков и его проявлениям. Онтология музыки была закрыта для него отчасти из свойственного ему реализма мировоззрения; психология музыки страдала в нем от малого развития самого воспринимающего аппарата — музыкального слуха. Если мы проследим облик эстетических мировоззрений Белинского, то нетрудно убедиться в преобладании у него мотива „рассудка“ и „здорового смысла“ в оценках. Он—противник фантастики, противник символики, он требует, чтобы все было понятно. Вспомним его критику гоголевского „Портрета“¹⁾, его рецензии на новеллы и повести Одоевского²⁾. Не только что он не верит в фантастику, как мистически веровали многие его друзья, но он не желает вообще, чтобы фантастические образы имели право на жизнь внутри литературы. Малопоследовательный, как всегда, Белинский допускал частые „персональные“ исключения, но общий тон остается. Он—прозаик и реалист, поклонник здравого смысла, он не любит даже фигур и троп в поэзии, признает часто их проявлением дурного вкуса³⁾. С такой эстетикой именно должен был быть человек, столь мало и примитивно открытый музыке, ибо в поэзии именно то, что ее делает поэзией, а не прозой, исходит из музыкальной сферы. Музыкальная сфера знаменует собой гармонию в дионисизме, космос дионисизма, но музыкальной душе Белинского этот космос был неприступен: он знал равновесие здравого рассудка и хаос

1) Полн. собр. сочин. под ред. Иванова-Разумника, 2 изд. СПб. 1913. Т. II, стр. 446. Это один из очень многих примеров, выбрал наудачу. Выпады против фантастики у Б. чрезвычайно многочисленны.

2) Ibid. т. II. стр. 876.

3) Примеры также очень многочисленны, не считаю потому нужным приводить детальные ссылки.

восторженности, и музыка, говоря своим таинственным и темным языком, порождала в нем психический ужас и физиологический аффект. „Неистовость“ и восторженность сильно спадают к концу жизненного пути Белинского, одновременно он становится еще менее отзывчивым на звуки и еще более рационалистом и прозаиком в эстетическом credo — и в его писаниях сказывается еще большая закрытость, несоизмеримость тому миру музыкальному, который вкован в литературные памятники.

Эта закрытость для истинной музыкальной стихии, несомненно, оказала влияние и на литературные оценки Белинского. В сущности, для настоящего исследователя личности Белинского и его литературных вкусов только эта часть музыкальной жизни Белинского имеет значение; имеет значение тот факт, что неподатливость Белинского музыкальным влияниям могла и должна была оказать то или иное воздействие на его критические оценки уже в той области, которая тесно и органически связана с именем Белинского, которая составляет его сферу. Отзвуки музыкальной стихии в литературе составляют область ритма прозы и стиха, область стиховой эвфонии и декламативных нюансов. Как нам пришлось уже указывать выше, ритм в своих наиболее примитивных формах составляет наиболее доступную всем (даже мало-музыкальным людям) область музыкальных элементов. Это — почти даже выходящий за звуковую сферу элемент, ибо временный ритм мыслится не только в звуках, но в каких угодно ощущениях — световых, осязательных и проч. Можно обладать чрезвычайно развитым ритмическим чувством, не будучи ни мало музыкальным. И по отношению к Белинскому можно было бы предположить, что, оставаясь мало или вовсе немusикальным, он мог бы обнаружить по отношению к ритмам слов большую чуткость, какую, например, обнаруживают многие из по существу мало музыкальных поэтов (Геофиль Готье, Вал. Брюсов и т. д.). Поэтому некоторым разочарованием оказывается факт незначительной сознательности Белинского к ритмам слова, проявленным в слитности образов и размеров. Что это малая сознательность есть реальный факт, доказывается хотя бы тем странным рецептом „превращения стиха в прозу“ для целей оценки его „внутренних“ достоинств. „Стих, переложенный в прозу и обращающийся от этой операции в натяжку, так же как и темные затейливые мысли, разложенные на чистые понятия и теряющие от этого всякий смысл, обличают одну риторическую шумиху, набор общих мест“¹⁾. Белинский не довольствуется

¹⁾ „Стих. Вл. Бенедиктова“ 1835. Полное собр. соч. Белинского под ред. Иванова-Разумника, т. I, стр. 176.

этим утверждением, а на поверку „перелагает“ в прозу таким образом стихи Бенедиктова, думая тем доказать их апоэтичность. Ясно, что человек любящий и понимающий ритм стиха, знающий, что в стихе размер и образ слитны, нераздельны, не мог бы даже помыслить о такой вивисекции. Это рассуждение буквально аналогично тому, как если бы музыкант рассуждал в своей сфере: „если симфонию сыграть не в том размере, как она написана а в другом или вовсе без размера, и если получится при этом дрянь—то самая симфония никуда не годится“. Звук а в слове Белинский, видимо, не чувствует так же, как звука в музыке; для него поэзия—это „литература“, это какие-то комплексы мыслей, лишь по необходимости выраженные в звуках. Критик, без сожаления расстающийся с размером, т.-е. с ритмом стиха, не может считаться хорошо чувствующим этот ритм. И это ведь происходит еще в первый романтический период работы Белинского, когда он был более энтузиастичен (1835 г.), когда еще процесс прозаизации в нем не завершился. К звуковым ресурсам стиха Белинский равнодушен. Хотя он и говорит, и даже неоднократно, что у Пушкина в стихе „все акустическое богатство“, „все богатство мелодии и гармонии языка и рифмы“¹⁾, но рядом же он уверяет, что „тайна пушкинского стиха была заключена не в искусстве сливать послушные слова в стройные размеры и замыкать их звонкой рифмой“, т.-е. не в музыкально-звуковых ресурсах языка, а в какой-то мистической и неопределенной „тайне поэзии“²⁾, сущность которой не выясняется, но есть основание думать, что она тоже „идеологической“ субстанции, а не музыкальной. В своих критических анализах Белинский останавливается почти исключительно на смысловых элементах и связанных с ними критериях—исторических и социальных, но, даже разбирая глубоко музыкального Пушкина, он избегает анализировать самый стих, самую звуковую субстанцию поэзии. Это могло быть простой данью времени: в ту эпоху вообще не было еще принято слишком вдаваться в детальные разборы звуковых ресурсов, „наука о стихе“ была в состоянии эмбриональном. Но мы у Белинского не только не видим анализа, но не видим сознательности, — кроме общих фраз о „музыке и гармонии“, нет даже конкретно направленных восторгов на то или иное проявление этой „музыки и гармонии“, нет самых общих контуров психологии ритмов, тогда уже известных миру и поэтам не только в порядке интуиции. Величественные ямбы, эпи-

1) П. собр. соч. Белинского. Т. III, стр. 241, 243 и др.

2) Ibid, стр. 244.

ческие гексаметры и быстрые хорей его оставляют совершенно равнодушным к этим различиям в их окраске — он молчит, упорно молчит о ритме. Он молчит и о звуковой форме стиха, связанной с ритмом, он не замечает реальных проявлений виртуозности в стихе Пушкина, отмеченных современностью. Не „октавы“, не „сонеты“, не „как они сделаны“, а „что они высказывают“, — таков типично внезвуковой, внемузыкальный интерес критика, таков же и подход его, намеренно избегающий конкретных звуковых анализов. Типичный для него общественно-утилитарный подход к литературе питал, с одной стороны, и оправдывал — с другой, это равнодушие к „звукам сладким“ в языке. Рифма, звуковые благозвучия в стихе или в прозе, как уже можно предполагать, тоже не интересуют конкретно Белинского, и эта конкретная незаинтересованность в них — при столь явной конкретной заинтересованности его в литературных явлениях в целом — объясняется исключительно чуждостью, несоизмеримостью его со звуками. Ему, — жаждавшему в искусстве видеть всегда идею, мысль, „понятие“, — что могла сказать музыка, сама не знающая понятий и не высказывающая идей, и музыка в слове, творящая свой фантастический мир поверх смысла и идей? Он мог только пройти мимо нее, непонятной, быть может, даже не замечая этого мира, включенного в знакомое ему царство идей, которые он только и привык созерцать и наблюдать в литературе.

Немузыкальность литературного критика, и даже — странно сказать — поэта, в действительности оказывается вовсе не таким редким явлением в мире, и Белинский не есть какое-то редкое исключение в литературной семье. Лишь сравнительно немногим открыты были одновременно оба мира — смысла и звука — в слове, и в равной мере. Можно различать дилетантизм восприятия, имевший место почти у всех, даже крупнейших фигур на горизонте русской литературы и поэзии, от „тугого восприятия“, имевшего место сравнительно реже, но именно имеющего место у Белинского. Белинский мудро обходит эту часть, уклоняясь (что естественно и логически неминуемо) в сторону общественности и идеологических освещений, оставляя в стороне, как бы в ранге второстепенных, вопросы звука и эвфоническую установку. В этом — сознание своих границ и своих сил, знание себя, незаменимое в критике. В литературной критике Белинского совсем нет ссылок, аналогий, параллелей, вообще никаких экскурсий в музыкальные сферы, и самый его дилетантизм, его звуковая тугость предостоят нам не из этих, так сказать, им самим для мира предназначенных композиций, а из немногих упоминаний о музыкальной стихии в его интимной переписке с друзьями, из нескольких отрывочных „криков души“, которая в эти

минуты сама трагически сознавала себя слепой в отношении таинственного и неведомого для нее музыкального мира и в то же время не менее странно и иррационально к нему влекомой.

Мала и слаба связь великого русского критика с музыкой, с трудом вылавливаются из оставленного им наследия даже контуры его отношений с другим великим искусством, элементы и фундамент которого как раз в его эпоху закладывались в России. Тем более могло бы показаться странным, что Белинский мог повлиять на русский музыкальный мир, на русскую музыку. Но это, тем не менее, именно так,—влияние Белинского было, хотя оно и не являлось непосредственным, прямым. Белинский, пользовавшийся в интеллигентных кругах 40-х и последующих годов непрерываемым влиянием как художественный мыслитель и критик, повлиял на русскую музыкальную критику, которая в эту самую эпоху впервые создавалась, повлиял на музыкальную эстетику в том смысле, что в нее невольно (и из подражания) перенесены были эстетические установки, сделанные в литературе Белинским. Музыкальная эстетика Серова, крупнейшего русского музыкального критика, была всецело создана под впечатлением и влиянием Белинского, „по образу и подобию“ его литературной критики. Даже самый слог Серова — подражание Белинскому, даже в недостатках он копирует „отца русской критики“. Но главный центр — не в этом, а в перенесении в музыку типа художественного анализа, установленного Белинским, и его эстетических предпосылок. Как у Белинского — у Серова господствуют идеи „содержания“ в музыке, а не формы высказывания. Он так же чужд анализу чисто музыкальному, звуковому, как Белинский чужд эфонических анализов и созерцания ритма. Для него так же, как для Белинского, музыкальное произведение ценно своим историко-социальным положением и мыслью, его породившею, а не типично-звуковыми гранями. Он такой же „натуралист“, такой же поклонник „здорового смысла“ в музыке, понятности, воспринимаемой как способность музыкальных ощущений быть разложенными в понятия. С этой точки зрения Серов оценивает все явления музыки, даже фантаста и символиста Вагнера принимая за „реалиста“, даже к колориту звуков применяя идею рациональности. То, что еще допустимо, хотя и является односторонним в литературных оценках, уже совершенно недопустимо в музыке, лишенной идеей по существу и „понятий“ — по технике и материалу. И тот пробел, который простителен и объясним в „музыкальном“ Белинском, вдвойне непонятен в „музыканте“ Серове. Но именно эта самая черта и показывает, до какой степени силен был авторитет и престиж Белинского, если даже его приемы и эстетика буквально и полностью

перелагались в совершенно другие и совершенно неподходящие для этого области чистой музыки. Серов вышел из Белинского, вышел целиком и вполне, а ведь из Серова вышла вся музыкальная критика позднейших эпох, почти вплоть до наших дней, когда, наконец, в свои права вступает музыкальный анализ, и не только в музыке, но и в литературе. Интеллигентская, из здравого смысла рожденная, от звука оторванная эстетика Белинского полностью сохранилась в писаниях Рубинштейна, Кашкина, Энгеля—до XX века. Таким образом связь немusикального Белинского с „нелюбящей его“—по его выражению—музыкой оказалась гораздо прочнее и существеннее, чем он сам мог вообразить. Он окрасил своей эстетикой большую часть временного протяжения нашей культурно-музыкальной истории,—а это уже очень много; это огромного масштаба влияние, с которым можно спорить, противодействовать ему, но которого немислимо не признавать как реальный исторический факт. И нам представляется, что именно в этом „засилье“ идей Белинского, перенесенных в музыкальную сферу именно из его источника и здесь надолго осевших, заключается как раз самая интересная страница взаимоотношений критика с музыкой, с той самой музыкой, которая так мало „любила“ его при жизни и так неожиданно и даже нелогично сильно полюбила его идеи после смерти.

Л. Сабанеев.

Встреча Белинского с Сикстинской Мадонной.

Перечитывая написанное Белинским, — его критические статьи, заметки, трехтомную переписку, — мы будем крайне удивлены почти полным отсутствием интереса со стороны „неистового“ критика к искусствам пространственным: живописи, ваянию, зодчеству. Огненный поток его любви и ненависти, его восторгов и отрицания как будто проносился мимо великих явлений изобразительного искусства прошлого, искусства, современного Белинскому. Для Белинского как будто не существовал петербургский Эрмитаж. Он не видел и не чувствовал величавой архитектурной красоты Петербурга и драгоценного ожерелья подпетербургных дворцов, как, впрочем, не видали ее ни Тургенев, ни Достоевский. Все мы знаем пренебрежительно-отрицательный отзыв первого о Томоновском здании „Биржи“, удивляемся полному отсутствию характерного Павловского пейзажа в „Идиоте“. Во всем, что Белинский написал, нет ни одного указания на то, чтобы его внимание привлекло какое-нибудь современное большое событие в области изобразительных искусств. Шум и блеск появления в России брюлловского „Последнего дня Помпей“, взволнованность русского общества этим событием прошли, повидимому, мимо Белинского — этого необычайно тонкого преемника малейших колебаний общественных настроений в области литературы. Тем более все это кажется странным, что мы знаем о связях и знакомствах Белинского с художниками. Таковы были его старые и дружеские отношения с К. И. Рабусом. Известны из переписки Белинского обстоятельства его первого знакомства с Брюлловым: „В театре Струговщиков познакомил меня с Брюлловым, который сказал мне, что давно меня знает, давно желал познакомиться, сказал это с простотою и радушьем; а я, как дурак, молчал, не видя вокруг себя ничего, кроме свиных рыл“¹⁾.

Приведенное место, а также несколько других явно свидетельствуют о большом уважении Белинского к Брюллову. И все-таки мы встречаем постоянное упорное молчание о нем как художнике, о его произведениях.

Чем обусловлен факт такой явной нечувствительности к явлениям искусства в области зрительных восприятий? Этот вопрос, думается мне, мог бы получить разрешение в исследовании индиви-

¹⁾ Белинский. Письма, II, стр. 328.

дуальной психологии Белинского со стороны ее психо-физической структуры, ее предрасположений, и в изучении его душевного строя как отражения некоей общественной среды.

Я попытаюсь здесь в отношении к данному частному случаю применить одну общую гипотезу, над которой мне приходится работать в настоящее время. Ее общая посылка достаточно известна и дана теорией, утверждающей аналогию фаз развития личности и общества,—вернее: личности и той или иной коллективной особи не столько в ее социологической, сколько в биологической значимости.

Закономерности такого типического развития, — разработка которых в отношении к психологии художественного творчества и восприятия ведется мною в настоящее время¹⁾, — могут быть кратко и схематически сведены к следующим характерным чертам.

Первая фаза — примитивная. В основе способов восприятия внешнего мира и способов творческого выражения субъективных переживаний лежит опыт двигательный. Ему подчиняется вся система ощущений и чувствований. Картина мира и ее творческое отражение — и искусство — синтетичны. Так происходит у детей, у современных диких и очень отсталых культурно народов, у человека первобытного, как можно предполагать. Второй признак начальной фазы, временной — динамический характер восприятия и творческого выражения, — волевой в своей основе, с мощным эмоциональным тоном и малой степенью интеллектуальной чеканки.

Вторая фаза характерна расчленением способов восприятия и творческого выражения. Обособляются и обостряются все более односторонне и специфически восприятия, связанные с отдельными органами ощущений. Единое синтетическое искусство расчленяется на ряд искусств, обусловленных различиями материалов и специфических интересов. Совершается это расчленение на почве борьбы между двигательным, временным, динамическим началом, с одной стороны, и созерцательным, пространственным, статическим — с другой стороны.

Усиление созерцательности связано сначала с обострением слухового опыта на основе моторных переживаний и сопровождается освобождением и обострением эмоциональности. В искусствах театра, танца, в поэзии и музыке все более ощущается их пространственное строение, зрительно проэцируемый образ, а вместе с этим процессом усиливается и анализ, подход интеллектуальный. Так постепенно готовится и происходит переход от искусств времен-

¹⁾ Первую формулировку своей общей гипотезы я дал в статье: „Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства“, напечатанной в журнале Р. А. Х. Н. „Искусство“, № 1 (1923).

ных к искусствам пространственным—при чем, в последних временная форма еще долго служит субстратом творчества и восприятия. Так утверждается взамен двигательной-осязательной чисто зрительная концепция.

Третья фаза—возвращение к синтезу, гармонизации душевных способностей и представлений о мире. Она отличается созерцательностью, не столько напряжением, сколько распределенностью переживаний, ровной и сравнительно слабой эмоциональной окраской.

Все эти типические фазы развития переживаются и отдельным человеком, и общественной группой-особью: народом, классом. Отсюда — различия в типической психологии общественных групп. Отсюда их взаимное непонимание и неприятие. Но группа, более зрелая в своем развитии, способна принять и понять аналогичное ее прошлому, группа молодая не может принять то, что аналогично ее будущему. То же повторяется и в области индивидуальной психологии. Следует подчеркнуть здесь отсутствие скачков на общем пути такого органического развития. Могут быть лишь в известных — сравнительно незначительных — пределах отклонения к замедлению и ускорению процесса.

Если мы эту гипотезу применим к уяснению типического развития обычного среднего человека, то скала его художественного развития и воздействия на него искусств получится, примерно, такая: сначала театр, как наиболее синтетическое из искусств, потом — искусство слова и танца, музыка, в ее отвлеченном специфическом содержании, и, наконец, пространственные искусства. Среди них более доступными являются живопись и скульптура, менее волнует архитектура. Ее переживание и восприятие приходит под конец. Следует, наконец, заметить то, что возможно гипертрофированное, очень углубленное и утонченное развитие в какой либо сфере душевной жизни при крайней рудиментарности ее прочих сторон и способностей.

Такая эволюция типична не только для отдельной личности, но и для общественных формований. Общественные классы неизбежно проходят сходный путь.

Если суть наших наблюдений, как руководящую нить, использовать для понимания психики Белинского, то многое странное, как будто необъяснимое, станет достаточно ясным и закономерным. Мы пойдем возможность существования недоразвитости одних сторон его душевной организации с большой утонченностью и напряженным строем других. Рядовое, типическое в нем развивалось в некоей таинственной взаимо-обусловленности с исключительным, резко индивидуальным. Первое проявлялось в общем развитии, второе —

в специальных интересах. Неизбежная борьба этих двух начал завершалась по-разному. Воздействие первого снижало творческие порывы, но делало прочнее результаты. Победа второго создавала неожиданные просветы, взлеты, откровения. Тончайший и глубокий знаток искусства слова, Белинский в способах его восприятия и оценки достиг больших высот и сказочного по своей необъятности горизонта. Здесь его громадная фигура во временной перспективе будет ясно видна еще многим будущим поколениям, будет поражать их чистотой внутреннего облика, гениальной верностью взятого направления.

Посмотрим, однако, какие искусства и чем волнуют Белинского не как специалиста, но как дилетанта, как „человека толпы“.

Он увлекается прежде всего театром и актером, — тем родом искусства, которое, будучи по преимуществу синтетическим, в основе своей имеет действие внешнее и внутреннее (развитие драмы и характеров). Среди всех искусств оно больше всего вызывает переживаний с типично двигательной основой. Оно особенно сильно заражает зрителя действенным сочувствием совершающемуся перед ним, как непосредственно данной драматической реальности. Поэтому театр есть ближайшая возможность художественных восприятий, наиболее доступная для зрителя с примитивной психикой. И Белинский был таким зрителем, очень редко и случайно уклоняясь в сторону профессионального критического отношения к театру и его живому творцу—актеру. С большим интересом за кулисами театра он относится к актеру в жизни. Его волнует актер не столько как художник, мастер, сколько как человек с теми или иными сторонами характера. Таково отношение Белинского, например, к М. С. Щепкину. И только на фоне такого типичного и „среднего“ отношения к искусству театра великий талант и чутье Белинского иногда высекают и здесь замечательные искры глубоких прозрений.

Искусство танца близко театру и по тем же причинам доступно массовому восприятию, человеку толпы. Оно интересует и Белинского. Время-от-времени бывает он в балете. Нравится, очень нравится. Но не волнует прочно и надолго. Тальони видел, был восхищен, но другой раз видеть не хотел бы. И это очень характерно. начинающемся расчленении искусств танец абстрагирует движение, динамическую пластику человеческого тела. Здесь меньше того что немцы называют „вчувствованием“, меньше сложных ассоциаций меньше восприятий привычных и приятных движений, а потому и меньше чисто индуктивного воздействия на двигательные центры зрителя. Простой танец и понятнее, и увлекательнее в этом отно-

шении, действует непосредственно. Так происходит с людьми толпы. Так случилось и с Белинским.

Музыка в ее отвлеченной специфической форме, конечно, еще дальше от среднего человека в начальной стадии его эстетического развития. И если она на него оказывает действие, то бес- сознательно эмоционально, сильным непосредственным захватом. Трудно сказать, чтобы Белинский особенно любил музыку. Но можно определенно сказать, что он ее мало знал и, пожалуй, мало понимал. Однако действие музыки на него иногда было громадно. Так, в письме к Бакунину он упоминает об „одном месте из одной сонаты Бетховена“, могущественное действие которой он сравнивает с впечатлениями своими от игры Мочалова. И этот перевод слуховых восприятий на более знакомый и органически близкий язык двигательных впечатлений очень типичен для примитивной психики неискушенного в музыке человека. „Но несмотря на то, я не помню хорошо этого места и едва ли узнаю эту сонату“¹⁾.

Так, характерным комплексом двигательных и слуховых восприятий приемлемо и устойчиво для психики Белинского определяется круг воздействия на него со стороны разновидностей искусств во главе с властно господствующим над всем строем его душевной жизни по содержанию и форме искусством слова.

Едва ли нужно усиленно подчеркивать в описанных переживаниях Белинского типичность и круга воздействий и вызываемых ими психических комплексов для человека, едва вышедшего в области художественных переживаний из стадии примитива и стоящего на первой ступени в определении своего отношения к обособившимся в замкнутые системы разновидностям искусств.

Организация собственных художественных переживаний, основанных на выделении и отвлечении чисто зрительных впечатлений, оставалась Белинскому всегда более или менее чуждой.

Некоторое переломное значение имела — или, вернее, могла иметь — его поездка за границу, если бы после нее не наступил для Белинского скорый конец.

Эта поездка должна была бы раскрыть ему массу нового материала, новых чисто зрительных впечатлений, не испытанные раньше возможности их творческой организации. Но замечательно то, что почти все это прошло мимо. Увидел он очень мало. А то, что увидел, крайне слабо воздействовало на него эстетически. Если проследить всю переписку Белинского, мы заметим

¹⁾ Письма Белинского, СПб. 1914, стр. 130. Курсив мой. А. Б.

весьма характерную черту: своеобразную зрительно-эстетическую слепоту. Он или не видит, или почти не видит красоты в окружающем. Во всяком случае, не воспринимает ее как нечто доходящее до сознания. Мы не найдем во всем этом обширном материале, — кроме намеков на впечатления от Москвы при первом приезде в нее, ни следа того, что можно было бы назвать пейзажем городским или сельским. Поездка за границу прибавила немного. Новая природа, новые художественные ансамбли городов, прославленные красоты Рейна, величие готических соборов, — все это бледно и безразлично минует, встречает нередко досадливое отношение к себе Белинского. „Я холодно смотрел на удивительные местоположения, на виноградники, на средневековые замки, как реставрированные, так и в развалинах“, пишет он, объясняя эту холодность скверной погодой и присутствием „курителей сигар“ — этих его „естественных врагов“¹⁾.

Причины, конечно, лежали глубже. И это подтверждает непосредственно следующая за цитированными словами фраза: „Вечером прибыли в Кельн. Когда я сказал Анненкову, что решительно не намерен терять целый день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнский собор, — с ним чуть не сделался удар. Он дико хохотал, всплескивал руками — я думал, что с ума сойдет“²⁾.

Равнодушие Белинского к живописи и ее хранилищам проявилось во время путешествия не менее очевидно. Когда он вместе с Анненковым приехал в Дрезден, то причину остановки в письме к жене он объясняет так: „В Дрездене мы остановились по следующим причинам: Анненков давно не был в галлерее, а я — шить белье“³⁾.

Анненкову все же, видимо, удалось завлечь своего спутника в галерею и обратить его внимание на прославленную „Сикстинскую Мадонну“ Рафаэля.

Здесь произошло нечто замечательное. Впечатление Белинского от картины Рафаэля оказалось очень сильным и своеобразным.

Острая, яркая и совершенно новая характеристика картины, данная Белинским, как удивительная и неожиданная вспышка таланта, ставит „неистового“ диллетанта издесь, в этих, как будто случайных для него впечатлениях и отзыве, бесконечно выше той средней массы присяжных знатоков и ценителей, которые считают себя призванными судьями искусства.

1) Письма, III, стр. 247.

2) Письма, III, стр. 247.

3) Письма, III, стр. 240.

Характеристика эта может быть особенно четко почувствована при контрастном сопоставлении с отрицаемой в этом периоде Белинским романтической оценкой картины. Самым выразительным образом ее может послужить дирамаб Сикстинской Мадонне Жуковского. Припомним, как он сначала ищет уединения, полной замкнутости созерцания, которое, по его мнению, есть „наслаждение самим собою“¹⁾. „Не понимаю,—продолжает он далее,—как могла ограниченная живопись произвести необъятное; пред глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, всё неограниченно. И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека. Все происходит на небе; оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный Ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь: можно сказать, что все, и самый воздух, обращается в чистого Ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей Девы... И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслью. Он писал не для глаз, все обнимающих в мгновение, но для души, которая чем более ищет, тем более находит. В Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь, в каком-то таинственном соединении, все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного, а для нее нет уже случая—все совершилось); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает Младенца; но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта Богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол Божий, чувствующий величие сидящего. И Он, как Царь земли и неба, сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же никуда не устремленный взор; но эти глаза блистают, как молнии, блистают тем вечным блеском, которого ничто ни произвести, ни

1) Сочинения В. Жуковского, СПб. 1835, стр. 246.

изменить не может. Одна рука младенца с могуществом Вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землею¹⁾.

Душа романтика, представителя высокой, утонченной, аристократической культуры, явно раскрывается пред нами в этом лирическом излиянии, многоречивом, пышном, приподнятом. Картина — повод для истока собственных чувств зрителя, для созерцания им в глубинах своего „я“ малейших субъективных изгибов эмоций и настроений. Полная свобода в толковании сюжета, психологии изображенных лиц, в символическом обобщении намерений художника, пренебрежительное отношение к толкованию других — людей толпы, художников-копиистов²⁾.

Замечательно то, что Мадонна в восприятии Жуковского очищена, обескровлена, отвлечена от всего телесного, земного. Как это характерно для психики представителя общественной группы, у которой эпоха земной мощи, расцвета материальной силы осталась уже позади, а впереди — неизбежное и постоянное увядание, уход из жизни.

Прочтем теперь то, что пишет на ту же тему в письме к Боткину Белинский: „Был я в Дрезденской галлерее и видел Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский. По моему, в ее лице так же нет ничего романтического, как и классического. Это не мать христианского Бога: это аристократическая женщина, дочь царя, *ideal sublime du comme il faut*. Она глядит на нас не то, чтобы с презрением, — это к ней не идет, она слишком благовоспитана, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением, даже людей, она глядит на нас не как на каналий: такое слово было грубо и не чисто для ее благородных уст; нет: она глядит на нас с холодною благосклонностью, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас. Младенец, которого она держит на руках, откровеннее ее: у ней едва заметна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь рот дышит презрением к нам, ракалиям. В глазах его виден не будущий Бог любви, мира, прощения, спасения, а древний, ветхозаветный бог гнева и ярости, наказания и кары. Но что за благородство, что за грация кисти. Нельзя наглядеться. Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний. Не даром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре“³⁾.

1) Ор. cit., стр. 246—249.

2) См. начало и конец письма — стр. 243, 244, 250.

3) Белинский, Письма, III, стр. 244—245.

Эта характеристика — сложное и очень интересное отражение не только индивидуального вкуса, жизнеощущения Белинского, но и всей исторической обстановки момента. На фоне отживания крепостного уклада с его цветом — барской культурой, мерцающей последней осенней роскошью романтического одеяния, появляется, растет и крепнет первая поросль молодой будущей России, принимает первые более или менее ясные очертания в своем душевном строе группа разночинной интеллигенции, вышедшей из средних слоев общества. Ее психика примитивна, алчна к *этой*, земной, полнокровной жизни, реалистична и материалистична в своем восприятии мира, в своих устремлениях, в своих оценках. Пред нею упала туманная завеса навеянного извне, чуждого ей пока органически романтизма, и вещи представляются ей не в таинственном, зачарованном полумраке, призрачными видениями, а в дневном, остром и четком освещении. Вещи и их отношения кажутся ясными, простыми, может быть слишком простыми. Но зато более, чем когда-либо, ощущается и открывается весь процесс их материального генезиса.

Конечно, для Белинского — разночинца, пережившего бурный душевный перелом, ощущающего после него, несмотря на личное умирание, всю полноту биения пульса жизни в общественной группе, породившей его, — поэтому оптимиста и реалиста по жизнеприятию, — сентиментально-романтическая абстракция образа Рафаэля не приемлема. Он приемлет это создание, как живую реальность чуждого ему аристократического строя, порядка и жизни. Он обращается к сюжету картины с примитивной, однобокой, но острой и захватывающей по интересу, весьма предвосхищающей будущее попыткой того, что получит позднее более четкий облик „классового“ подхода, „классовой“ точки зрения. Его „плебейский“ анализ аристократической психики отличается чуть-чуть ироническим добродушием, характерным для молодой общественной силы, ясно сознающей свою цену и свой удельный исторический вес.

Конечно, все эти высказывания Белинского не более доказательны в общем, чем и излияния Жуковского, захватывая весьма спорную и субъективную область толкования сюжета и психологического содержания в картине.

Но Белинский здесь обращает внимание и на нечто более объективное. Он через головы по крайней мере двух поколений уже не-дилетантов, а специалистов, чутко подходит к чисто формальной ценности художественного произведения.

Вспоминая, далее, пред творением Рафаэля родную литературу и ее гиганта — Пушкина, Белинский мимоходом бросает глубокую, не использованную до сих пор мысль о конгениальности двух ве-

ликих художников, о внутреннем сродстве не только содержания их творчества, но и художественной формы. И в том и в другом отношении Белинский вновь оказался безмерно выше и своих современников и породившей его общественной группы.

Следует, однако, сказать, что это была одинокая вспышка, которая, повидимому, не повторилась. Больше того, в том же письме, тотчас после замечательных строк о Сикстинской Мадонне, Белинский характерно сообщает о своих прочих впечатлениях от живописи Дрезденской галереи. „Понравилась мне сильно картина Микель-Анджело—Леда в минуту сообщения с лебедем; не говоря уже о ее теле (особенно *les fesses*), в лице ее удивительно схвачена мука, смерть наслаждения. Понравилось и еще кое-что, но обо всем писать не хочется“¹⁾. Здесь ясно, как интерес сюжетно-психологический, интерес сексуального типа закрывает собою чистое переживание художественной формы, и как все остальное содержание Дрезденской галереи — с рядом объективно замечательных вещей — по существу не затронуло уже и не вызвало обостренного внимания, яркого переживания. А дальше следуют уже описанные нами путешествие по Рейну и отказ от осмотра Кельнского Собора.

Париж не дал также много для зрительных эстетических впечатлений Белинского. Художественные сокровища „столицы мира“ законодательницы европейского искусства последних полутора веков, просто не были замечены. Он, повидимому, так и не посетил ни одного из парижских художественных хранилищ, ни одной художественной выставки. Но парижский пейзаж все же действие, — и, видимо, достаточно сильное, — произвел. „Меня с первого взгляда никогда и ничто не удовлетворяло — даже Кавказские горы; но Париж с первого же взгляда превзошел все мои ожидания, все мечты. Тюльерийский дворец, с его площадью, обсаженной каштанами, с его террасою, с которой смотришь на *place de la Concorde* (что прежде была площадь Революции), с ее обелиском, великолепными фонтанами — это просто, братец ты мой, Шехеразада. Вечером поехали мы (Герцен с Натальей Александровной, я и Анненков) в Пале-Рояль: новое чудо, новая Шехеразада. Представь себе огромный четверугольник залитых огнем роскошных магазинов, а в середине каштановый лес, с большим бассейном, в центре которого бьет в форме плакучей березы огромный фонтан. Вечер был до того тепел, что так и тянуло стать под самый фонтан, чтоб осветиться его холодными брызгами. Но обо всем этом лучше говорить чем писать“²⁾.

1) Белинский. Письма, III, стр. 245. 2) *ibid*, стр. 248.

Это — последнее, что мы знаем о художественных, чисто зрительных впечатлениях Белинского. Трудно сказать, насколько поездка за границу, давшая вообще много Белинскому, могла обострить и усилить эту неразвитую достаточно грань его душевной жизни. Возможно, что богатое содержание его психики, характерные для него свежесть и гибкость переживаний могли бы раскрыть ему новую область художественных радостей и мук. Но тогда он ушел бы далеко вперед из рядов родной ему разночинной интеллигенции, ушел бы лет на двадцать пять — тридцать к многосторонним художественным интересам Стасова и связанной с ними эпохи.

Интересно сопоставить в заключение психологию Белинского, как типичного разночинца, с душевным складом и интересами людей, его окружавших, ему близких, нередко друзей, но принадлежащих к иной культуре, культуре барской.

Вспомним рядом с характерной узостью интересов Белинского широту запросов таких людей, как Гоголь, Жуковский, Герцен, приятель Белинского Анненков, их распределенное внимание на все виды художественного творчества. Почти все они были если не знатоками, то тонкими, с воспитанным глазом, ценителями пространственных искусств. Они были наследниками накопленной рядом поколений мудрости культуры, взгляда на мир с возможной для их среды и времени высшей и синтетической точки зрения. И вполне понятно описанное самим Белинским душевное состояние Анненкова при отказе приятеля видеть прославленное чудо готики.

Но Белинский был полон молодым задором, откровенным самоощущением развертывающейся силы молодой общественной группы, смело берущей от жизни по своей потребности. Там — утонченная, многосторонняя, но увядающая и без яркой воли к жизни культура. Здесь — молодой „варвар“ с определенным „хочу“, с узким, но мощным направлением своей воли в сторону ближайших, наиболее действительных задач, с неожиданной глубиной и субъективной страстностью своих утверждений, своих отрицаний. Там — осень, сумерки, прошлое. Здесь — ясное, холодное, весеннее утро, символ настоящего и бодрого будущего — пора пробуждения вкуса к культуре у недавно родившейся разночинной интеллигенции. И на этом сложном фоне становится особенно характерным и острым, как собранный в одном густом тоне силуэт, четкий образ Белинского. Типическое в этом образе — от его классовой природы, индивидуальное — от тех прорывов в глубины общечеловеческого, которые обуславливают собою все наиболее прочное и значительное, чем Белинский будет жить в памяти грядущих поколений.

Белинский и Тургенев.

По меткому слову Тургенева, Белинский был центральной фигурой своей эпохи. Ряд признаний людей 40-х годов подтвердил справедливость этой характеристики, — Некрасов, Достоевский и многие другие давно поведали, чем они были обязаны „неистовому Виссариону“, какое возбуждение получали в беседах с ним, какие мысли загорались в них при чтении его статей. Тургенев также не раз говорил, что Белинский „повлиял на него своими беседами“.

Учесть это влияние, наметить то направление, куда толкал Белинский своих современников, от чего отталкивал, связать главные нити мировоззрения Белинского с встречаемыми и однотипными в сознании его друзей-читателей — значит определить эту центральную фигуру критика. Чем больше будет собрано фактов, говорящих о вовлечении Белинским его читателей и слушателей на тот путь идеологического развития, по которому он сам двигался, превращая инакомыслящих в единомышленников, противников — в друзей, тем ясней будет значение Белинского как организатора сознания людей своего времени.

От романтизма философского и литературного, истинного и ложного к реализму эстетическому и социальному шел он и звал на ту же дорогу всех, указывая на ее неизбежность для каждого, кто хотел жить вровень с веком, кто стремился действовать, кто в борьбе, а не в спокойном созерцании видел смысл жизни.

Тургенев познакомился с Белинским в те годы, когда последний уверенно чертил узор своих идеалов, когда он был весь охвачен „идеей общества“, понял свою социальную роль, считал единственным „источником интересов, целей и деятельности — субстанцию общественной жизни“, когда отрицание стало его богом, когда думы о меньших братьях, живущих в нищете и невежестве, вызывали страстную ненависть против порядка, предоставлявшего блаженство жизни немногим избранныкам, забывающимся „в мире искусства, религии, истории“. Критические статьи, насыщенные этой социальной тематикой, и в особенности устные речи Белинского не прошли бесследно для молодого философа-гегельянца, мечтавшего о научной карьере, далеко не в первую очередь выдвигавшего в начале 40-х годов вопрос об общественных язвах.

С 1843 по 1846 год продолжалось самое близкое общение между Белинским и Тургеневым; особенно часты были встречи в Петербурге перед январем 1847 года и летом 1847 года в Зальцбрунне, где лечился Белинский. Тургенев шел к нему „отводить душу“, по его собственному признанию; в эпоху зловещей реакции, „темной тучей“ висевшей над мыслящей Россией, когда „во всех (были) страх и приниженность“, в приятельской беседе „затеется разговор—и легче станет“... Темы разговоров были „большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства.. общий колорит наших бесед (вспоминал Тургенев) был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно“... Признания Тургенева дают ключ к уяснению типа того идейного возбуждения, которое его окружало в обществе Белинского: оно было прежде всего отрицательным к современным господствующим идеологиям и общественному порядку. Фейербахизм в философии и эстетике, социальный позитивизм в оценке политических явлений, отчетливо пробивающиеся в письмах, статьях Тургенева середины 40-х годов, утверждались в его сознании помимо общего европейского и русского идеологического движения именно здесь, в кружке Белинского. Многие замечания в критических рецензиях Тургенева можно объяснить только тем, что автор набрасывал их, еще не остыв после жарких прений на острые темы, дебатировавшиеся в квартире „неистового Виссариона“. В устах индивидуалиста, преклоняющегося перед Гёте — этим заступником „за права — не человека вообще, нет — за права отдельного, страстного, ограниченного человека“, не совсем обычно слышать признание, что „краеугольный камень человека не есть он сам, как неделимая единица, но человечество, общество, имеющее свои вечные, незыблемые законы“. Питомец романтической школы, Тургенев отдает дань благоговения гению Гёте, но, считая „Фауста“ „величавым и прекрасным произведением“, он в то же время оговаривается характерным замечанием: „Мы идем вперед за другими, может быть, меньшими талантами, но сильнейшими характерами, к другой цели... Повторяем: как поэт, Гёте не имеет себе равного; но нам теперь нужны не одни поэты... мы (и то, к сожалению, еще не совсем) стали похожи на людей, которые, при виде прекрасной картины, изображающей нищего, не могут любоваться „художественностью воспроизведения“, но печально тревожатся мыслью о возможности нищих в наше время“¹⁾. За этой тирадой явственно звучит голос Белинского,

¹⁾ „Отеч. Записки“ 1845, т. 38, № 1.

особенно остро испытывавшего социальную скорбь с начала 40-х годов и отдавшего предпочтение беллетристам, откликавшимся на современные тревоги, перед гениями, ушедшими в мир индивидуальных интересов хотя бы и в яркой художественной оправе. Тургенев, заявлявший об „иных целях“, возвышавший активное жизнетворчество над созерцательным мироощущением в поэтическом факте, лишь отражал суждения своего друга, в глубине своего „я“ заряженный противоположным настроением. Если бы не было сохранено этой тирады в собрании сочинений Тургенева, им самим приготовленных к печати, могло бы казаться, что она была внесена в журнальный текст самим редактором критического отдела.

В том же направлении усиления политических тенденций, углубленного осознания социальной роли писателя толкал Белинский Тургенева как автора „Записок охотника“. Начатые в манере физиологических очерков, не претендуя на значение тарана против крепостного права (как это казалось многим читателям по выходе „Записок“ отдельным изданием в 1852 году), являясь скорее этнографической прогулкой по полям и имениям, селам и рощам любителя русской природы, охотника-трубадура с ружьем за плечами и с лирой в руках, „Записки охотника“ с лета 1847 года стали насыщаться социально-динамичным содержанием. Рассказ „Бурмистр“, помеченный июлем 1847 года Зальцбрунн в Силезии, наглядно подчеркивает свою связь с идейным настроением автора знаменитого письма к Гоголю, писавшего свои гневные строки 15 июля 1847 года в том же Зальцбрунне, на глазах Тургенева. „Контора“ и „Два помещика“ следуют тому же тону, являясь, по слову одного исследователя, яркой художественной аргументацией характернейших положений письма Белинского.

Отголосок настроений Белинского, рвавшегося к шумным битвам жизни, пришедшего к убеждению, что уединенная жизнь кружковой интеллигенции не может заменить нормально развитой общественной среды, что „почва, воздух, пища“ каждого отдельного индивидуума коренятся в сумме тех „принципий“, которыми живет общество, что современное ему поколение потому страдает, что нет ему места в живой общественной работе—отголосок этих убеждений попал на страницы рассказа Тургенева „Гамлет Щигровского уезда“ („Современник“ 1849, № 2). Известная характеристика „кружка“... in der Stadt Moscau, вложенная автором в уста Василия Васильевича, по моему мнению, есть не что иное, как отражение устных бесед Белинского с Тургеневым, когда критик вспоминал в Петербурге о своей московской жизни, о тех годах, когда он, окруженный молодыми друзьями—Станкевичем, В. Боткиным, М. Бакуниным, Ключ-

никовым И., Красовым, — толковал с ними „о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах“. Тургенев искусно поступил, заставив именно Гамлета Щигровского уезда едко отзываться о московском кружке: прототип этого литературного героя, И. П. Ключников, Мефистофель кружка Станкевича, над всем смеявшийся (начиная с самого себя), был очень удобным материалом, имел подходящие качества своей натуры, чтобы подмечать только теневое в жизни кружка. Но, разумеется, не от Ключникова и не от Станкевича или Боткина автор получил запас сведений о кружковых идеалистах в критическом освещении: то, что эти лица рассказывали ему (да и сам Белинский в иные минуты своих воспоминаний), вошло в описание кружка Покорского в романе „Рудин“¹). Лирический и саркастический тон двух описаний одного и того же кружка нельзя объяснить тем, что Тургенев изменил с течением времени личный взгляд на московский кружок, в котором сам он не вращался, но с участниками которого был близок. Тургенев в обоих случаях располагал устным преданием, сообщенными ему рассказами, а не личным опытом. Можно думать, что вдохновенные страницы „Рудина“ о глубочайшем воздействии, которое оказывал кружок на его членов, были подсказаны Тургеневу впечатлениями петербургского кружка Белинского, обаянием личности главы кружка. Покорский — образ не только Станкевича, но и Белинского. Резко противоположная оценка того же московского круга, его давящего, губительного действия на участников дружеской жизни могла появиться в рассказе Тургенева, как отражение подлинных бесед Белинского и его статей, известных автору „Гамлета Щигровского уезда“. Подробная характеристика людей „романтической породы“ в его статье — „Взгляд на русскую литературу 1847 года“ („Современник“ 1848), пропитанная субъективными впечатлениями, могла подкрасить тот материал воспоминаний о московской жизни Белинского, коим располагал Тургенев с его слов.

Припомним, как отзывался о московском кружке Белинский в начале 1840-х годов, в пору мучительной выработки социального мировоззрения, боевых схваток с Мишелем Бакуниным, освобождения от миражей юношеского идеализма, абстрактных утопий, когда он восклицал: „пока в душе останется хоть искорка, а в руках держится перо, — я действую. Мочи нет, куда ни взглянешь — душа возмущается, чувства оскорбляются“ (14 марта 1840). Его тянуло

¹ Фактический материал о Московском кружке Станкевича, воспроизведенный Тургеневым в „Рудине“, был сообщен преимущественно В. П. Боткиным, что подтверждается одним неизданным письмом Н. А. Некрасова.

к действительной жизни, к деланию не того, что должно, а что можно; он был горд сознанием, что он, литератор, может быть полезным обществу. В таком настроении кружковая жизнь ему казалась нездоровым наростом, ненужным и лишним придатком: „Что мне за дело до кружка — во всякой стене, хотя бы и не китайской, плохое убежище“ — писал он В. П. Боткину 14 марта 1840 года. Он боится за Николая Бакунина, как бы тот не ушел от жизни, предавшись своему маленькому родственному кружку: „в этом кружке хорошо быть гостем и отдыхать от борьбы с жизнью, но не жить в нем. Всякий кружок ведет к исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезные для кружка, странные, непонятные и неприятные для других. Но это бы еще ничего; хуже всего то, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка, а все это — им. Я сужу по собственному опыту. Наш кружок был обширнее вашего, характеры и личности разнообразнее, ибо тут сошлись люди не родные, не односемейные, а со всех 4-х сторон света; но, боже мой! Грустно вспомнить об этой ограниченной исключительности, с какою мы смотрели на весь мир... Я и теперь еще не вполне вылечился от этой болезни „кружка“, но уже — слава аллаху — далеко, далеко не таков, каким вы меня знали“, — писал Белинский Н. Бакунину 9 декабря 1841 г., указывая ему, что настоящая жизнь должна быть в мире, что кружок не должен быть меркою мира, что „мир есть жизнь в общем значении“. Былые настроения, типичные для кружка, он называл в эти годы москводушием, а москводушие было для него теперь „лютейшим врагом“ (16 апреля 1840 г.).

Вчитываясь в характеристику „кружка... in der Stadt Moscau“ в рассказе Тургенева, нетрудно уловить отрицательные признания Белинского, вложенные в уста Гамлета Щигровского уезда.

Тургеневский персонаж находил „ужасным“, что кружок был „безобразной заменой общества, женщины, жизни“. Белинский, характеризуя „немощи кружка“, между прочими недостатками отмечал, что участники его „жили в искусственном уединении, как бы в монастыре... в них не было жизни, потому что не было действительной связи с жизнью общей, потому что они по самолюбию и по слабости удалились от сближения с людьми и ограничились избранными душами“¹⁾. В 1841 году он полемизирует с В. Боткиным по поводу утверждения московского друга, будто „наша дружба дает нам то, чего никогда бы не могло нам дать общество“: „мысль

¹⁾ Собрание соч., под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 174. Рецензия 1846 г.

глубоко несправедливая, ложь вопиющая! (воскликнул Белинский). Увы, друг мой, без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные. Вся наша жизнь, наши отношения служат лучшим доказательством этой горькой истины“ (27 июня 1841 г.).

„Кружок — да это пошлость и скука¹⁾ под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия“, — резко бичевал кружковую жизнь Василий Васильевич.

Белинский, обращаясь к Боткину с напоминанием о „дружеских отношениях“, рисовал ему следующую картинку прежней московской жизни: „Помнишь, я, бывало, нагонял на тебя тоску и скуку толками о своей любви... Винить ли мне себя или тебя, что тебе бывало иногда тошновато слушать одно и то же? Я не скажу, чтобы я твои толки слушал со скукою, но, признаюсь, иногда слушал их без участия, а между тем, я уважал твое чувство. Отчего же это? Видишь ли, в чем дело, душа моя: непосредственно поняли мы, что в жизни для нас нет жизни, а так как по своим натурам без жизни мы не могли жить, то и ударили со всех ног в книгу и по книге стали жить и любить, из жизни и любви сделали для себя занятие, работу, труд и заботу. Между тем, наши натуры всегда были выше нашего сознания, и потому нам слушать друг от друга одно и то же становилось и скучно и пошло²⁾, и мы друг другу смертельно надоедали. Скука переходила в досаду, досада во враждебность, враждебность в раздор“ (8 сентября 1841 года). В другом письме к В. П. Боткину Белинский еще резче отзывался о былых отношениях: „Мы любили друг друга, любили горячо и глубоко — я в этом убежден всею силою моей души; но как же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз — мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга, мы предавали друг друга, мы с ненавистью и бешеной злобой смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из наших, и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, иставали и исходили любовью друг к другу, а сходились и виделись, холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расходились

1) Курсив наш.

2) Курсив наш.

без сожаления. Как хочешь, а это так“ (27—28 июня 1841 г.). Историк московского кружка знает, как много было „недоразумений“ между его членами: ссоры Белинского с М. Бакуниным, Бакунина с Катковым, столкновения Боткина с Белинским и Бакуниным, И. Ключникова с Белинским,— весь этот богатый материал для характеристики внутренней жизни кружковых идеалистов, нашедший место в переписке Белинского, сообщенный Тургеневу, запечатлелся в короткой тираде Гамлета Щигровского уезда. „Мы наделали друг другу пакостей — это была дань духу нашего кружка“, — писал Белинский М. Бакунину 26 февраля 1840 г. „Я от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного; в котором несколько человек взаимно делали счастье друг друга и взаимно мучили друг друга“. Достаточно припомнить, как интимные переживания всех участников кружка становились предметом общих обсуждений, как любовные истории Станкевича и Л. Бакуниной, В. Боткина и А. Бакуниной, чувства Белинского по адресу Татьяны Бакуниной немедленно подвергались всестороннему анализу, как много ран причинялось всеми ими друг другу при этих психологических операциях, как властно третировал или благословлял своих друзей на сложные душевные переживания Мишель Бакунин, как вовлекал он их в свои семейные истории (эпизод с Варварой Бакуниной), как растревляли они чужие тайны, не считаясь с честью лиц, не принадлежащих к их кружку (эпизод Каткова и Щепкиной, его же и М. Л. Огаревой); достаточно припомнить все эти факты, красочно рассказанные в переписке Белинского, Бакунина, Станкевича, Боткина, чтобы понять глубокую правду в резких словах тургеневского героя: „в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе“¹⁾.

„Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела“, — продолжает свои нападки на кружок Василий Васильевич, почти буквально повторяя мнение Белинского: „ты упрекаешь меня в нападках на наш кружок (писал он М. Бакунину 26 февраля 1840 г.), говоря, что прежде он был лучше и что теперь его уже нет. Я рад этому... Мы не друзья теперь, говоришь ты с грустью, а только приятели: но были ли мы и тогда друзьями? Основа нашей связи была духовная родственность — правда; но не вмешивалось ли сюда и обмена безделья, лени, похвал, т.-е. взаимнохваления и т. п.?“.

¹⁾ См. также: „в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников“...

„Кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной¹⁾ болтовне... прививает вам литературную чесотку“, — таково мнение тургеневского героя, лишь кратко изложившего известные страницы в статье Белинского — „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, где в связи с Адуевым дана характеристика „круга избранных друзей“, беседующих друг с другом „о своих ощущениях, чувствах и мыслях“, „беспреданно болтающих о дружбе“ или „о драгоценной своей особе“. Независимо от этой злой характеристики, насыщенной кое-где выпадами против одного из самых близких некогда Белинскому друзей (М. Бакунин), стоит припомнить эпистолярные диссертации, коими обменивались участники московского кружка, их длительные беседы литературного типа, чтобы признать в словах Гамлета Щигровского уезда отражение подлинного опыта кого-то из близких к этому кружку, впоследствии в нем разочаровавшегося.

„Книжный“ характер кружковых рассуждений „о женщинах и любви“, отмеченный в монологе тургеневского героя („в кружке... хитро и мудрено толкуют...“), находит подтверждение в многочисленных признаниях Белинского, что он сам и его друзья нередко жили в мире „призраков“, любили „по книге“, „по теории“²⁾. Мнение, что кружок „лишает вас свежести и девственной крепости души“, можно было бы обосновать не малым количеством цитат из трехтомной переписки Белинского, зачертивших насильственное втеснение в теоретические узы многих из участников кружка, с болью отрывавших от себя усвоенные схемы: „болезненная рефлексия“ Белинского в эпоху бакунизма, „искусственные“ страдания В. Боткина в период его увлечения одной из прямухинских обитательниц, — факты, красноречиво говорящие о надломах, вывихах душевных переживаний тех, кто позднее ратовал за ясность и естественность в жизненных отношениях³⁾.

Есть основание предполагать, что со слов Белинского попали в тираду Гамлета Щигровского уезда характеристики некоторых

1) Эпитет „бесплодный“ уместно сопоставить со следующими строками в статье Белинского: „вообще они богато одарены от природы душевными способностями, но деятельность их способностей чисто страдательная: иные из них много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать, производить“. — Сочинения, т. XI, стр. 125.

2) Ср. в письме к В. Боткину 31 марта 1842 г.: „Нельзя вспомнить без горького смеха, как мы из грусти делали какое-то занятие и вели протоколы нашим ощущениям и ощущениями... Боже мой! Сколько бывало толков о любви! А почему? — Эта вещь была загадкой“...

3) См. письма к В. Боткину 16 дек. 1839 — 10 фев. 1840 (Письма Белинского, т. II, стр. 13).

участников кружка Станкевича: „В кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с „затаенными“ мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой,—да и о чем говорят!“. В первом нетрудно угадать Михаила Бакунина,—таковым он проступает во многих письмах Белинского; картинка, рассказанная Белинским (в письме к Боткину 3—10 февраля 1840 г.): „нас губил китаизм, а не прекраснородные. Мы весь божий свет видели в своем кружке. Появилось стихотворение, повесть—восхитили тебя, меня, Каткова и прочих чудачков, а мы и говорим, что публика поняла это сочинение“,—эта картинка, подтверждающая признание Василья Васильевича, приводит на память известный факт восхищения в московском кружке стихотворениями И. П. Ключникова (-Θ-), которого в пору гегельянства ставили по идейному содержанию выше Пушкина, о чем впоследствии со стыдом вспоминал Белинский: „Какое страдание, если стишонки Красова и —Θ— были фактом жизни и занимали меня, как вопросы о жизни и смерти?“ (в письме к В. Боткину 6 февраля 1843 г.)¹). Кого имел в виду Гамлет Щигровского уезда (т. е. в данном случае Белинский), говоря о „семнадцатилетних малых“ в кружке—точно нельзя назвать, но возможно, что здесь дан намек на „юношу“ Каткова или на „ребенка“ Алексея Бакунина, которому Белинский предрекал „болезненную рефлексию“, отравляющую „всякое полное наслаждение жизнью“, зато, что тот „резонерствует „с ученым видом знатока“ о любви, о браке, о Шиллере, о Гёте, которых не понимает“ (в письме к В. Боткину 16 декабря 1839 г.)...

Итак, „ein кружок... in der Stadt Moscau“ в рассказе Тургенева, резко отрицательно очерченный рассказчиком,—это московский кружок, так называемый кружок Станкевича в позднюю пору его существования, на закате его жизни,—кружок, зарисованный в свете петербургских настроений Белинского. Только он, Белинский, мог сообщить Тургеневу материал об этом кружке в подобном освещении: признавая много ценного за московским кружком,—„Серапионовский круг (Гофмана) напомнил мне наш московский—и много сладких и грустных ощущений прошло по моей душе... Я встречал и вне нашего кружка людей прекрасных, которые действительно нас; но нигде не встречал людей, с такой ненасытимой жаждою, с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы“²),—

¹) Ср. также мнение о Красове (Письма Белинского, т. II, стр. 114).

²) Письма, том, II стр. 107, 263, 264.

Белинский в тот период своей жизни, когда социальные интересы звали его к действию на широком поприще, когда воспоминания о бесплодно прожитых годах юности жгли его колючими страданиями, неприязненно припоминал „китаизм“ московского кружка: ограниченность и эгоизм, душевная ломка и книжная наигранность чувств и мыслей, царившие в кружке, заостренно проступали в памяти, затеняя иные „прекрасные“ стороны московской жизни. Тургеневу особенно понятны были в нападках Белинского указания, что кружок убивал индивидуальность, лишал личность „самобытного развития“, „свежести“ и оригинальности. Он сам немало страдал (судя по воспоминаниям П. В. Анненкова), испытывая гнет кружковых „правил поведения“, готовых доктрин, более или менее строгих, за исполнением которых тщательно следили. „Нападая на кружки, Тургенев защищал свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое движение своей мысли и фантазии“¹⁾. Но если резкие оценки кружковой жизни, вырывавшиеся у Белинского, легко воспринимались Тургеневым потому, что ему дорого было своеобразие индивидуального развития, то в тех же оценках он слышал и другое напоминание о том, что „кружок — безобразная замена общества... жизни“. Зов к жизни, к определению своей общественной стоимости, к свободному приятию жизни, не затемненному кружковщиной, к деятельному участию в общественной работе слышал Тургенев из уст Белинского. Резкий выпад против московского кружка, совпадавший с личными воззрениями Тургенева, был скреплен в рассказе „Гамлет Цигровского уезда“ памятью о Белинском, беседами с покойным критиком: монолог тургеневского героя был самозащитой автора в известную пору его жизни, призвавшего на помощь „неистового“ друга, бросившего в борьбе за личное самоопределение резкие слова Белинского.

Н. Бродский.

¹⁾ П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева.

Мышление в образах.

(Белинский, Гончаров, Тургенев).

Слова о том, что поэзия есть мышление в образах, столь общеупотребительны, что в сознании весьма многих как-то затерялось: кто же собственно высказал это положение и в какой именно форме? Поэтому не возникало и вопроса о том, каковы были отзвуки на эту мысль у тех, кто ее воспринял из первых рук.

Все это не мешает восстановить в памяти.

Белинский в своей статье 1841 года „Идея искусства“ говорит: „Искусство есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах. В развитии этого определения искусства заключается вся теория искусства: его сущность, его разделение на роды, равно как условия и сущность каждого рода. Прим. Это определение еще в первый раз произносится на русском языке, и его нельзя найти ни в одной русской эстетике или так называемой теории словесности, и поэтому, чтобы оно не показалось странным, диким и ложным для тех, которые его слышат в первый раз, мы должны войти в самые подробные объяснения“¹⁾. Эта статья Белинского имеет, следовательно, чисто теоретическую задачу: дать основания эстетики или философии искусства. Она носит следы прямого отражения учения Гегеля. Однако вовсе не благодаря этим, представленным у Белинского разъяснениям того, что такое есть мышление в образах, стала у нас так популярна его формула. Да и в устах самого Белинского это эстетико-философское положение, впервые высказанное им в русской литературе, чаще вовсе не имело специфической гегельянской окраски. В таком более общем значении, без прямого обоснования на какой-нибудь философской пози-

¹⁾ Известно, что Белинский еще ранее, именно, в статье, напечатанной в „Московском Наблюдателе“ 1833 г., писал, излагая взгляды немецкого эстетика—гегельянца Ретшера: „Поэзия есть мышление в образах...“. Таким образом, это определение не всецело принадлежит Белинскому. По этому поводу Иванов-Разумник пишет: „подобное определение поэзии встречается и у Гегеля, точно так же, как и до него оно, кажется, встречалось у Шлегеля. В немецкой литературе оно, насколько нам известно, не удержалось“. (Белинский. Собрание сочинений, под ред. Иванова-Разумника, том 2-й, стр. 74).

ции, эта мысль и высказывалась Белинским попутно во многих статьях, написанных после „Идеи искусства“ и до нее, а также составляла излюбленную тему его разговоров о литературе. Интересные отклики этой глубокой мысли Белинского, с таким воодушевлением и постоянством защищаемой им до конца своей деятельности, мы находим у его литературных современников, многократно лично беседовавших с ним.

Так, Гончаров пишет в авторском предисловии к своим романам, в статье „Лучше поздно, чем никогда“: „Художник мыслит образами,—сказал Белинский,—и мы видим это на каждом шагу, во всех даровитых романистах“. „Белинский в своей рецензии об „Обыкновенной истории“ упрекнул меня за то, что я там стал на „почву сознательной мысли“. „Образы так образы: ими и надо говорить“. И, строго следуя завету Белинского, Гончаров считает, что напрасно в одном месте своего другого романа „вставил несколько слов, из которых выглядывает сознание и самого Обломова“. Это его надоумил сделать „один приятель, гонявшийся всегда в произведениях искусства за сознательною мыслью, но мало, вообще, доступный непосредственному действию образа“. По мнению автора, не нужно было говорить и Штольцу в его последнее свидание с Обломовым своих известных слов: „Прощай, старая Обломовка! ты отжила свой век!“. Это—излишнее подчеркивание мысли: „Обломов сам достаточно объясняет себя“,—пишет теперь автор. Это мышление в образах создает художественный реализм, и Гончаров отстаивает его права от посягательств неореализма или, как еще выражались в то время, физиологизма: „Неореалисты пробуют приложить свою теорию к искусству и дают нам иногда и в живописи и в искусстве слова свои снимки будто бы с природы и с жизни, сделанные умом, но эти попытки пока ограничились сухими, бледными и скучными произведениями, пожалуй, ума, но никак не искусства, если не разумеешь под искусством одну технику. Эти снимки никогда не заменят картин, освещенных лучами фантазии, полных огня, трепета и горячего дыхания жизни. Писать художественные произведения только умом—все равно что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами—в воздухе, на деревьях, на водах—не давало бы тех красок, тонов и переливов, которые сообщают красоту и блеск природе. Разве это реально?“. Своё положение, что „пособием художника всегда будет фантазия“, Гончаров аргументирует так: „Ученый ничего не создает, а открывает готовую и скрытую в природе правду, а художник создает подобия правды, т.-е. наблюдаемая им правда отражается в его фантазии, и он переносит эти отражения в свое произведение.

Следовательно, художественная правда и правда действительности — не одно и то же. Явление, перенесенное целиком из жизни в произведение искусства, потеряет истинность действительности и не станет художественною правдою. Поставьте рядом два—три факта из жизни, как они случились, выйдет неверно, даже не правдоподобно. Отчего это? Именно, оттого, что художник пишет не прямо с природы и с жизни, а создает правдоподобия их. В этом и заключается процесс творчества! Ведь, это все азбука эстетики, но переделать этой азбуки, как и самого искусства нельзя“. И далее: „Природа слишком сильна и своеобразна, чтобы взять ее, так сказать, целиком, померяться с нею ее же силами и непосредственно стать рядом; она не дается. У нее свои слишком могучие средства. Из непосредственного снимка с нее выйдет жалкая, бессильная копия. Она позволяет приблизиться к ней только путем творческой фантазии“. Гончаров придавал столь большое значение фантазии в поэзии, что некоторые его утверждения могли бы служить оправданием и чисто фантастического элемента, — хотя сам Гончаров не имел к нему склонности и не оставил ни одного фантастического произведения. Гончаров рассуждает так: „Впрочем, я не такой поклонник реализма, чтобы не допускать отступлений от него. В угоду реализма пришлось бы слишком ограничивать и даже совсем устранять фантазию, впадать, значит, в сухость, в бесцветность, вместо живых образов писать силуэты, иногда вовсе отказываться от поэзии, и все во имя мнимой правды! Но ведь фантазия, а с нею и поэзия даны природой человеку и входят в его натуру, следовательно и в жизнь; будет ли правдиво и реально миновать их?“. Фантазию Гончаров называет еще „органическим свойством человеческой природы“. (У самого Гончарова фантастическими эпизодами являются: фантазия или стихотворение в прозе Райского в „Обрыве“ — конец первой части; сновидения Марфиньки и Верочки в том же романе; сны и сны на-яву Обломова).

Как ни хороши сами по себе приведенные отрывки из очерка Гончарова „Лучше поздно, чем никогда“ (1879), обнаруживающие тонкость и пронизательность его суждений, как эстетика, но в сущности они только повторяют мысли Белинского. Я приведу, напр., следующее место в одной из его последних статей, где Белинский как раз говорит о том же, т.-е. о различии правды художественной и действительной, правды в жизни и в искусстве и о значении фантазии в творчестве: „Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего типического, как бы верно и тщательно ни было списано с природы все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего

верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с природы, мало уметь писать, т.-е. владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь". „Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман и может служить разве только материалом для романа, т.-е. подать повод поэту написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслью во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту черту этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт" („Взгляд на русскую литературу 1847 года"). „Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль, а в науке—ум и рассудок" (там же). Этим принципом фантазии Белинский руководился и в своих критических отзывах о поэзии. Некоторые из них весьма замечательны в этом смысле. Напр., он пишет: „Мы увидели хороший, обработанный стих, много чувства, еще более неподдельной грусти и меланхолии, ум и образованность, но, признаемся, очень мало заметили поэтического таланта, чтобы не сказать, совсем его не заметили". И еще, напр., такой отзыв: „Видишь и ум, и чувство, но не видишь фантазии, творчества". Быть может, определеннее всего Белинский высказался в следующих строках одной своей рецензии: „Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществлять внутренний мир своих ощущений и идей и выводить во вне внутренние видения своего духа". Поэтому, по словам той же заметки Белинского, некоторых авторов следует отнести к разряду людей, „не одаренных художественной фантазией, но одаренных воображением, чувством и способностью владеть языком".

Таким образом, в приводимых до сих пор словах Гончарова не содержится ничего существенно нового по сравнению со словами Белинского. Но в той же своей статье Гончаров дает чрезвычайно значительные признания, бросающие новый свет и полнее освещающие вопрос: что же такое есть мышление в образах или художественная фантазия? Гончаров дает обстоятельное изображение процесса своего собственного творчества: „Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою—и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с

другими,—след., вижу сцены и рисую тут этих других иногда далеко впереди по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все, пока разбросанные в голове части целого. Я спешу, чтобы не забыть, набрасывать сцены, характеры на листках, клочках—и иду вперед как будто ощупью, пишу сначала вяло, неловко, скучно, и мне самому бывает скучно писать, пока вдруг не хлынет свет и не осветит дороги, куда мне идти. У меня есть всегда один образ и вместе главный мотив: он-то и ведет меня вперед—и по дороге я нечаянно захватываю, что попадет под руку, т.-е. что близко относится к нему. Тогда я работаю живо, бодро, рука едва успевает писать, пока опять не упрусь в стену. Работа, между тем, идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров,—и мне часто казалось, прости, Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня и мне только надо смотреть и вдумываться“. И далее: „Если бы мне тогда сказали все, что Добролюбов и другие и, наконец, я сам потом нашли в нем (Обломове), я бы поверил, а поверив стал бы умышленно усиливать ту или другую черту и конечно испортил бы. Вышла бы тенденциозная фигура! Хорошо, что я не ведал, что творю“. Итак, творчество—безотчетно по своей сущности. Забота автора состоит только в том, чтобы закрепить возникающие пред ним образы, действия, разговоры. Но разве все это действительно носится во вне около автора, и ему остается только роль наблюдателя? Конечно, нет. Художественное состояние не есть переживание галлюцинаций, хотя они нередко бывают у художников в результате чрезмерной погруженности в мир фантазии. Ведь художник пребывает как бы в двух сферах—реальной и нереальной, жизни и фантазии; творческое состояние есть сон наяву—художественное сознание, не покидая мира вещей, пропускает в себя видения. Эти художественные видения, будучи переселены в окружающий мир вещей, т.-е. утратившие свою природу чистых образов, становятся привидениями. Творчество, т.-е. создание художественного произведения, является освобождением художника от власти над собой видений. Ср. признания Тургенева, как он спасался работой над своими произведениями от обступающих его образов, и слова Лермонтова о демоне: „и от него отделался—стихами!“ („Сказка для детей“). Этот мир художественных образов есть мир сновидения. Ведь „азбука эстетики“, по словам Гончарова, состоит в том, что „художник пишет не прямо с природы и с жизни, а создает правдоподобия их. В этом и заключается процесс творчества“. Но творить живые подобия действительности, а не снимать только мертвые копии с нее, это и значит создавать новый, особый мир сна, в ко-

тором все живет, но не действительной жизнью, а иной. Обыкновенно как будто не различают двойного смысла, скрывающегося за словом „жизнь“: одно — жизнь действительная, реальная, другое — жизнь нереальная, сновиденная. И когда Гончаров говорит о художественных картинах, как „освященных лучами фантазии, полных огня, трепета и горячего дыхания жизни“, то эти свойства порождаются именно сновидческим воображением. (Ср. слова Белинского о художественной фантазии, как способности „выводить во вне внутренние видения своего духа“). Самое обозначение художественных образов, как живых образов — (а так все называют их в отличие от фигур надуманных, сочиненных, изобретенных рассудком), может иметь только тот смысл, что это — образы сновидения, так как жизни действительной при этом никто разуместь не станет. Однако художникам, на самом деле, свойственно смешивать сны о действительностью, т.-е. картины жизни и природы воспринимать, как сонные видения, и не знать, действительно ли произошли известные события или пригрезились им, а свои сновидения или творческие сны на-яву относить к миру действительности. Все это касается не только авторов с сильным уклоном в сторону фантастики, но и реалистов. Так, Лев Толстой признавался, что о многом в „Войне и мире“ он не может сказать, было ли это на самом деле наблюдено им в жизни (или пережито) или же это только создание его фантазии. Общее же отличие художественных образов от действительных состоит в том, что художественные образы — сплошь живые, в особом смысле, тогда как в действительности мы различаем тела живые и неживые, одушевленные и неодушевленные. В художественном мире все проникнуто определенной индивидуальностью творца его, и картины мертвой природы так же существенно различны по своему духу у отдельных авторов, как и картины из жизни человека и пр. То-есть, в художественных произведениях происходит совершенно то же, что в наших снах, в которых все без исключения живет и все напоено индивидуальностью сновидца. Сновидческая влага, текучесть отождествлений образов между собой, характеризующая наши сны, и есть то, что сливает, пропитывая собою, все изображенное в художественном произведении в некое особое единство, то таинственное единство многообразия, о котором, как главном принципе художественности, говорят, не постигая его подлинного значения, эстетики, начиная с Аристотеля. Специфическое художественное единство — в отличие от единства механического, химического, органического и др. — есть единство сновидческого многообразия, точнее, единство сновидческого отождествления образов друг с другом.

„Всего страннее, необъяснимее кажется в этом процессе то, — пишет Гончаров в том же своем очерке „Лучше поздно, чем никогда“ о процессе творчества, — что иногда мелкие, аксессуарные явления и детали, представляющиеся в дальнейшей перспективе общего плана отрывочно и отдельно, в лицах, сценах, повидимому, не вяжущихся друг с другом, потом как будто сами собой группируются около главного события и сливаются в общем строе жизни. Точно как будто действуют тут еще неуловимые наблюдением тонкие, невидимые нити, или, пожалуй, магнитические токи, образующие морально-химическое соединение неведущих сил (какое происходит с вещественными силами)“. Непроизвольно возникающий художественный мир, заодно созерцаемый и творимый, с образами, которые сами собой группируются и сливаются в общем живом строе, есть мир сновидения, которое характеризуется именно этими чертами. А таинственные нити и токи, которые, по прекрасному выражению Гончарова, образуют „морально-химическое соединение неведущих сил (какое происходит с вещественными силами)“, будучи „уловлены наблюдением“, оказываются проявлениями основного свойства или закона сновидческой жизни, именно, отождествления образов. Этот закон и есть та последняя верховная сила, которая спаивает все многообразие художественного произведения в нечто „единое, полное, целое, замкнутое в себе“ (слова Белинского), т.-е. в нечто такое, что мы имеем в сновидении. (Таки поэтическое сравнение есть, по существу, более тесная связь образов, чем это внешне выражено; именно, сравнение в поэзии есть, собственно, отождествление). Закон отождествления есть высший, предельный закон единств морального рода, как закон притяжения есть коренной закон материального единства. Соответственно физическому закону чувственно-конкретной жизни, управляющему миром вещественных тел, идеальные тела или художественные образы в своем бытии сновидения подчинены закону сверхчувственно-конкретной жизни.

Гончаров близко подходил к основным положениям эстетики сновидения, т.-е. к признанию того, что мир художественности есть мир сновидения. (Ср. у Пушкина: „творческие сны“; „сны поэзии“; „душа стесняется лирическим волнением и ищет как во сне излиться наконец свободным проявленьем“). Исключительную ценностью обладает изображение Гончаровым своего собственного творческого состояния, как сна наяву. Это редкое по полноте признание автора, притом реалиста. Весьма значительны также и общие замечания Гончарова о роли фантазии в искусстве. Все это есть детализация и развитие основной идеи искусства у Белинского. Превосходным же кратким ответом на то, что же такое есть загадочное

„мышление в образах“, противоположаемое обычному—мышлению в понятиях, могут служить следующие слова Гончарова (из той же статьи), дающие меткую формулировку всем его соображениям по этому поводу: „И что такое ум в искусстве? Это—умение создать образ. След., в художественном произведении один образ умен,—и чем он строже, тем умнее“).

На-ряду с Гончаровым и Тургенев дал свой отклик на формулу Белинского об искусстве, как мышлению в образах, именно в предисловии к собранию своих романов, точнее, в заключении его. Тургенев свое предисловие заканчивает так: „Всеми известно изречение: поэт мыслит образами; это изречение совершенно неоспоримо и верно,—но на каком основании? Вы, его критик и судья, позволяете ему образно воспроизводить картину природы, что ли, народную жизнь, цельную натуру,—(вот еще жалкое слово!)—а коснись он чего нибудь смутного, психологически сложного, даже болезненного,—особенно, если это не частный факт, а выдвинуто из глубины недр своих тою же самою народной, общественной жизнью,—вы кричите: стой! это никуда не годится, это—рефлексия, предвзятая идея, это—политика! Публицистика!—Вы утверждаете, что у публициста и у поэта задачи разные. Нет, они могут быть совершенно одинаковы у обоих: только публицист смотрит на них глазами публициста, а поэт—глазами поэта. В деле искусства вопрос: как?—важнее вопроса: что?—Если все, отвергаемое вами,—образом, заметьте, образом ложится в душу писателя,—то с какой стати вы заподозриваете его намерения, почему выталкиваете его вон из того храма, где на разубранных алтарях восседают жрецы „бессознательного“ искусства—на алтарях, перед которыми курится фимиам, часто зажженный собственными руками этих самых жрецов? Поверьте: талант настоящий—никогда не служит посторонним целям и в самом себе находит удовлетворение; окружающая его жизнь дает ему со-

1) В сущности, о том же, о чем здесь говорит Гончаров и что Белинский называл „мышлением в образах“ в отличие от мышления в понятиях, Лев Толстой писал так: „Если бы я хотел сказать словами все то, что имел ввиду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал, сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить, qu' ils en savent plus long que moi... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Самое же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредством словами, описываемая образы, действия, положения“. (Страхову, 1876, апр.).

держание, — он является ее сосредоточенным отражением (курсив Тургенева); но он так же мало способен написать панегирик, как и пасквиль. В конце концов, — это ниже его. Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего, не умеют“.

„Всемирно известное изречение“, о котором говорит Тургенев, как о неоспоримом и верном, есть, конечно, слова Белинского, которые Тургенев, конечно, не раз слышал и лично от него во время своих бесчисленных бесед с ним. Защищая художественную сторону своих общественных романов при помощи утверждения, что у публициста и у поэта могут быть одинаковые задачи, и различен только подход к ним, Тургенев опять таки по существу повторяет Белинского. Напр., мы читаем у Белинского: „Говорят, что Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все основано было на беспощадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что же тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае, как поэт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и наука — не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружась статистическими числами, доказывает (курсив Белинского), действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружась живым и ярким изображением действительности, показывает (курсив Белинского) на верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, но оба убеждают (курсив Белинского), только один логическими выводами, другой — картинами. („Взгляд на русскую литературу 1847 г.“).

Также и в письмах Гончарова (кажется, и где-то у Тургенева) встречается воспринятое от Белинского различие в литературе: „доказать“ от „показать“, как нехудожественного и художественного подхода к теме. Я потому каждый раз подкрепляю цитатами прямое влияние эстетических взглядов Белинского на таковые же Гончарова и Тургенева, что для моих собственных целей важно установить, что и Гончаров и Тургенев, всецело оставаясь в пределах эстетики Белинского и лишь до некоторой степени развивая и углубляя ее, давали новые формулировки основного положения

Белинского, более откровенные и простые, которые явно приближают туманное и отвлеченное понятие Белинского к чему-то более прозрачному и конкретному.

Тургенев, говоря, что в деле искусства „как“ важнее „что“, поясняет это „как“ тем, что художественное описание—независимо от его содержания или предмета („что“) — „образом, заметьте, образом ложится в душу писателя“. Тургенев настойчиво подчеркивает слово: образом, видя именно в образности самое существо художественного переживания. Вслед за этим Тургенев говорит о „сосредоточенном отражении“ жизни в искусстве. В связи с тем, что поэзия возникает тогда, когда все, за что ни берется автор, „образом ложится в душу“, становится ясным и то, что хотел сказать Тургенев своим выражением: „сосредоточенное отражение“. Это—то отображение действительности, которое мы имеем в сновидении. При „сосредоточенном“, интимно и таинственно сконцентрированном изображении жизни—а не просто снимке с нее—вещи не выдвигаются пред нами, как чуждые и посторонне-внешние, но „ложатся в душу“, по чрезвычайно свежему и своеобразному определению Тургенева,—т.-е. сняты: мягко и вкрадчиво привходят в душу, как милые, давние знакомцы, как образы созерцания, а не врезаются в сознание, как непрошенные гости воспринимаемых вещей мира.

P. S.

Общераспространенность изречения: мышление в образах—столь велика, что им нередко злоупотребляют. Так, напр., Овсяннико-Куликовский также утверждает, что поэзия есть образное мышление, но понимает его совсем не так, как Белинский, Гончаров, Тургенев. По Овсяннико-Куликовскому, поэзия есть мышление, „орудующее образами“, а не мышление в образах; по существу же она есть тоже мышление в понятиях. Образом, как поясняет Овсяннико-Куликовский, будет всякое представление, которое наводит на понятие, в противном случае, оно, будто бы, теряет свой смысл. Какой же смысл ценится при этом в поэтическом образе: логический, рассудочный или особенный, художественный? Овсяннико-Куликовский этого не различает. Он вообще смешивает художественное значение образа и значение образа, как наглядного представления, помогающего рассуждению. Он не отличает художественного воображения от того воображения, которым пользуется и наука (напр., астрономия, история). Но не сознавать специфических свойств художественной фантазии, значит говорить мимо искусства.

В последнее время едва ли не главнейшим авторитетом в вопросах теории поэзии признан Потебня, и часто ему приписы-

вают первенство в утверждении положения о поэзии, как мышлении в образах; но Потебне, родившемуся в 1836 году, было всего пять—шесть лет от роду, когда Белинский впервые у нас выдвинул эту формулу. К тому же сочинения Потебни долго не пользовались никаким распространением, а потому популярностью идеи „мышление в образах“ русская литература обязана ни кому другому, как Белинскому.

Белинский, как эстетик, еще совершенно не оценен во всей своей значительности. Уровень нашей современной критико-эстетической мысли во многих и существенных отношениях является слишком низким, по сравнению с тем, на каком она держалась у Белинского.

Иосиф Эйгес.

Белинский

в неизданных письмах А. Д. Галахова к А. А. Краевскому.

В Рукописном отделении Российской Публичной Библиотеки, среди бумаг А. А. Краевского, хранятся письма к нему А. Д. Галахова за 1840—1851 годы¹⁾. Долголетний и деятельный сотрудник „Отечественных Записок“, преимущественно по отделу критики и библиографии, направлявший работу среди московских участников журнала, А. Д. Галахов был связан с А. А. Краевским узами личной дружбы и, посвящая большую часть писем редакционным вопросам, обсуждал их с полной осведомленностью и откровенностью. В письмах этих, дошедших до нас, к сожалению, не полностью, неоднократно встречаются упоминания о В. Г. Белинском и даются любопытные о нем сведения.

С В. Г. Белинским А. Д. Галахов был давно и хорошо знаком, продолжал добрые с ним отношения и после разрыва его с Краевским (Галахов дал Белинскому статью для предполагавшегося сборника „Левиафан“, согласился замещать критика в „Современнике“ за время его заграничной поездки), но особенной близости между ними не было. Белинский, по крайней мере, относился к Галахову недоверчиво и предостерегал Герцена: „Это половинчатый человек. В нем много хорошего, но это хорошее на откуп у Давыдова и Кузьмы Рощина“²⁾. Первые упоминания о Белинском содержатся в письмах из Москвы от 12 марта и 6 августа 1840 года. А. А. Краевский был занят полемикой с „Северной Пчелой“³⁾ и просил А. Д. Галахова, в целях „уничтожения“ Греча, написать разбор грамматики Греча. Галахов от этой работы отказался, но принял живое участие в планах Краевского и писал ему: „Не забудьте просмотреть в старинных журналах („Вестнике Европы“, „Атенее“, „Теле-

1) Письма к А. А. Краевскому, литера Г. За указание этих материалов приношу мою искреннюю благодарность Н. К. Пиксанову.

2) Т.-е. Краевского. Письмо Белинского А. И. Герцену от 14 января 1846 г. Белинский. Письма, под ред. Е. А. Ляцкого, т. III, стр. 93.

3) В „Отечественных Записках“ 1840 г., т. VIII, стр. I—XIV, А. Краевский поместил свою статью „Нечто о декларации г. Греча против Отечественных Записок“.

скопе“ и др.) критики на разные книги Греча. Пользуйтесь всяким советом людей, упрямившихся в этом деле. Белинский может вам много указать“. „Вы весьма хорошо распорядились, думая пустить прежде рецензию в библиографическую хронику и выставить, далеко ли он в своих Чтениях шагнул от прежних познаний. Для этого моих заметок не надобно: вы, Белинский, Катков, — весьма достаточно, ибо дело очевидное, что он не продвинулся нисколько. Прощайте, душа, целую вас сто раз. Поклонитесь Белинскому, Каткову и Межевичу“.

В скором времени разыгралась другая полемика — „Отечественных Записок“ с московскими славянофилами. Известно, какие злобные печатные выпады позволял себе С. П. Шевырев по отношению к Белинскому. А. Д. Галахов сообщал Краевскому: „Выходку против Отечественных Записок сделал Шевырев целепый. Он думал, что статейка о Малолетке принадлежит Белинскому; пришел однажды в Университетский Совет очень раздосадованный. Его встречает Грановский, профессор истории, и говорит: что вы, Степан Петрович, вы как будто сердиты? — Да как же, помилуйте, отвечает он: иди в совет толковать бог знает о чем, а там еще отвечай пьяному Белинскому“¹⁾. В Отечественных Записках за 1841 г.²⁾ была помещена рецензия, озаглавленная: „Малолеток, кормилец престарелого, обнищавшего отца своего, или чистое родительское благословение. Сочинение Александра Орлова. Москва. В типографии В. Кирилова. 1841. В 12-ю д. л. 21 стр.“. Шевырев принял здесь на свой счет, в силу своих личных нападок, вероятно, следующие строки: „Оригинально-чудное мнение о том, что в русском языке существуют два слова: нравственность и поэзия, выражающие совершенно одно и то же понятие (чего нет ни в одном из существующих языков и не было ни в одном из существовавших), приносит неисчислимые пользы. Укажем на одну из них. Для истинной оценки литературных произведений не нужно читать их, — что прежде считалось необходимостью, — а надобно только отобрать верные справки о жизни сочинителя, и оценка готова. Если реченный сочинитель не пил вина даже за обедом, не брал в руки карт, платил исправно в овощные лавки за взятый в долг товар, кухарку свою держал в почтительном от себя отдалении, тогда вы заключаете: означенный сочинитель есть поэт; если же нет — то нет. И верно и легко!“.

На все выходки Шевырева Белинский ответил, как известно,

¹⁾ Письмо Галахова из Москвы от 10 июня 1841 года.

²⁾ „От. Зап.“ 1841 г., т. XV, Библиографическая хроника. Русская литература, стр. 38—40.

литературным памфлетом „Педант“, наделавшим много шума в московских литературных кругах и вызвавшим в противниках Белинского желание перейти от доносов литературных к прямым доносам в III Отделение. Встревоженный этими слухами А. Д. Галахов писал А. А. Краевскому: „Любезнейший друг Андрей Александрович! Мы сейчас узнали неприятное известие: статья в Отечественных Записках Литературный педант слишком раздражила. Они хотят жаловаться на Б. и, главное, принял в этом участие кн. Дм. Вл. Г—н, который на днях едет в Петербург. Возьмите, скорей, свои меры. Друзьям вашим преневыразимо жалко будет, если журнал ваш, или вы, или цензор или, по крайней мере, писавший статью потерпит. Весь ваш А. Галахов¹⁾“.

Далее в письмах Галахова следует долгий перерыв и только в письме от 24 июня 1846 года встречается вновь упоминание о Белинском, уже окончательно порвавшим с редакцией Отечественных Записок.

Обстоятельства ухода Белинского из Отечественных Записок, в достаточной мере выясненные биографической литературой, получили, быть может, несколько одностороннее освещение благодаря тому, что исследователям приходится оперировать, главным образом, свидетельствами друзей Белинского, судивших об отношениях его с Краевским далеко не беспристрастно. По крайней мере Пыпину приходилось выслушивать отзывы другого характера: „... (мы) слышали от других современников, не причастных этим отношениям, отзывы более умеренные и несколько изменяющие дело,—хотя, должно сказать, что другая сторона до сих пор не представляла достаточных разъяснений дела²⁾“.

Белинский в письме к Герцену от 2-го января 1846 года объявляет о своем твердом намерении оставить работу в Отечественных Записках, мотивируя свое решение утомительностью срочной журнальной работы, материальными стеснениями, причиняемыми ему Краевским, и нетактичным поведением последнего, выразившимся в жалобах на то, что Белинский исписался, что он мало работает и т. д.³⁾ 6-го февраля Белинский объявил о своем намерении Краевскому, а 1-го апреля окончательно оставил сотрудничество в Отечественных Записках, хотя статьи его, ранее написанные, продолжали печататься еще в течение года в этом журнале.

А. В. Старчевский, познакомившийся с Краевским уже после

1) Письмо из Москвы от 13 марта 1842 г.

2) А. Н. Пыпин, Белинский, его жизнь и переписка, изд. 2-е, Спб. 1908 г., стр. 489.

3) Письма, т. III, стр. 89—90.

ухода Белинского из журнала, рисует дело иначе и, конечно, тенденциозно: „В конце 1845 года В. Г. Белинский, крепко державший в своих руках в „Отечественных Записках“ отдел критики и библиографии с 1840 года, вздумал потребовать у А. А. Краевского увеличения гонорара в уверенности, что Краевский, сознавая всю важность для журнала отдела критики, удовлетворит все желания, тем более, что заменить Белинского в „Отечественных Записках“ в то время было некем. Но Краевский, как редактор чисто практический, в душе рад был представившемуся случаю расстаться с Белинским и отказался исполнить его желание не потому, чтобы ему не хотелось платить Белинскому довольно значительную в то время сумму—Белинский требовал назначить ему за критический отдел одной изящной словесности 6.000 р. с. в год, а Краевский хотел покончить с такою критикой, какова была критика Белинского во второй половине 1844 и в 1845 году, когда эстетическому разбору Пушкина посвящено было целых двенадцать громадных статей, при том статей, написанных довольно тяжелым языком и которыми вовсе не могло наслаждаться большинство публики: это были статьи, имевшие неоспоримые достоинства, но имевшие значение для людей с высшим образованием, присяжных литераторов, профессоров, учителей гимназий и другой интеллигенции, посвятившей себя специальному служению, изучению и уяснению себе и другим, в чем и где именно находились красоты произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Большинство читателей эти статьи в журнале не разрезывались. Но Краевский еще не решался разорвать с Белинским и не знал, как ему приступить к такому радикальному перевороту в своем журнале. Случай выручил его“¹⁾.

Отрывок этот не рисует, конечно, действительного хода дела, но наглядно показывает, какого рода объяснения давал ему Краевский. По уходе Белинского Краевский усиленно распространял слухи о своем неудовольствии критикой бывшего своего сотрудника, но, несомненно, оно существовало и ранее. Если судить по первым письмам Белинского, в которых говорится об уходе из Отечественных Записок, разрыв его с Краевским прошел довольно миролюбиво, в следующих же письмах Белинский выражает все энергичнее и энергичнее недовольство свое Краевским. Большое участие приняли во всем деле друзья Белинского. Они противопоставляли слухам, распускаемым Краевским, свои объяснения и толкования—настолько ревностно, что Белинскому приходилось их останавливать: „...оскор-

¹⁾ А. В. Старчевский. Один из забытых журналистов (Из воспоминаний старого литератора). „Истор. Вестн.“, 1886 г., кн. 2, стр. 381.

блять его прямо вовсе не нужно. Вот говорить о нем правду за глаза—это другое дело. Да для этого слишком довольно одного Кетчера¹⁾. Если не беспристрастное, то более или менее хладнокровное изложение дела встречаем мы в письме Галахова к Краевскому от 24 июня 1846 года из Москвы: „Письмо мое будет не такого рода, чтобы я мог бояться его, как обличителя меня в сплетнях. Все, что в нем скажется, мог бы я сказать (с маленькими изменениями или в виде шутки) нашим общим знакомым в глаза. Но так как при известной степени раздражения самое дозволенное дело считается запрещенным, даже личной обидой, то я и прошу Вас письмо мое предать уничтожению, сохранив только для своей памяти его содержание и не выдавая никому моих известий. Иначе я буду вправе думать, что Вы не только выдали содержание моего письма, но и предали своего друга.

„Главное дело, как мне кажется, в том, что Вас все эти господа не любят. Еще до приезда Белинского в Москву, до прекращения его работы в От. Зап., я часто слышал от К-ра²⁾ особенно потом от Щепкина и от других кой-кого, что Белинский недоволен вами, что он расстроил свое здоровье, работая в От. Зап. и не получая за то должного вознаграждения. К-р рассказывал сверх того историю с Кронебергом за перевод Марио³⁾, в которой истории я ровно ничего не понял, и дело с переводом В. Скотта, в котором я понял еще менее. Я давно знаю характер наших общих знакомых, знаю, что при многих неотъемлемых достоинствах ума и сердца, это—люди крика и шума, люди, увлекающиеся легко тем⁴⁾, что примут они к сердцу или что понравится их уму, которым нужно одно слово со стороны их приятеля, чтобы бранить и позорить все то, на что указывал рукою этот приятель. Я называю их натурами, легко поддающимися каждому обаянию, exaltados, Орландами неистовыми. В восторге или ослеплении они не видят, что не совсем виноват или вовсе не виноват тот, кого они обвиняют, что они сами неправы, и таково их предубеждение или убеждение, что нет средств поколебать его, по крайней мере известное время. Мысль, которая засела у них в голове,—крючком оттуда не выдернешь ее. Благодаря Бога, что ни я, ни Кудрявцев не получили такого странного сгиба ума, такого устройства сердца: нас не так-то скоро увлечь, не так-то легко изменить составленное самобытное мнение.

1) Письмо к А. И. Герцену от 19 февраля 1846 г. Письма, т. III, стр. 104.

2) Кетчера

3) О столкновении Краевского с Кронебергом см. Письма Белинского т. III, 90—письмо к Герцену от 2-го января 1846 г., там же и о переводе В. Скотта.

4) Первоначально „то“.

Может быть, это зависит и от некоторой умственной или сердечной холодности, но она спасет нас от многих обольщений.

„Артемов вам сказал неправду. Как могли вы, любезный друг, принимать к себе такую гадину, которой первое удовольствие в Москве состояло в том, чтобы ругать наповал вас, Отеч. Зап. и все, что имеет к этим двум предметам какое-нибудь отношение? Белинский говорил, что формальным образом вы перед ним не виноваты, и что он расстался с вами без малейших упреков или неприятностей, но что Вы виноваты перед ним в том, что сами не прибавили ему жалованья, видя успех Отеч. Зап. (эти слухи и заставили меня писать к Вам, чтобы вы удержали Белинского: помните?), что Вы давали ему разбирать книги по таким предметам наук, которые ему неизвестны, и что вы, сверх того, жаловались где-то на него (кажется у Одоевского), что он не исполняет положенных условий, работает мало.—Восторженные (П—в, К—р, Н—ов ¹) составили себе мнение, что как только Белинский отнимет свою руку, то журнал упадет (внутренно и Белинский может быть так же думает), сотрудники от него отпадут, подписчиков будет меньше. Но это было, однако-ж, в минуту первых вспышек. После, особенно по выходе номеров без помощи Белинского, увидели, что в их мнении была крайность, что журнал идет себе по-прежнему. Даже К—р того мнения, что Белинскому надеяться на успех отдельных брошюр и частных литературных занятий и сделок с книгопродавцами не прилично, что надежды на успех сборника могут не осуществиться по предположению, что его предполагаемая история литературы может пойти не отличным образом—да и когда-то еще она будет? Поэтому и мой и К—а совет был тот, чтобы Белинский по-прежнему работал у вас, в О. З., а вы можете прибавить ему жалованье. Противного мнения А—ов ²), который думает, что Белинский должен заняться своей историей литературы, как будто нельзя ею заниматься, работая в журнале. Вы угадали, любезный друг: в неприязненность к Вам П—ва и Н—ова видимо входит то, что им хотелось бы получать то же, что вы получаете. Вот они и распускают слухи, что с отходом Белинского от О. З. отойдут от них и прочие члены. Но кто же эти члены? Тургенев и Герцен? Но от Герцена я ничего не слышал. Кавелин готов писать. Тургенев не Бог знает сколько писал.

„Вот, любезнейший друг, что мне известно. Я полагаю, что эти обвинения и ругательства умирают ³) сами собою. Белинскому

¹) Панаев, Кетчер, Некрасов.

²) Анненков.

³) Первоначально было написано: пропадают.

нужна постоянная работа, а не занятия урывками, от которых немного получишь. Поэтому, отчего вам и ему не продолжать своих дел по-прежнему? Я нисколько не думаю, как П—в и Н—ов, что журнал без него не может существовать: даже Белинский, даже К—в этого не думают теперь потому, что они видят противное; но мне кажется, лучше держаться прежнего сотрудника, если этот сотрудник исполнял как следует свою обязанность? ¹⁾ Впрочем статьи Майкова показали, что вы имеете славного сотрудника, который, как мне кажется, зная языки, берет тем перевес пред Белинским, на стороне которого в библиографических статьях была резкость, игривость, доходившая иногда до преувеличений, но и до преуменьшений (иначе до гипербол). Это недостаток Белинского, который в самой умной статье скажет непременно что-нибудь такое, с чем нельзя согласиться при всем уважении к автору, что-то слишком шокирующее ум и подающее повод к спорам и обвинениям. Одним словом, теперь хорошая критика и библиография не есть тайна, как были они прежде. Может быть Белинскому не позволит работать и его здоровье. Впрочем в Москве он немного поправился, а южный климат может быть и совсем уничтожит его кашель. Напишите мне, как вы располагаетесь на будущее время: останется ли у вас Майков, или при взаимном согласии вы сойдетесь опять с Белинским. Мне сдается, что самая натура наших общих знакомых несколько противоположна вашей, и в этом я полагаю настоящую причину враждебных о вас отзывов. Вы, например, неутомимо трудолюбивы, а некоторые из этих господ (напр. П—в) ²⁾ ничего не хотят делать; потом они не любят аккуратности и срочности, а в ваших требованиях это необходимое, первостатейное условие; им скоро наскучает постоянство работы, а вы доказали, что она не страшит вас; они больше любят рассуждать и восторгаться, а вы — делать дело. Прибавьте к этому с одной стороны охоту к сплетням, а с другой — вероятно зависть успеху, и вы получите ключ к разгадке. Головачев так же думает, как я“.

Несмотря на резкие отзывы о Некрасове и Белинском, Галахов поддерживает с ними добрые отношения и извещает в том же письме Краевского: „...дал я слово написать статью для сборника Белинского и маленькую статейку для сборника Некрасова; последняя уже готова, а первая только начата“.

¹⁾ Краевский делал, повидимому, несколько попыток вернуть Белинского к сотрудничеству в Отеч. Зап. Белинский отмечает их в своих письмах. Например, в письме Герцену от 6 апреля 1846 г., Письма, т. III, стр. III.

²⁾ Панаев.

Заместителем Белинского в Отечественных Записках после не приведшей ни к чему попытки привлечения Старчевского¹⁾ был Вал. Н. Майков. Белинский в письмах часто упоминает о намерении Краевского привлечь к более активному сотрудничеству А. Д. Галахова.²⁾ В письмах последнего имеется только сравнительно поздний ответ на прямое предложение Краевского: „Вы предлагаете мне переехать в Петербург, исчисляя выгоды этой переездки... Мысль быть вашим помощником по журналу всегда меня радовала, она радует меня и теперь, но в десять лет много воды утекло... Я много прослужил казне и постарел уже (не душою, а счетом годов), и, прочитав письмо ваше несколько раз, сказал со вздохом: уж поздно“³⁾. В цитируемых письмах Галахов останавливается на критических статьях Майкова и сравнивает их со статьями Белинского. Приводим два отзыва: „Давыдов очень доволен статьями Майкова и говорит... что Майков гораздо дельнее и сочнее Белинского“⁴⁾. „Майков мне очень нравится: его разбор стихотворений Ждановской, Истории Лит. Аскоченского, и других, написаны очень умно. Сказано о книге именно столько, сколько сказать следовало, без уклонений в сторону: определительно, дельно, логично. Видно, сверх того, человека думающего о статье, отделяющего ее и знакомого с иностранными литературами. Но именно то, что нравится мне, может не нравиться другим, меньше образованным (извините за маленькую гордость). Находят, во-первых, что он пишет умно, но не живо, лишает свои статьи цвета поэтического, нет в них задирчивости и волнения, которые вы справедливо назвали тревожным духом и который теперь, право, уже не нужен. Довольно было выходок, насмешек, задирок, наездничества; пора принять более спокойный тон, свойственный самоуверенности, приобретенной годами, приличный успеху, которым уже пользуется журнал. Главное дело — в деле. Конечно, должно, по возможности, избегать сухости; но столько же должно избегать напрасных воспаменений. Что касается до меня, то я нахожу статьи Майкова как нельзя лучше идущими к журналу: всегда умно, дельно, подкреплено и логическим строением и фактами, хладнокровно, полно. Так наприм, трудно, невозможно что-нибудь сказать дельнее о Ждановской: все три фазы женской жизни очерчены хотя кратко, но удовлетвори-

1) Ср. цитированную статью Старчевского. Галахов, как мы увидим дальше, усиленно рекомендовал привлечь к деятельному сотрудничеству П. Н. Кудрявцева.

2) В письме к Герцену от 19 февраля 1846 г. Письма, т. III, стр. 101; к нему же — 20 марта 1846 г. Письма, т. III, стр. 105.

3) Письмо из Москвы от 30 мая 1847 г.

4) Письмо от 21 декабря 1846 г. из Москвы.

тельно. Можно бы, конечно, по случаю каждого из этих периодов войти в поэтические выходы, в пессию, в глаголы, но это, увеличив объем статьи и поразив людей, легко поражаемых, ничего не прибавило бы к делу и сорвало бы даже улыбку с людей, понимающих дело поглубже. Беда с читателями журнала, из которых большая часть очень поверхностны и любят больше восторгаться, нежели узнать что-нибудь серьезное¹⁾.

С основанием Современника, занявшего разом же резко враждебную позицию по отношению к Отечественным Запискам, раскол между бывшими сотрудниками углубился. Характеризуя свое отношение к нему, Галахов сообщает Краевскому выписку из письма Кудрявцева: „Прилагаю выписку из письма ко мне Кудрявцева: „Без отлагательств приступаю к главному вопросу. Я разумею „раскол“ бывшей компании От. Зап. Есть разные точки зрения на предмет; я не выхожу из двух. Каковы бы ни были первоначальные причины раскола, в форме, которую он теперь принимает, есть что-то отзывающееся ребячеством. Этот эпитет „исключительный“ так напоминает мне известный термин ребяческих ссор: „водиться и не водиться“. Это мелко до смешного. Есть и другая точка зрения: жить несколько времени в доме со всеми удобствами, повздорить с хозяином и не только съехать с квартиры, но еще стараться поджечь дом. Нет, воля ваша, я не присягаю такой тактике. Разумеется, не беда, что вместо одного будет два хороших журнала. Но я именно того бы и хотел, что бы их было два, а не один. В появлении Сов-ка я вижу новую причину, чтобы продолжать существовать От. Зап. и это мое искреннее желание. Мне кажется, С—кне утерпит, чтобы не впасть в разные „исключительные“ крайности, З—ки же наоборот выиграют на терпимости и всегда останутся доступны для складки умеренных мнений. Журнал основан крепко, стало быть издателю нечего бояться „исключительных“ тактиков. Я со своей стороны не только не намерен отстать от От. Зап., чему решительно не вижу никаких причин, но думаю в скором же времени отправить к К—му²⁾ небольшой пакет кое с чем. Я посылаю к нему первую часть повести под названием „Сбоев“³⁾“.

А. Д. Галахов, оставаясь постоянным сотрудником Отечественных Записок, принял участие и в Современнике, при чем считал необходимым оговаривать в письмах к Краевскому каждое свое выступление в этом журнале⁴⁾. Намереваясь заместить уехавшего за гра-

1) Письмо от 18 сентября 1846 г. из Москвы.

2) Краевскому.

3) В письме из Москвы 24 дек. 1846 г.

4) Письма от 21 декабря 1846 г., 10 января и 30 мая 1847 года

нищу Белинского по работе в Современнике, Галахов пишет об этом Краевскому: „Так как я ничего от вас не скрываю любезный друг, то считаю обязанностью немедленно уведомить вас. Человек больной, может быть умирающий, короче Белинский, перед отъездом на лечение просил меня усердно поработать за него в Современнике четыре месяца: Июль, Август, Сентябрь и Октябрь. Эта работа ограничится разбором двух или трех книжек в Библиографию каждого месяца и будет состоять к работе для Отеч. Зап. в таком же отношении, в каком библиографическая работа Кавелина для Отеч. Зап. состоит к его содействию для Современника. Я не мог отказать ему, любезный друг: я дал ему слово. Хорошо ли я поступил, скажите откровенно,—т.е. не нарушены ли этим мои обязанности к вам и вашему журналу? Мне было тягостно отказать Бел—му, которого расстроенные положения во всех пунктах, его болезнь, болезнь его жены (давно мне знакомой), его безденежье, мне коротко известны“¹⁾.

В следующих письмах Галахов уделяет много внимания сравнению обоих журналов—Отечественных Записок и Современника. Приведем две выдержки: „Любезный друг! Сотрудники Современника составили вам сильную оппозицию, но вы стоите крепко, не уступая ни пяди. В подобном вам положении находился Телеграф, когда против него составила коалиция Московск. Вестн., однако ж Телеграф восторжествовал. Ответом вашим в журнальных заметках вы отделали их браво. Теперь главное дело старайтесь запастись постоянными сотрудниками. Непостоянный мало значит, а имя автора без статей—ничего, хотя бы автор имел лоб семи пядей. Главные отделы в журнале три: повести, критика и ученые статьи. На повести надобно действовать деньгами; постарайтесь завербовать Сологуба. Относительно критики, надобно, чтобы П. Ник.²⁾ был постоянным вашим критиком и библиографом, тогда вас не собьют, ибо у вас будут трое: П. Ник., Майков и я. Сверх того, вы всегда будете иметь от Кудр. повести две в год. Я уже писал об этом к нему, и еще завтра пишу. Вы от себя послали ль письмо? Я уверен, что он никак не отшатнется от От. Зап. и вместе со мной останется постоянным вашим содействователем и действителем. Наконец, что ж за беда—и это самое большое предполагаемое несчастье—если у Современника будут свои читатели, у вас свои, или лучше сказать, будут у вас и у Соврем. читатели; не уменьшится от этого число ваших подписчиков,—увеличится только число читающих: ибо грамотность более и более возрастает, и—как вы сами

1) Письмо из Москвы от 30 мая 1847 г.

2) Петр Николаевич Кудрявцев.

сказали—подписчиков хватит не только на два, но и на пять журналов ¹⁾.

„Перехожу к важному. Отеч. Зап. и полнотою и силою журнального направления, строго себя выдерживающего и резко себя выражающего как в критике и библиографии, так и в ученых статьях, несравненно превосходят Современник, которого критика и ученость—дрянь, но зато беллетристическая часть Соврем. выше. Запаситесь, любезный друг, повестями и другими статьями беллетристическими. Что вы не толкаете Сологуба?... Повесть Жукова пустовата: ни идеи, ни интересной фабулы, рассказ только легок. От Достоевского, после его последних вещей, я мало жду. Почему Григорович вам ничего не дает? Одним словом, подкрепите этот отдел.—Вы ничего не пишете мне, должен ли я готовить о Ломоносове и Лермонтове критические статьи“²⁾.

Последнее упоминание о Белинском встречается в письме Галахова от 27 января 1849 года из Москвы: „Хотел писать я об умершем бывшем вашем критике, но оставил до другого времени“. Сотрудники Отечественных Записок так и не нашли времени для статьи, соответствующей заслугам умершего критика перед этим журналом. Несколько строчек короткого и сухого некролога ³⁾ официально сообщают о смерти В. Г. Белинского, составившего своей работой популярность журнала и надорвавшего на этой работе свои силы.

М. Клеман.

1) Письмо из Москвы от 20 декабря 1846.

2) Письмо из Москвы от 30 мая 1847 г.

3) Отечеств. Зап., 1848 г., т. LXVIII, Внутренние известия, стр. 157—158.

Белинский и Диккенс.

(К истории английского влияния в русской литературе).

I.

Белинский любил повторять друзьям, что интерес к русской литературе всегда был в нем сильнее интереса к литературе западно-европейской. В искренности этого признания не сомневался никто, и оно рано обратилось в упрек. С первых шагов Белинского на критическом поприще ему ставили в вину слабое знакомство с европейскими языками и недостаточную осведомленность в мировой литературе. Подобные упреки не всегда исходили из вражеского лагеря. В кружке его интимных друзей давно тревожились за Белинского, мечтая расширить его кругозор, увлекая его на простор всемирной поэзии и искусства и непрерывно усиливая и обостряя в нем интерес к западной культуре. Не без содействия друзей несколько раз поднимался вопрос о заграничном путешествии Белинского, что особенно могло содействовать возбуждению в нем живых и острых симпатий к европейскому миру: в странствованиях по Европе видели тогда не рассеяние или отдых, но необходимый этап личного развития. В 1843 году Белинский сообщает А. А. Краевскому об одном из таких проектов: „Этот случай послан мне судьбою в насмешку надо мною—видит око, да зуб неймет: хороша клубничка, да жена сторожит. А жена эта—старая, кривая, рябая, злая, глупая старуха, словом расейская литература, чорт бы ее съел, да и подавился ею. Другой на моем месте, чтоб только от нее убежать, бросился бы хоть в киргизские степи, а я, Дон-Кихот нравственный, отказываюсь от поездки в Италию, Францию, Германию, Голландию, на Рейн и пр., отказываюсь от чудес природы, искусства цивилизации, от здоровья, и, может быть, еще чего-нибудь большего. Такова уж моя натура“¹⁾. Когда же четыре года спустя неутомимый странствователь по Европе В. П. Боткин вместе с Анненковым и Тургеневым устраивают ему заграничное путешествие, эффект получается совершенно неожиданный: Белинский пишет Боткину из „дрянного и скучного Дрездена“, что он ездил в Европу только затем, чтобы убедиться, что он рожден вовсе не для путешествий; ему быстро надоедают живописные места Саксонской

¹⁾ Письма В. Г. Белинского, ред. Е. А. Ляцкого. Спб. 1914, т. II, стр. 374.

Швейцарии; он принужден делать над собой ряд непрерывных усилий, чтобы сопровождать Анненкова, неутомимого посетителя европейских музеев и картинных галлерей; в Кельне его упорное равнодушие к Европе прямо ужасает его спутника: „Когда же я сказал Анненкову,—рассказывает сам Белинский в письме к жене,—что решительно не намерен терять целый день, чтобы полчаса посмотреть на Кельнский собор,—с ним чуть не сделался удар. Он дико хохотал, всплескивал руками—я думал, что с ума сойдет“¹⁾. Перед нами не случайный эпизод его заграничного путешествия, усталость и безразличие тяжелого предсмертного недуга, но вполне естественное следствие его природных предрасположений и пристрастий. Анненков, впоследствии вспомнивший эпизоды своих совместных с Белинским странствований, пытался объяснить его враждебное чувство к Европе обычной участью путешественников, которых за границей первой встречает „сухая, деловая, часто ограниченная и невежественная и всегда мелочная, плутоватая толпа новых людей“ и долго держит их в своей среде, прежде чем они перейдут „к явлениям и порядкам высшего строя жизни“. Анненков полагал, что в основании всех нареканий Белинского на заграничную жизнь „лежит совсем не враждебное к Европе чувство, а скорее чувство нежное к ней, раздосадованное тем именно, что должно сдерживать, ограничивать себя и подавлять свои порывы“²⁾. Думается, однако, что такое толкование гневных писем Белинского из-за границы, сложившееся у Анненкова много лет спустя, значительно дальше отстоит от истины, чем его непосредственный испуг правоверного западника, так живо запечатленный Белинским в письмах к жене. То упорное равнодушие Белинского к Европе, которое так сильно поразило Анненкова в Кельне, давно уже было замечено его друзьями; снисходительность к русскому миру и строгая взыскательность к западно-европейскому, которую отмечает и Анненков, вовсе не была следствием его заграничной поездки. Еще до отъезда Белинского за границу внимательно следивший за ним В. П. Боткин сообщал А. А. Краевскому: „Скажу вам по секрету: я считаю литературное поприще Белинского поконченным. Он сделал свое дело. Теперь нужно больше такта и больше знания. Еще о русской литературе он может говорить (да и она у него сделалась рутинною), а чуть немного выходит из нее, из рук вон плохо: доказательством, напр., его рецензия в 3 № Современника на романы Дюма“³⁾.

1) Письма, III, 243—246, 247.

2) П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПб. 1909, стр. 361—362.

3) Отчет Имп. Публичн. Библиотеки за 1889 г. СПб. 1893, Приложение, стр. 79.

Когда же получается Дрезденское письмо Белинского, Боткин с тревогой показывает его Грановскому. Ответное письмо Боткина к Белинскому полно опасений, как бы он не вернулся в Россию скептиком по отношению к европейской культуре вообще. „Сегодня получил твое письмо из Дрездена, милый Виссарион... Понимаю твое обращение от Германии, Белинский, — очень понимаю, хоть и не разделяю его... Я не изрекаю ей такого приговора, как ты — и относительно дурных и хороших сторон народов придерживаюсь несколько эклектизма“. „Сейчас получаю твое письмо ко мне обратно от Грановского; он недоволен им и боится, чтобы ты со своей теперешней точки зрения на Германию и Францию не стал бы писать о них, воротясь в Россию. В самом деле — это было бы большим торжеством для наших невежд и мерзавцев“¹⁾.

Анненков, приходящий в ужас от равнодушия Белинского к чудесам готического искусства, Боткин, с раздражением отзывающийся о непонимании Белинским популярного французского беллетриста, Грановский, опасаящийся, чтобы Белинский не вздумал подводить итог своим заграничным впечатлениям — все они, в сущности, констатируют одно и то же. Отрицательная позиция Белинского не всегда высказывалась ясно или просто не замечалась в той атмосфере всеобщего преклонения перед европейской культурой, которая характеризует интимный западнический кружок; в силу этих сдерживающих и направляющих влияний она никогда не могла быть сведена к одной фундаментальной и всеобщей формуле, но тем не менее она все сильнее чувствуется к концу его деятельности. Свидетельства друзей в данном случае наиболее авторитетны; но глухая и может быть не всегда до конца продуманная враждебность к Западу чувствуется у Белинского и раньше, в его оценках корифеев западно-европейской литературы. Крепко приросший к родной почве, немислимый вне России, по одному из определений Достоевского, „человек наиболее русский“ („Мой парадокс“), Белинский все время должен был чувствовать свою отчужденность от западной культуры, и потому естественно тяготел к родной литературе. В конце 1847 года Белинский отчетливо формулирует свою точку зрения: „Всякое сколько-нибудь живое и замечательное явление в русской литературе радует меня в тысячу раз больше, нежели действительно огромное явление в западно-европейской литературе“²⁾.

С этим заявлением Белинского нельзя не считаться, как с наиболее удачным определением его личных литературных симпатий,

1) Анненков, стр. 362.

2) Письма, III, 270.

обусловивших общий ход его критической мысли и происхождение отдельных его отзывов и суждений. Если это настроение Белинского усиливается и более ясную форму принимает только к концу 40-х годов, то в форме менее резкой и отчетливой оно было ему свойственно уже с первых лет его критической деятельности. В силу своего темперамента он мог действительно увлекаться какими угодно философскими и эстетическими системами современного ему Запада, приходить в экстаз от шедевров его литературы, но сфера живого чувства всегда влекла его только к России, ее творчеству и мысли. С особенным любопытством и внимательностью Белинский приглядывался ко всем даже самым малозначительным явлениям русской литературной жизни и почти безошибочно определял их действительную историческую значимость; тем более замечательно, что большинство его „эстетических промахов“ относится именно к западной литературе ¹⁾: нужно вспомнить его резко отрицательное отношение к Бальзаку, послужившее даже причиной охлаждения к нему Григоровича, двойственное отношение к французскому романтизму, переоценки Гете и Шиллера, Купера и Жорж Занд. Очень показательным примером может служить и его отношение к Диккенсу. Обобщая отдельные наблюдения, можно сделать тот несомненный вывод, вполне согласующийся и с заявлением Белинского, что та доля личного сочувствия, которая играет организующую роль в критической оценке, всегда была у него более слабой по отношению к писателям Запада, чем к писателям русским. В одном случае был непрерывный и неослабевающий интерес, „мечтания“, надежды, любовь, в другом — удивление, восторг, которые, однако, столь же быстро могли перейти в равнодушие, безучастие и зависть.

При всей своей очевидности вывод этот, однако, пока что может быть только априорным: наблюдение требует более детального фактического обоснования и проверки, частных и дробных изучений, чтобы тем яснее представилась общая картина. Указанное соотношение литературных интересов Белинского характеризует основной уклон его миросозерцания; частности и оттенки его мысли остаются еще невыясненными. Вопрос о круге познаний Белинского в западно-европейских литературах, об источниках и происхождении отдельных его критических отзывов даже предварительно не намечен еще в специальной литературе. Немного знаем мы также и о воззрениях Белинского на европейскую культуру вообще.

¹⁾ Ср. наблюдения С. А. Венгерова. Сочинения Белинского, т. V, стр. 576; VI, 571 и др.

Все усилия исследователей были до сих пор направлены главным образом на то, чтобы на примерах отношения Белинского к тому или иному европейскому писателю осветить в общих чертах уже давно известный ход его философской мысли ¹⁾; в стороне обычно оставался вопрос о познаниях Белинского в отдельных европейских литературах, о фактическом знакомстве его с тем или иным писателем Запада. Между тем, в некоторых случаях осуждение или резкий отзыв следовало относить не столько на счет его эстетических исканий, которые в разные этапы его философского развития могли вызывать совершенно противоположные отзывы (Шиллер, Ж. Занд), сколько просто на счет его плохой осведомленности, как показал, напр., Ю. А. Веселовский, анализируя отношение Белинского к французскому классицизму ²⁾.

Среди подобных критических суждений Белинского, на первый взгляд явно враждебных европейской литературе, давно уже обратила на себя внимание равнодушная, а порой и резкая оценка Диккенса. Венгеров отнес ее к „эстетическим промахам“ Белинского и связал ее с отзывами о Бальзаке, Шиллере и Гёте. Однако такое сопоставление только запутывает вопрос. Как согласовать эту оценку с общеизвестной англоманией Белинского и с его восторженным отношением к Куперу, В. Скотту? Как мог он равнодушно отвернуться от „Записок Пикквикского клуба“ в те годы, когда приходил в экстаз от „Мертвых душ“? Что заставило его резко отозваться обо всех почти „Рождественских сказках“ Диккенса и так низко поставить „Лавку древностей“? Почему, наконец, он пришел в восторг от „Домби и сына“ — романа, который, по его словам, „открыл ему глаза“ на Диккенса и представил его в совершенно новом свете? Здесь есть, несомненно, какое-то темное место. Белинский подсказывает нам, что явление Гоголя интересовало его в тысячу раз больше, чем новое имя английской литературы. Он подчеркивает английское происхождение Диккенса, связывает его творчество с общим характером английской литературы и все его недостатки относит на английский счет. В письме к Боткину (Письма, III, 196, 325) он подчеркивает у Диккенса глубоко враждебную себе национальную психо-

¹⁾ Очень типична с этой стороны поверхностная статья Вл. Ф. Боцяновского: „В. Г. Белинский о корифеях иностранной литературы“ — „Нов. журн. иностр. литер.“ 1898, т. II, № 5, стр. 118—126, который на основании случайных сопоставлений приходит к несколько неожиданному выводу, что Белинский „не только прекрасно знал иностранную литературу, но и понимал ее, что у него было всегда готовое и вполне верное понятие обо всех главнейших европейских писателях“.

²⁾ Ю. Веселовский. „Белинский и французская трагедия“ в книге „Этюды по русской и иностранной литературе“, т. I, стр. 94—125.

логию. Таким образом, чтобы вполне уяснить себе эволюцию воззрений Белинского на Диккенса, следует изучить круг его познаний в английской литературе и его взгляды на отдельных английских писателей: окончательное решение вопроса может дать сравнительное изучение отзывов о Диккенсе—Белинского и современной ему русской критики.

II.

Русская критика 30-х годов в литературном движении эпохи отчетливо различала две враждебных друг другу стихии: французскую и немецкую. С начала 40-х годов все яснее стала обнаруживаться и третья: английская. Белинский, с интересом следивший за всеми фазами западно-европейского влияния в русской литературе, должен был, конечно, отметить и этот его новый этап. Первыми популяризаторами английской литературы в России Белинский считал Карамзина и Жуковского, и первое серьезное знакомство с ней относил к последним десятилетиям XVIII века (VII, 360). Действительно, в XVIII веке английское влияние, главным образом через посредство Франции и Германии, глубоко сказалось у нас в течениях журналистики и театра, но непосредственно почувствовалось только в настроениях и формулах русского сентиментализма. В 20-е годы оно питало русский байронизм, опять-таки осложненный соответствующими течениями французской и немецкой литературы, а когда влияние его начало слабеть, сильно способствовало развитию романа в его двух формах: исторической и нравоописательной. Чрезвычайно показателен запаздывающий характер этого влияния в русской литературе: по наблюдению Ф. Батюшкова, 30-е годы—еще разгар популярности Ричардсона¹⁾; в ту пору, когда В. Скотт, непосредственно и через иноземные подражания, создает у нас фалангу исторических романистов, классический английский роман XVIII века все еще продолжает оказывать свое воздействие и способствует у нас развитию семейного и общественного романа. Расцвет английского влияния падает на годы 1840—1855. Наблюдающееся в эти годы увлечение современным английским социальным романом, безусловно, способствует у нас и самостоятельным попыткам в этой области.

Как и в начале века, и в 20-е годы—в эпоху байронического поветрия—английское влияние 40-х годов не осталось специально-литературным явлением, но глубоко захватило все течения умственной жизни и все уклоны быта. В статье 1853 года А. В. Дружи-

¹⁾ Ф. Б а т ю ш к о в. Ричардсон, Пушкин и Л. Толстой, ЖМНПр. 1917, IX, стр. 11.

нин относит первое появление англomanии к началу 40-х годов и характеризует это увлечение именно с его бытовой стороны. „Как мы прославляли методу Робертсона, какие славные деньги платили мы разным джентльменам в коротеньких пальто, как искусно мы присвистывали по птичьему и как едко подсмеивались над особами, которые, говоря по-английски, не умели соорудить на своем лице птичьей физиономии!.. Сколько дельных и умных книг было тогда распродано в маленьком магазине мистера Диксона! Сколько раззолоченных кипсеков было набросано по щегольским столикам!“¹⁾ В. Ф. Одоевский пишет целую статью „Англomanия“, где доказывает вред английского влияния, а в параллель к теоретическим суждениям в своих беллетристических очерках осмеивает новый тип русского англomана²⁾. Действительно, англomаны встречались тогда и среди русских помещиков и в чиновной среде; несколько раньше появился тип литератора-англomана.

Характерной в этом смысле фигурой был прежде всего О. И. Сенковский. Руководимая им „Библиотека для Чтения“, по свидетельству современника, с первых годов своего существования „обнаруживала склонность к литературе английской, к ее спокойному анализу сердца человеческого, в противоположность тогдашней „юной школе“ французской, которая жестоко преследовалась как замечаниями самого редактора, так и статьями в том же духе, заимствованными из английских Reviews“³⁾. Действительно, отдел „иностранная словесность“ этого журнала наполнялся по преимуществу переводами из английских писателей, а „критика“ и „смесь“ составлялись главным образом по материалам английских обзоров. „Мы усердно стараемся в „Библиотеке для Чтения“ обратить внимание русских читателей, особенно родителей, на произведения английских романистов,—заявлял сам редактор.—Что ни говорите, а чистая нравственность есть великая пружина и в изящном и в словесности. Мы уверены, что эти романы найдут на Руси ревностных читателей, и уверены также в полезном влиянии их на нашу литературу“⁴⁾. Другой раз, обещая критические статьи, посвященные Куперу, Краббу, Соути, вслед за напечатанными уже очерками о

1) Собр. Соч. А. Дружинина. Спб. 1865, т. V, стр. 316—317.

2) П. Н. Сакулин. Кн. В. Ф. Одоевский—I, 572—582; II, 113—115.

3) Собр. Соч. О. И. Сенковского. Спб. 1858, т. I („О. И. Сенковский“, биографич. очерк П. С. Савельева), стр. LXXXII.

4) „Библ. для Чтения“ 1837, т. XXIII, отд. VII, стр. 13.

Кольридже, Ф. Гименс, Вордсворте и Р. Бернсе, Сенковский отметил: „Подобные обзоры могут иметь свою пользу и приятность, если справедливо, что в течение своего существования „Библиотека для Чтения“ успела несколько умножить число тех, которые готовы искать чистых умственных наслаждений в английской словесности, бесспорно первой из новейших словесностей и при всем том долго забытой у нас для словесности самой непоэтической из всех,—чтобы не сказать самой поверхностной и безнравственной“¹⁾.

Вслед за „Библиотекой для Чтения“ и другие журналы стали помещать периодические обзоры английской литературы. На страницах Отечественных Записок, Современника все чаще мелькают имена английских писателей; охотно переводят В. Скотта, Купера, Марриета, Бульвера; интересно подчеркнуть увлечение даже второстепенными беллетристами вроде доктора Гаррисона („Записки врача“) или Гука, новеллы которых возвещают близость „Очерков“ Боца-Диккенса. Интерес к текущей английской словесности влечет за собою интерес к ее старинной литературе, и в новых переводах выходит ряд ее классических произведений.

Первое место принадлежит, конечно, Шекспиру: переводы Н. Полевого, Вронченко, Кронеберга, Сатина и других, особенно же внушительный замысел Н. Кетчера дать полный перевод его творений, идут рядом с серьезным интересом к шекспировской критике в Германии и Англии (В. Боткин). В 1838 г. отдельным изданием выходит „Калейб Вильямс“ В. Годвина; в 1843 году П. А. Корсаков дает первый полный перевод „Робинзона Крузо“ Д. Дефо²⁾; в 1846 г. в переводе Я. Герда выходит „Векфильдский священник“ Гольдсмита; в следующем году этот же роман появляется в новом переводе А. Огинского; наконец, в 1848 году „Библиотека для Чтения“ печатает сокращение „Клариссы“ Ричардсона, а Современник — „Том Джонс“ Фильдинга, в переводе А. И. Кронеберга. В этом ряду особенно интересно назвать и Диккенса, первые переводы которого появляются в 1840 г.; к середине 40-х годов он уже становится у нас одним из наиболее любимых и читаемых иностранных авторов.

Интерес к английской литературе, истории, культуре и быту сказывается в русском обществе во всех, даже враждебных друг другу общественных группировках. Англофильские симпатии чув-

1) „Б. д. Ч.“, 1837, т. XXIV, Ин. Слов., стр. 96.

2) П. А. Плетнев, в рецензии на этот перевод („Соч. и переписка П. А. Плетнева, СПб. 1885, т. II, стр. 360—361), пользуясь, вероятно, указателями Сопикова и Смирдина, перечисляет все русские переводы и переработки романа Дефо, начиная с 1792 года.

ствуются у Боткина и Каткова; Кетчер и Кронеберг специализируются на переводах с английского языка; в лагере славянофилов определенное увлечение Англией сказывается у А. С. Хомякова; в „Москвитягине“ его охотно поддерживают М. П. Погодин, С. П. Шевырев. В конце 40-х годов зарождается и англофильство А. В. Дружинина и И. И. Введенского. Последний в автобиографической записке, поданной в 1849 г. инспектору классов дворянского полка, сообщает, между прочим, о своем большом и чрезвычайно интересном именно для конца 40-х годов замысле—исследовать влияние английской литературы на русскую. „Продолжая разрабатывать памятники новейшей русской литературы,—пишет Введенский,—я постепенно пришел к мысли относительно обширного влияния, какое в последнее время английские писатели оказали на русскую литературу. Под влиянием этой мысли я предложил себе задачу—определить отношение английской литературы к русской и в то же время изучить английских писателей XVIII и XIX веков¹⁾. Если приглядеться внимательнее к этой поре англomanии в русской литературе, то интерес к классическому английскому роману XVIII века покажется очень знаменательным. Особенно ценимой и привлекательной могла быть здесь, конечно, не его поучительность и преднамеренность в нравовании,—хотя именно эти качества иные из критиков и вменяли в заслугу английской словесности вообще (Сенковский),—однако гуманная тенденция и филантропическое настроение английских романов XVIII века, несомненно, соответствовали отвлеченному идеализму русской общественной мысли 40-х годов. Русскому читателю этой поры много говорил здесь их интерес к рядовой человеческой личности, склонность к изображениям униженных жизнью и обойденных счастьем, начатки меткого анализа простых человеческих чувств, наконец, их глубокая социальная основа. Те же причины обеспечили у нас быстрый рост популярности Диккенса, в первых романах которого определенно чувствуется связь со здоровым натурализмом Фильдинга и сентиментальной дидактикой Ричардсона. Английский социальный роман 30—40-х годов XIX века восходит именно к традициям английской литературы XVIII века; в юмористических новеллах Диккенса-Боца отчетливо видны влияния живых сатирических набросков журналов Стиля и Аддисона, а добродетельные герои романов Диккенса „первой манеры“ уводят нас к „христианским героям“ Ричардсона и Гольдсмита.

¹⁾ П. Гусев. И. И. Введенский. Эпизод из его жизни. „Русск. Стар.“ 1879, кн. VIII, стр. 742.

Англомания сказывается и в русской художественной литературе; ее не трудно проследить и по произведениям Достоевского Тургенева и Л. Толстого.

III.

Деятельность Белинского в Отечественных Записках и Современнике совпала как раз с эпохой сильного роста английского влияния в русской литературе. Пройти мимо этого явления Белинский не мог. Уже первым читателям его критических обзоров могли броситься в глаза частые у него цитации и упоминания английских авторов, сочувственные отзывы обо всех наиболее крупных явлениях английской литературной жизни, а позднее существовало даже убеждение, что русская англomanия 40-х годов была вызвана к жизни и укреплена авторитетом Белинского¹⁾. Действительно, Белинский заявлял не раз, что „англичане обладают такой художественной литературой, которую скорее можно поставить выше, нежели ниже всякой другой европейской литературы“ (VI, 538), а столько раз повторенные им восторженные отзывы о Шекспире, Байроне, Вальтере Скотте, казалось, общим своим источником имели сочувственное отношение к английской литературе в ее целом. Белинский не только высказывался по поводу отдельных представителей английской литературы, но и прочно обосновывал свои критические приговоры рядом экскурсов в область английской истории, культуры и быта. Охотно пользуясь методом исторического подхода в оценке современных ему литературных явлений, Белинский раскрывал перед читателями сложную перспективу литературного прошлого Англии, набрасывал отдельные эпизоды ее литературной истории и, наконец, обобщая свои наблюдения, сводил к нескольким убедительным формулам основные черты ее национального своеобразия. Однако проблема английской государственности, экономический быт страны, движения ее общественной жизни интересовали его не меньше, чем свежий роман В. Скотта или новое исследование о Шекспире. Во всяком его литературном отзыве чувствуется прочный историко-культурный базис. Это создавало особенную устойчивость его воззрениям. Знаменательно, что в его оценках отдельных английских писателей и в общем понимании характера английской словесности, за весь долгий и сложный путь его эстетических и философских исканий, не было особенно резких колебаний: общие выводы, схематически намеченные уже в „Литературных мечтаниях“, в дальнейшем были лишь развиты и углублены.

1) „Вестник Европы“ 1872, VI, 73.

Уже в „Литературных мечтаниях“, пользуясь очень распространенным шеллингианским воззрением, что „каждый народ выражает собою какую-нибудь одну сторону жизни человечества“, Белинский определяет англичан, как представителей здравого смысла и энергичного практицизма. „Немцы, — пишет Белинский, — завладели беспредельной областью умозрения и анализа, англичане отличаются практической деятельностью; немец все подводит под общий взгляд, все выводит из общего начала; англичанин переплывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте и на расчете... Немцы обогащают человечество идеями, англичане — изобретениями, служащими к удобствам жизни“ (I, 317). Характеристика англичан, как народа положительного, расчетливого, особенно склонного к промышленности, технике и торговле, у Белинского навсегда осталась чертой, с его точки зрения наиболее удачно определяющей британский национальный гений. Он поставил ее во главу угла во всех своих суждениях об Англии и подходил к оценке английской литературы и искусства, неизменно руководствуясь ею. Англия — прежде всего промышленная, индустриальная страна. „Мы можем учиться у англичан их промышленности, их универсальной практической деятельности“, восклицает Белинский в 1838 году (IV, 4), а в 1842 он все еще советует едущим в Англию обратить внимание прежде всего на ее государственные учреждения и торгово-промышленные предприятия: „В Англии, кроме парламентов, важны фабрики, купеческие конторы и рабочий класс народа“ (VII, 126). Сам Белинский с интересом следил за быстрым развитием английского политического могущества: его интересовало соотношение в Англии классовых сил, исход ее парламентских реформ, экономический быт страны, положение и рост ее промышленности. Сведения, какими он располагал, в значительной степени определили и его взгляд на своеобразие английской литературы.

Эта точка зрения была подсказана Белинскому публицистикой эпохи. Взгляд на Англию, как на страну промышленную по преимуществу, был общим местом не только русской, но и европейской критики; его охотно поддерживали и английские обозреватели, в стремлении к развитию техники и промышленности видевшие основную черту века и потому провозглашавшие Англию первой из цивилизованных стран Европы ¹⁾. Характерно, что Белинский ирони-

1) „Caractère de notre époque“ — „Revue Britannique“ 1829, t. XXVII, p. p. 1—29 (из „Edinburgh Review“): „Si nous voulions caractériser notre âge par une seule épithète, nous ne le nommerions pas un âge héroïque, religieux, philosophique ou moral;

чески отзываясь о статье Филарета Шаля „Нынешняя английская словесность“, в русском переводе помещенной в 3-ей книге „Сына Отечества“ за 1839 год. „В этой статье,— пишет Белинский,— говорится о Шекспире и о Байроне, и о Вальтере Скотте, о Сутее и Вордсворте, но об искусстве не говорится ни слова, а между тем много наговорено о машинах, цилиндрах, новейшей цивилизации пароходах и о прочем, что до искусства не касается“ (IV, 258). Позднее Белинский грешил тем же, как только пытался „вывести основную идею национально-исторической жизни“ английского народа, определить историческую роль Англии в европейской цивилизации и место ее литературы.

Путешественники по Англии при оценке тех впечатлений, которые доставило им посещение этой страны, выдвигали на первый план прежде всего индустриальный характер ее жизни. Сопоставляя Италию с Англией, С. П. Шевырев писал: „Там идеальный мир фантазии и искусства; здесь существенная сфера торговли и промышленности“¹⁾. „Вот он, всемирный базар,— восклицал в свою очередь М. П. Погодин в 1839 году, вместе с Шевыревым подъезжая к английскому берегу,— вот столица народа купующего и продающего, с похотью очей и гордостью житейской, который трудится из всех сил, ломает себе голову и шею, ухищряется, выдумывает, мерзнет у полюсов и печется под экватором, с одною целью приобретать себе больше и больше; народа, который богаче и беднее всех в мире, народа, у которого личное право развилось наиболее, у которого дом есть крепость“ и т. д.²⁾ Если эта характеристика традиционна, то конечный вывод из нее может быть различен, согласно личным политическим воззрениям и общественной позиции. У славянофилов, например, оживленно обсуждавших в своей среде английский вопрос, отношение к Англии, в общем, довольно сочувственное: Шевырев преисполнен удивления к ней и благоговеет перед ее политическим могуществом и благоустроенностью; Хомяков, много раз печатно заявлявший о своем англофильстве и посвятивший Англии немало блестящих страниц, не вполне последовательно предрекал ей скорую гибель, как только уходил из области чисто рассудочных построений в область лирических предвидений и чувств. Белинский высмеял английские симпатии славянофилов. По поводу „Путешествия в Лондон“ Погодина, помещенного

mais un âge mécanique, car c'est là ce qui le distingue entre tous les autres. C'est l'âge des machines, dans les acceptions diverses de ce mot“.

¹⁾ С. П. Шевырев. Взгляд русского на современное образование Европы. „Москвитянин“, 1841, ч. I, № 1, стр. 221.

²⁾ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. V, стр. 286.

в „Русской Беседе“ А. Ф. Смирдина (СПБ 1842), Белинский написал несколько ядовитых строк, иронизируя над его описанием Парламента и Тоуэра (VII, 280—282), а в обзоре „Русская литература в 1844 году“ зло посмеялся над стихотворением, в котором Хомяков пророчил Англии скорую смерть. „Сперва он расхваливает ее,—пишет Белинский,—называя „счастливою и богатою“ (вероятно мета на детей, работающих в рудокопнях), а потом начинает бранить“... „Мы не берем на себя высокой роли предрекать скорый конец народам и государствам... Но что Англия может потерпеть за то, что в ней бедные люди беспрестанно или умирают голодною смертью, или предупреждают смерть самоубийством—это другое дело“ (IX, 118).

Но были и другие течения русской публицистической мысли, во многом сходные с воззрениями славянофилов, представители которых отрицательно относились к успехам Англии в области торговли и промышленности, а в положительных стремлениях английского ума видели грозное предзнаменование скорого оскудения английской мысли. И те и другие воззрения до известной степени, несомненно, подсказаны были немецкой философской критикой.

Для Одоевского, например, основной уклон английской жизни является чертой глубоко отрицательной. Пусть не указывают на „чудные успехи английской промышленности. Да, англичане чудесно делают перочинные ножки. Но худо то, что они успехи своей промышленности купили ценою человеческого достоинства“. „Чудесами своей промышленности англичане обязаны превращению человека в машину“. И Одоевский ссылается на тяжелое положение фабричных рабочих и на грубую эксплуатацию детского труда. Последний вопрос был, повидимому, злобой дня. Его, как мы видели, вскользь коснулся и Белинский в своем отзыве о стихотворении Хомякова ¹⁾. Это особенно интересно подчеркнуть в связи с тем впечатлением, какое произвели на тогдашнее общество детские образы Диккенса, выхваченные как раз из копоты и полутьмы английских фабричных центров, грязных кварталов городских предместий и уличной суеты. Единственно, что, по мнению Одоевского, спасает Англию—это поэзия, которая была „вечным упреком английской бухгалтерии“. В той же статье Одоевский горячо обрушивается на

¹⁾ Немецкий путешественник Раумер („Англия в 1835 году“—„Библиография для Чит.“ 1836, т. XVII, отд. III, стр. 40—41) также с негодованием говорит о „превращении бедных мальчишек в дополнительные колеса машин, о невольничестве, которому нет примера в истории мира“. „Мы,—прибавляет Раумер,—производим менее тканей, зато более идей и чувствований, и поэзия детства еще не изгнана у нас громом машин“.

„Библиотеку для Чтения“, где „возле насмешек над немецкими умами встречались похвалы всем английским посредственностям и извлечения из так называемых философских книг“. Англия не заслуживает такого преимущества, так как английской философии в собственном смысле не существует, а то, что называется ею, покоится на грубо эмпирических началах. „Удивительная сбивчивость“ характеризует все английские умы, и он пытается обнаружить противоречия, непонятные промахи и „пустой, детский схоластицизм“ у Бэкона, Бэнтама, не исключая даже лорда Брума, который кажется ему „одним из лучших умов Англии“. „Дело англичан—винты и колеса, а за колесами—золото“. „Творческой плодоносной мысли от них не ждите“, формулирует Одоевский¹⁾. С обвинениями Одоевского английской философии интересно сопоставить воззрения Белинского, в общем, однако, далеко не разделявшего его взгляды на английский вопрос.

Считая англичан способными преимущественно к практической деятельности, Белинский находил, что „практическая и положительная Англия чужда всякой отвлеченности в мышлении и все попытки ее в философии всегда были ничтожны сами по себе и нисколько не достойны ее успехов в поэзии“ (V, 475). С. А. Венгеров напрасно считает это обмолвкой Белинского²⁾. За то, что перед нами не случайный *lapsus calami*, а прочно сложившееся убеждение, ручается прежде всего замечательная устойчивость этого отзыва. Если первый абрис этой мысли встречается уже в „Литературных мечтаниях“, то с тою же категоричностью Белинский утверждает это и в статьях середины 40-х годов. „Англичане плохие и ничтожные мыслители,—пишет Белинский в статье „Общее значение слова литература“. Народ „по преимуществу практический, промышленный, торговый, словом утилитарный, англичане сильны в положительных науках, особенно в их применении к практике; философия же и вообще все умозрительные знания находятся в Англии в самом жалком положении“ (VI, 537). Еще резче та же мысль высказана Белинским в статье 1843 года („Сочинения Державина“), где Англия вновь противопоставлена и Германии, и Франции: „Сколько Германия идеальна, столько Англия практически положительна; как велики успехи немцев в философии, так ничтожны попытки англичан

1) Статья В. Ф. Одоевского „Англомания“ в свое время не попала в печать. Цитирую ее из книги П. Н. Сакулина. Кн. В. Ф. Одоевской. I, 1, стр. 572—582, где дано ее связное изложение и по рукописи напечатаны из нее большие извлечения.

2) Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. V, стр. 576.

в абсолютной науке: у англичан источником всех их исторических событий бывает польза общества“... (VIII, 136).

Не являясь таким образом, случайной обмолвкой Белинского, взгляд этот, однако, и принадлежит не ему одному, но лишь воспроизводит очень распространенный высокомерный отзыв немецкой идеалистической философской школы об английском эмпиризме. С отзвуком этого же воззрения мы встречаемся, несомненно, и в изложенных положениях В. Ф. Одоевского. Фр. Шлегель, напр., дает такую оценку английской философии в своей известной „Истории древней и новой литературы“: „Великие предметы внешние, торговля всемирная и британская конституция, Индия и твердая земля поглощают дух в сей самой деятельной стране, и в сей-то деятельности преимущественно является превосходство духа англичан в своем блеске. Там вовсе не остается им времени (в самом точном значении этого слова) для мышления более глубокого и для философии. По сей причине они должны уступить первенство даже французам“. Шлегель подчеркивает, что „понятие о благоденствии нации невидимо властвует не только у Адама Смита, но и во всей английской философии вообще“. „Если иные философы в Англии шли собственными умственными путями, отдельно от дороги общей, то это большею частью не имело никакого всеобщего успеха; притом же известные мне опыты сего рода, сами по себе, ни слишком достопримечательны, ни отличны“. Еще дальше Шлегель говорит даже о „совершенном запустении философии английской“¹⁾.

Это сопоставление позволяет заключить, что в резком отзыве Белинского об английской философии мы имеем не просто плохую осведомленность его в судьбах английской философской мысли, но лишь преднамеренное и, по всей вероятности, внушенное каким-нибудь немецким источником, осуждение английского эмпиризма. Свойственный англичанам эмпиризм—характернейшая черта их ума. Но сам по себе эмпиризм есть лишь ступень к знанию, но не его совершенная степень. Шеллинг научил, как им следует пользоваться,

¹⁾ Фридрих Шлегель. История древней и новой литературы. СПб 1830, т. II, стр. 245; 231—232; 235—236; 251. Г. Раумер (стр. 63), сопоставляя германскую философию с английской, находит, что только немецкая мысль „всегда умела находить путь к спиритуализму, всегда становила у себя на челе закон духа“, и что „это сделает ее современем более полезною для человека, нежели паровые машины и гидравлические прессы“. Позднее А. С. Хомяков в своем известном „Письме об Англии“ (1848) также замечает, что „из всех земель просвещенной Европы Англия наименее развила в себе философский анализ“ (Полн. собр. соч. М. 1900, т. I, стр. 111, 135), что можно считать таким же отголоском воззрений немецкой критики.

и какое из него можно сделать употребление. „Высочайшими авторитетами в умозрительных науках должны остаться именно немцы, и только они. Строй мысли Белинского мог быть именно таков. В 1839 году Белинский подчеркивает, что „англичане, гордящиеся Шекспиром, Байроном и В. Скоттом, суть в то же время и народ, отличающийся силою рассудка, способностью анализа и практическим умом. Если в их искусстве и в их истории видно преобладание разума и фантазии, то в их мышлении видно явное преобладание рассудка (IV, 319—320). Интересны выводы, которые Белинский вскоре сделает из этого наблюдения. „У всякого народа должно брать, занимать и перенимать только то, что составляет сущность его жизни, плоды его духа, словом его действительность в высшем философском значении этого слова. И потому философии будем учиться не у французов и англичан..., а у немцев; высшего, художественного (т. е. вышедшего из национальной непосредственности) искусства будем искать не у французов, а у англичан и немцев“ (IV, 364).

Отзыв Белинского об английской литературе обязан той же его основной предпосылке, которая определила все его суждения об английской культуре. „Покорение сил природы на службу обществу,— пишет Белинский в 1843 году,— развитие промышленности, как основной общественной стихии, как краеугольного здания общества,— вот в чем сила и величие Англии и ее заслуга перед человечеством“. Англия во многом похожа на древний Рим. „Но в отношении к искусству Англия ничего общего с древним Римом не имеет: тевтонское племя, двумя слоями,—саксонским и норманским, легшее на почве ее исторического формирования, и христианство, как глубоко вошедший в жизнь ее элемент, заронили в национальный дух англичан плодотворные семена поэзии“. „Как в стране, по превосходству общественной и практической, в Англии особенно развились драма и роман, недоступные для немцев; от французской же поэзии английская отличается и своею художественностью, и своим равнодушием к верно изображаемой действительности, без порывания подвигнуть и возвыситься до идеала“ (VIII, 136). Без оговорок характеристика эта могла бы показаться односторонней: „но как Англия есть страна всевозможных противоречий нравственных, то невозможно подвести ее явлений под какую-либо определенную точку зрения: так, например, об руку с ее равнодушием к добру и злу действительности идет самый глубокий юмор, а в Байроне Англия имела поэта, который по пафосу своей поэзии всего родственнее Франции и всего враждебнее своему отечеству. Правда, Вольтер и Руссо имели сильное влияние на Байрона; но правда и то, что юмор, мрачная

глубина и колоссальная сила духа Байрона явно обличают в нем сына Британии“. Отсюда же Белинский выводит и „основную идею национально-исторической жизни народа“, которая „существует всегда как сумма понятий и правил общества“: „Эгоизм и расчетливость—характерные черты британца“ (VII, 126, 128). „Англичане суровы, важны и недоступны в обществе, они легче сходятся друг с другом в парламенте, в трибунале, на бирже, чем в салоне, и в последнем они этикетны; их пиры и обеды выражают не светскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, где глава семейства является маленьким деспотом, и где основные принципы отзываются маленьким варварством феодальных времен; в светской же жизни англичане этикетны и скучны с достоинством. В общественных нравах их царствует чопорность, *pruderie* и самая мелкая стеснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть в их нравах, как необходимый результат вечного торгашества и вечной борьбы промышленного духа с внешними препятствиями. Энергия национального духа англичан, которой они обязаны своим государственным величием, своею всемирною торговлею и своими всемирными завоеваниями и поселениями, трагически выражалась в политических и религиозных переворотах. Отсюда эта мрачность и суровое величие их поэзии; отсюда же происходят и их великие успехи в драматической поэзии: сама история Англии есть ряд трагедий,—и Шекспиру легко могла войти в голову мысль писать трагические хроники Англии: материалы были у него под рукою—стоило только оживить их духом поэзии“ (VIII, 137).

Эта блестящая страница предвосхищает И. Тэна, лучшие главы его „*Histoire de la littérature anglaise*“ (1864), где с такою же определенностью основные черты английской литературы выведены из характерных особенностей британского духа, из мелких деталей английского быта и нравов, и где многообразие литературных явлений сведено к сжатым и убедительным формулам их национального расового своеобразия. Позднее и Г. Брандес в своих лекциях об английском натурализме (1875) основным свойством английского духа назовет стремление к практической деятельности и отметит резкую реалистическую черту, которая проходит через всю их мораль и сквозь все их мировоззрение. Специальной, чисто английской особенностью он будет считать здравый смысл в поэзии, и даже в мечтательном идеализме Шелли увидит утилитаристический оттенок, который роднит его философию с моралью Бентама и Ст. Милля.

Подводя итог своим наблюдениям, Белинский давал сжатую и точную характеристику отличительных особенностей английской ли-

тературы. Основных черт две: верность действительности и юмор. „Чуждая французской отвлеченности и юношеской способности увлекаться мечтами и идеями, Англия глубоко понимает жизнь“ (X, 474—475). Что же касается юмора, то эта черта казалась Белинскому особенно характеризующей для той страны, где вся общественная жизнь построена на ужасающих противоречиях: „Нигде индивидуальная личная свобода не доведена до таких безграничных размеров, и нигде так не сжата, как в Англии... Нигде нет ни такого чудовищного богатства, ни такой чудовищной нищеты, как в Англии. Нигде так не прочны общественные основы, как в Англии, и нигде, как в ней же, не находятся они в такой же опасности разрушиться“. „Страна всеобщего тартюфства, Англия имела историка Гиббона. Сколько противоречий! Но из этих-то противоречий и вышел тот мрачный титанический юмор, который составляет характеристическую черту английской литературы, резко отличающую ее от других литератур. Англия—отечество юмора, который теперь более или менее привился ко всем европейским литературам и который составляет могущественное орудие духа отрицания, разрушающего старое и приготавливающего новое. Английский юмор есть искупление национальной ограниченности в настоящем и залог ее будущего выхода из ограниченности“ (VI, 537—538).

Таковы основные взгляды Белинского на Англию и ее литературу. „Английский вопрос“, оживленно обсуждавшийся в русской критике и публицистике, подсказал ему основную точку зрения и дал первый необходимый запас фактических данных. Остальное восполнили инстинкт и тонкое эстетическое чутье. Его отдельные критические суждения об английских писателях и журналистах группируются вокруг этого основного стержня и делают его еще более обоснованным и устойчивым.

IV.

Чрезвычайно характерно, что блестящие выводы и тонкие синтетические построения Белинского относительно основного характера английской литературы основаны были на сравнительно небольшом запасе фактических данных.

Белинский не знал английского языка ¹⁾, и его познания в английской литературе, если исключить возможность влияния друзей,

¹⁾ Уже в 1831 г. Белинский ошибается, переписывая английский эпитаф. (I, 18). Что его особенно затрудняла английская орфоэпия, можно видеть на ряде примеров неустойчивости написаний английских собственных имен. Он пишет: „Сутей“ (II, 79; IV, 258; VII, 360), „Соутэ“ (X, 60) и даже „Soyouthi“ (X, 61).

определялись лишь кругом русских переводов с английского языка и движением русской журнальной литературы.

Имя Шекспира становится известным Белинскому уже в Пензенской гимназии. На летних каникулах он в школьном театре играет уже в Дюсисовской переделке „Отелло“. Как отметил уже Н. Стороженко¹⁾, на восторженном отношении Белинского к английскому драматургу нисколько не отразился сложный путь его эстетических и философских исканий, и высокая оценка Шекспира осталась неизменной до конца его деятельности. В „Литературных мечтаниях“ Шекспир поставлен выше Байрона; позднее Белинский особенно восторгается „верностью действительности“ английского драматурга и глубиной его психологического анализа.

С Мильтоном Белинский отрывочно знакомится, вероятно, еще в эпоху студенчества²⁾, но отношение к его знаменитой эпопее с первых же лет критической деятельности устанавливается глубоко отрицательное. В противоположность Надеждину и Шевыреву, Белинский в „романтических красотах“ „Потерянного Рая“ видит одни лишь „уродливости“ и впоследствии несколько раз повторяет анекдот о Мильтоне и низкой оценке его поэмы английским книгопродавцем (II, 83, 192; IV, 1; II, 264—265).

Познания Белинского в английской литературе XVII—XVIII веков были очень незначительны и случайны. В 1831 году в „Тетрад-

Радклифф—„Анна Радклив или Радклеиф“ (II, 239; X, 471). Согласно русской традиции, Lewis передается Белинским „Левис“ вм. ожидаемого „Льюис“ (II, 259). Популярный роман В. Скотта „Ivanhoe“ транскрибируется различно: „Ивангое“ (II, 54), „Иваное“ (VI, 80), „Айвенго“ (VII, 106) или, наконец, согласно с произношением В. Боткина—„Эйванго“ (Письма, II, 433). Правда, Белинский бойко цитует „Гамлета“ по-английски и сопоставляет его с французским переводом Летурнера и русским—Полевого (V, 232), но это сделано не без содействия кого-нибудь из его друзей. В письме к брату от 21 мая 1833 г., в числе переводов, сделанных им для „Телескопа“, Белинский, между проч., называет статью „Граф и Альдерман“. В „Телескопе“ 1833, № 14, стр. 249—257, действительно, есть статья: „Английские нравы. Граф и Альдерман“, но под нею стоит отметка: „New Monthly Magazine“. На этом основании Венгеров отказался считать ее переводом Белинского: „По-английски Белинский не знал, след., перевод ему принадлежать не может“ (I, 209). Не возражая Венгерову по существу, можно, однако, считать вполне вероятным, что указанная статья переведена Белинским не с английского подлинника, но с какого-нибудь французского перевода. Ссылка же „Телескопа“ сделана не на косвенный, а на прямой источник перевода.

1) Н. Стороженко. Шекспир и Белинский. „Мир Божий“ 1897, III, 126—140; перепеч. в книге „Опыты изучения Шекспира“, стр. 254—277.

2) В письме к Ивановым от 13 января 1831 г. Белинский сообщает о своем университетском товарище: „Петров занимается переводом „Потерянного Рая“ на русский, стихами—и переводит лихо“ (Письма, I, стр. 27).

ку стихотворений, выписанных из журналов“, Белинский помещает, между прочим, „Подражание Попу“ В. Олина (I, 18); позднее он ополчается против школы английского классицизма, и отношение это остается неизменным до конца жизни; „французы оставались верны себе, были национальны в духе, будучи подражателями в словах и во внешних формах; но англичане, в лице Драйдена и Попе, отказались сами от себя, и их подозрительная литература была пустоцветом в полном смысле этого слова“ (VI, 296). В 1840 году Аддисон и Поп отнесены к группе „поэтических уродов“, наряду с Вольтером, Дюсисом и даже Молбером (V, 30). Белинскому, конечно, были знакомы романы Дефо и Свифта; что же касается английских „семейных романов“ XVIII в., то он едва ли читал даже „Клариссу“ Ричардсона. В одном из своих блестящих очерков истории европейского романа за два последних века Белинский называет Ричардсона и Фильдинга, которые из романа „делали картины частной семейной жизни с целью установить для нее неизменяемые моральные правила, и потому он у них был длинен, чопорен и сух“ (X, 471, ср. VI, 530), но и этот отзыв основан, вероятно, не на личном впечатлении¹⁾.

Белинский знаком с мрачной фантастикой Анны Радклиф и Льюиса (Lewiss), романами которых он увлекался в ранней юности²⁾, связывает с этой же школой творчество Матюрена и говорит об „иронии отрицания Свифта и Стерна“ (X, 475).

„Во всех лучших романах прежнего времени,—резюмирует Белинский,—видно стремление быть картиною общества, представляя

1) Когда в редакции Современника возник проект дать в русском переводе лучший из романов Фильдинга „Том Джонс“, незнакомому с ним Белинскому пришлось обратиться к авторитету Тургенева. „Скажи Некрасову,—писал Белинский Боткину,—что по словам Тургенева роман Фильдинга „Том Джонс“ можно смело переводить и печатать“. Письма, III, 217. Роман этот, действительно, появился в Современнике 1848 г., в переводе А. И. Кронеберга.

2) О юношеском увлечении Белинского романами А. Радклиф говорит в своих „Воспоминаниях о Белинском“ Н. И. Иванов („Московск. Ведом.“ 1861 г., № 135). В обзоре „Русская литер. в 1842 г.“ Белинский сам говорит об этом: „Воспоминания детства так отрадны и сладостны, что мы не без сердечного трепета вспоминаем иногда романы Радклиф, Дюкре Дюмениля и Авт. Лафонтена и, смеясь над ними, вспоминаем их иногда, как добрых друзей нашего мечтательного детства“. О Льюисе Белинский вспоминает значительно раньше (II, 239). „Порусски Льюис переведен не был,—замечает Венгеров (II, 572),—и Белинский был с ним (романом Льюиса „The Monk“) знаком либо по французским переводам, либо по статьям об английской литературе“. Это указание неточно: в начале века на русском языке был издан ряд произведений Льюиса, в том числе и его прославленный „Монах“ (СПб. 1802), правда, под именем А. Радклиф. См. Сопиков-Рогожин, т. IV, стр. 175, №№ 9392—9393; 9340.

Белин. по по
ишкен
Радклиф.

анализ его оснований. Но это было только стремлением. XIX веку в лице В. Скотта, предоставлено было навсегда утвердить истинное значение романа. В эпоху величайшего торжества своего великий шотландский романист был, разумеется, не понят. Все думали, что вся тайна чрезвычайного их успеха заключается в исторической верности нравов и костюмов, тогда как все дело заключалось прежде всего в верности действительности, в живом и правдоподобном изображении лиц, умении все основывать на игре страстей, интересов и взаимных отношений характеров" (X, 473). Таким образом „верность действительности“ — вот что характеризует и выгодно отличает В. Скотта среди всех европейских писателей и в то же время подчеркивает его связь с почвой, на которой он возрос. В свете воззрений Белинского на основной характер английской литературы не покажутся странными и сопоставления В. Скотта с Шекспиром: дело идет здесь, конечно, не о размерах их дарований, но об основной черте британского гения, которая, по его мнению, замечательно отчетливо сказалась и у одного и у другого. В. Скотт принадлежал к числу любимых авторов Белинского. Он не пропускал случая упомянуть его, анализировал его влияние на европейскую и, в частности, на русскую литературу, охотно пускался в пересказ его романов и всегда особенно резко выделял его среди всех романистов Англии; соперничество выдерживал с ним один Купер, однако в нем Белинский готов был видеть типичного американца, ничем не обязанного английской культуре.

Особо должен быть отмечен отзыв Белинского о романе выдающегося английского публициста, романиста и историка В. Годвина (1756—1836) „Калеб Вильямс“ (Things they are, or the adventures of Caleb Williams, London 1791). Венгеров оставляет его без комментариев, между тем он может объяснить очень многое и в истории отношения Белинского к английской литературе, и в сложном пути его философских исканий. „Калеб Вильямс“ был одним из последних звеньев, связавших роман XVIII века с английским социальным романом 30—50-х годов. „Калеб Вильямс“, — одно из классических произведений английской литературы, — при первом своем появлении в печати было прочитано с громадным интересом по всей Европе и навсегда останется памятником того впечатления, какое и вне Франции произвели события 1789 года. В. Годвин оказал сильнейшее влияние на младшее литературное поколение, в частности на Бульвера и Шелли; значительная часть этого влияния должна быть отнесена именно на долю его романа. Его очень ценили еще Диккенс, Дизраэли и Кингслей. Строго говоря, „Калеб Вильямс“ — больше, чем роман. Годвин выступает в нем не столько как пове-

ствователь, но, главным образом, как политический мыслитель и реформатор, предвосхищая идею коммунистического анархизма. Следуя Руссо, Годвин во всех несовершенствах социальных учреждений винит законы, отвергая всякое принуждение и всякую власть. Государство—необходимое зло, обреченное на постепенное исчезновение вместе с религией, браком и всеми установлениями общественной жизни. Для пропаганды этих идей и написан „Калеб Вильямс“. Переведенный на все европейские языки, роман Годвина мог в русском переводе появиться только в 1838 году, когда он уже утратил значительную часть своей злободневности, и когда впечатление, произведенное им на европейское общество, значительно потускнело. До этого времени имя Годвина лишь изредка мелькает на страницах русских журналов¹⁾. Русский переводчик романа сгладил все его наиболее резкие места, а в предисловии к своей книге осторожно намекнул на его социальный смысл: „В некоторых местах Годвин обвиняет предрассудки человеческие. Обыкновенная сатира смеется над ними, а Годвин, со слезами на глазах, с терзающими душу воплями, указывает в них не смешную сторону, а недостатки, гибельные для счастья людей. Впрочем он нападает особенно на английский быт“.

На русское издание романа Белинский откликнулся рецензией в „Московском Наблюдателе“. „Вот роман,—писал он,—единодушно прославленный и превознесенный всеми нашими журналами, как будто бы это было величайшее художественное произведение, вторая „Илиада“, второй „Фауст“, нечто равное драмам Шекспира и романам В. Скотта и Купера“... „С жадностью взялись мы за него и через великую силу успели добраться до отрадного слова „конец“. Во-первых, в романе художественности не бывало, вещь он сделанная и, надо сказать правду, сделанная мастерски, если бы не два ужасных недостатка: убийственная растянутость и самый англий-

¹⁾ „Библ. для Чтения“ в 1834 году в переводной статье „О ходе словесности в Англии с начала XIX века“ (т. IV, отд. II, стр. 16—17) дает уже отчетливую характеристику „могущественного гения“ В. Годвина. „Во всех его творениях слышен вопль нищеты и злополучия; это северный Жан-Жак, более логический, чем Жан-Жак женеvский, человек с умом могущественным и терпеливым, романист, историк, оратор, холодный и рассудительный зажигатель“. „Его пагубное вдохновение, достойное сожаления, не покажется удивительным, если вспомним, что он писал посреди пожара, охватившего все европейское здание, посреди яростных криков, в двух шагах от эшафота Людовика XVI и Робеспьера, в виду материка, разрушаемого Бонапартом. „Калеб Вильямс“, „Мандевиль“ и другие удивительные произведения Годвина являются как грозные призраки посреди толиких прав, разгромленных, раздавленных и исходящих кровью“. О Годвине см. еще „Библ. для Чтения“, т. VII, XI и XVI.

ский, т.-е. самый несносный морализм¹⁾. В романе Годвина Белинский проглядел именно его учительную сторону и на трактат посмотрел, как на повествование. Возможно, что Белинский не знал и о действительной дате появления в свет английского подлинника; он не дает характеристики Годвина и не ставит его в отношения создавших его среды и эпохи. Социальный смысл романа остался Белинскому чужд: в его мировоззрении наступал как раз перелом в пользу примирения с „разумной действительностью“. Дана лишь оценка типичного произведения английской литературы. Характерно, что позднее и в Диккенсе Белинский заклеит тот же „английский, т.-е. самый несносный морализм“.

Чтобы вполне понять, как в последующие годы складывалось и определялось у Белинского отношение к Диккенсу, стоит остановиться еще на отзывах его о современной ему английской литературе, главным образом на отношениях к Бульверу и Марриету.

Имя Бульвера в 30-х годах было именем наиболее популярного и влиятельного английского романиста. Замысел Пушкина создать „Русский Пелам“ был первым сигналом к увлечению Бульвером в России. Многочисленные переводы его романов появляются в русских журналах с середины 30-х годов, главным образом в „Библиотеке для чтения“²⁾. Белинский в рецензии на роман „Рейнские пилигримы“ вполне точно указывает на 1835 год, как на начало знакомства своего с этим английским писателем. Знаменательно, что о популярности Бульвера и о большом влиянии его на европейскую литературу Белинский узнал из французского журнала. „Рейнские пилигримы“, — пишет Белинский, — единственный роман Бульвера, прочитанный мною. Но, судя по его характеру в упомянутой статье в „Revue Britannique“, они могут дать полное понятие о Бульвере. Из нее видно то, что дух англичан принимает новое

1) „Московск. Наблюд.“ 1839, № 3. Соч. Белинского, IV, 200—201. Отметим еще сочувственный отзыв о „Калейдоскопе“ П. А. Плетнева — „Современник“ 1838, XII, библ.; перепеч. в „Соч. и переп. П. А. Плетнева“, СПб 1885, т. II, 262—263.

2) В 1835 г. в переводе с французского в отдельном издании появился роман „Рейнские пилигримы“, в следующем году в „Библ. для Чт.“ были напечатаны „Свет, как он есть“ (Из „The student“) и „Последний день Помпеи“ (т. XIV). В конце 30-х годов в России с интересом прочитали книгу Бульвера об Англии („England and the English“); в своих заметках об Англии ею пользовались В. Ф. Одоевский (П. Сакулин, т. I, 1, 576—577), Н. Греч („Путевые письма из Англии, Франции и Германии“, СПб 1839, стр. 98 и сл.); на нее охотно ссылались еще Хомяков и Погодин. (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, IX, стр. 488). Интересен резко отрицательный отзыв о Бульвере С. Шевырева („Москвитинин“ 1841, ч. I, стр. 237), двойственная оценка Плетнева (Соч. и переписка, II, 380—381). Роман Бульвера „Кальдерон“ Белинский в 1839 г. отметил как „довольно интересную журнальную повесть“ (IV, 215).

направление, представителем которого есть Бульвер. В чем же состоит это новое направление духа английской нации? В стремлении к жизни мечтательной, идеальной, совершенно противоположной их положительной, расчетливой, рациональной жизни. Правда ли это? Возможно ли это дело? Не знаю, по крайней мере, так говорит автор статьи об Эдуарде Литтоне Бульвере; прибавлю еще, что он видит в этом направлении много худого и предсказывает близкую и ужасную реформу в Англии, обвиняя Бульвера в том, что он своими романами способствует этому вредному направлению и своим огромным авторитетом ускоряет его развязку¹⁾. Оставляя в стороне этот чисто семейный английский вопрос, Белинский проверяет свое личное впечатление о Бульвере: „Бульвер—поэт, каких много, поэт второклассный, если не третьеклассный; его романы, как романы—середка на половине, хотя в них и блестят искры истинного неподдельного таланта“. „Бульвер часто, или лучше сказать беспрестанно, жалуется на прозу нашей жизни, и очень заметно, что ему хочется быть мечтательным, хочется создать какую-то идеальную жизнь“. „Намерение нелепое! Разве нет поэзии в нашей жизни, разве сама истина и действительность не есть высочайшая поэзия?“ (II, 167—169).

Не менее суровый отзыв дан был Белинским и о другом, в 30-е годы очень популярном английском романисте, кап. Марриете (1792 — 1848). Марриет возродил английский морской роман, созданный в XVIII веке Дефо и Смоллетом. Сильный интерес к флоту после наполеоновских войн обеспечил в Англии широкую популярность его романам, в которых действуют морские герои, тщеславные и смелые, которые „руководятся в своих похождениях не желанием увидеть экзотические страны или корыстолюбивым расчетом, но честным служением родине и королю“. Марриет создал целую школу²⁾.

¹⁾ Белинский имеет в виду здесь, конечно, статью: „Eduard Litton Bulver“ (из „Monthly Literary Magazine“), во французском переводе помещенную в „Revue Britannique“ 1835, т. XV, р.р. 87—93, где о Бульвере, действительно, сказано, что он „jette le mépris sur ce génie positif, si naturel à un peuple de commerce et de l'industrie; enfin il réclame pour les gens de lettres une position plus haute, plus active, plus influente. Comme il trouve des échos, et que la grande-Bretagne actuelle semble prête à se diriger dans cette route, nous ne pouvons nous empêcher de voir dans ces symptômes le commencement d'une ère nouvelle, l'indice d'un changement majeur qu'il est important à signaler“ (р.р. 81—82). Однако в указанной статье „Рейнские пилигримы“ не упоминаются, и, следовательно, отзыв о них принадлежит исключительно самому Белинскому.

²⁾ О Марриете и его школе (E. Howard, Fr. Chamier, M. H. Barker) см. исследование К. Richter „Die Entwicklung des Seeromans in England in XIX Jahrhundert., 1906.

Популярный в России с конца 30-х годов, Марриет вместе с Купером надолго остался у нас любимым, особенно в юношеской среде; в эпоху Белинского он не только усиленно переводился в русских журналах, но даже вызывал у нас подражания ¹⁾. Еще в 1839 году Белинский дал довольно сочувственный отзыв о „превосходной повести“ Марриета „Чорт—собака“: „Мастерская обрисовка характеров, ловко завязанная и развязанная интрига, чудесный рассказ—вот достоинства этой повести. Местами—пошлость чувствований, тривиальный взгляд на вещи, сальность выражения—вот ее недостатки, вероятно сообщенные ей переводом“ (IV, 215). Оставляя в стороне выпад против Сенковского, в журнале которого была напечатана повесть Марриета, мы получим довольно отчетливую рекомендацию английского писателя. Дальнейшие отзывы Белинского о Марриете становятся все более суровыми. В рецензии на роман „Рассказ о том, как Иафет ищет своего отца“ (СПБ. 1840) Белинский определяет место Марриета в английской литературе: „Вот книга, которая показывает, как богата английская литература хорошими беллетристическими произведениями. Марриет далеко не В. Скотт, да он и не претендует на соперничество с ним; это скорее английский Поль де Кок, но который столь же поглубже, почеловечнее и поосновательнее французского, сколько дух английской нации глубже, человечнее и основательнее духа французской нации. А между тем этот роман не один у Марриета, у него много таких, и в Англии не один Марриет“. Возвращаясь к роману, Белинский считает его не первоклассным, но типичным произведением английской беллетристики. „Не представляя собою высших интересов духа, не имея ничего художественного, роман этот есть прекрасное беллетристическое произведение: он отличается удачной обрисовкой характеров и современного английского общества, а рассказ его так увлекателен, что нельзя оторваться от книги, не дочтя ее до конца“ (V, 292—293). Еще показательнее отзывы Белинского о романах Марриета „Морской офицер“ и „Пират“. Выдвигая служение, как идеальный мотив своих героев, Марриет охотно рисует образы

¹⁾ Ряд произведений Марриета и отзывов о нем находим в „Библиографии для Чтения“. Здесь переведены были „Трехсказочный паша“ (1836, т. XIV), „Три яхты“ (1838, кн. II), „Ардент-Троутон“ (Outward Bound) (1839, кн. XII), „Чорт—собака“ (1839, кн. III). Отдельно вышли: „Морской офицер“ (1837), „Рассказ о том, как Иафет ищет отца“ (1840), „Пират“ (1840). У нас Марриету подражал В. Даль (ср. его повесть „Мичман поцелуев“, 1847, с повестью Марриета—„Mr. Midshipman Easy“, 1836); менее отчетливо чувствуется подражание Марриету в морских романах Марлинского.

честных моряков, привязанных к родному кораблю; но он не раз уводит читателя от уютной чистоты и дисциплины корабельной жизни в грязные портовые кабаки, в своеобразный мир судовых рабочих, темных портовых дельцов, мошенников и плутов, которыми всегда полны гавани мира. В „Морском офицере“ Белинского неприятно поразила типическая психология идеального английского моряка, как раз то, что обеспечило этому роману успех в Англии, и он отнес ее на долю того же „несносного английского морализма“. „Морской офицер“, — пишет он, — произведение вялое, растянутое, скучное, написанное в духе той узенькой морали, почитающей развратом всякое проявление жизни и желающей, чтоб люди были мертвыми машинами, которые чувствуют, мыслят и действуют не сами собою, а посредством пружин и колес пошленьких сентенций и резонерских принципов“ (VI, 498). В отзыве же о „Пирате“ отмечена склонность Марриета спускаться в низины жизни: „Марриет — писатель не без дарования, особенно, когда берется за свое дело, остается верен доступной ему сфере жизни, а ему доступна только сфера низших сторон общественности; он хорошо нарисует портрет какого-нибудь негодяя шкипера, который между службой промышляет и контрабандою; он занимательно расскажет похождения какого-нибудь сироты, брошенного на произвол судьбы, натерпевшегося горя и бедствий, прошедшего сквозь огонь и воду. По роду изображаемой им жизни Марриет подходит под одну категорию с Диккенсом и Поль де Коком; но по таланту каждый из этих двух романистов — великан в сравнении с Марриетом“ (VI, 497—498).

Таким образом, два современных Белинскому английских романиста, наиболее популярные и читаемые в его время, вызвали его резкие отзывы. Высокая оценка английской литературы была основана исключительно на произведениях ее старинной литературы, круг познаний в которой был у Белинского невелик, и на произведениях эпохи романтизма. Шекспир, Байрон, В. Скотт — вот три имени, наиболее прочно овладевшие симпатиями Белинского. К текущей английской литературе отношение Белинского было, в большинстве случаев, отрицательным. 30-е годы английской литературы, действительно, были годами застоя. Сильное общественное брожение, парламентские реформы („Билль о реформе“, 1832) готовили поворот и в литературе ¹⁾. В атмосфере новых

¹⁾ См. важное исследование L. Casamian. *Le roman Social en Angleterre (1830—1850)* (Paris 1904) и гл. XI тринадцатого тома „*The Cambridge History of English Literature*“ (Cambridge, 1916): „*The political and social novel*“ (p. p. 340 sqq).

общественных идей зрели новые литературные силы, обозначались новые литературные группировки. „Очерки“ Боца-Диккенса в пестроте своих беглых зарисовок разнообразных социальных групп фиксируют именно этот момент английской жизни, момент напряженного ожидания и серьезных общественных чаяний. „Ныне властвует в Англии не литература, а политика; сильное и страшное движение партий, народных страстей и философических идей, борющихся с обычаями и вековыми постановлениями, все заглушает“, пишет английский обозреватель в 1834 году¹⁾.

„В противоположность немецкой и подобно французской и другим литературам, английская литература представляет теперь период кризиса,—пишут и Отечественн. Записки в 1839 году, в очередном годичном обзоре английской словесности.—Период более бесцветный, чем когда-либо, наполняемый грудю новых произведений, одно другого слабее, не имеющий ни одного представителя с замечательным талантом, который был бы достоин памяти потомства. По смерти В. Скотта, Годвина, Вордсворта, Фелиции Гименс не осталось ни одного самобытного художника в Англии. Т. Мур, более прелестный стихотворец, нежели поэт, и престарелый Соути, поэт „лавроносный“—покоятся на лаврах и ничего не пишут“²⁾. Н. Греч, посетивший Англию в конце 30-х годов, перечисляя современных английских писателей, называет из поэтов—Т. Мура, Вордсворта, Тениссона, из прозаиков—Бульвера, Морьера, Бенима, Марриета и мисс Эджворт³⁾. А в 1840 г. Белинский, подчеркивая свои симпатии к школе английского романтизма, называет уже и Диккенса, но последний поставлен еще на одну доску с Марриетом: „Между Вальтер Скоттом, с одной стороны, и Диккенсом и Марриетом, с другой,—сколько примечательных талантов, большею частью совершенно неизвестных у нас на поприще романтики. Подле громадного гения Байрона блещут могучие и роскошные таланты Томаса Мура, Уорсворта, Сутея, Купера и многих других“ (V, 486). Оценка Диккенса не могла быть иной. Прочитав его первые романы, насыщенные влияниями XVIII века, кроме того, сильно искаженные в русском переводе, Белинский не мог еще разглядеть в нем новую крупную силу английской литературы, и только

¹⁾ „О ходе словесности в Англии с нач. XIX ст.“ (Из „Dublin University Magazine“)—„Библиография для Чит.“ 1834, т. IV, отд. II, стр. 34.

²⁾ „Английская литература в 1838 г.“—Отечественн. Зап. 1839, т. I, отд. VII, стр. 74.

³⁾ Н. Греч. Путевые письма из Англии, Франции и Германии. Спб. 1839, т. I, стр. 98—99. В список Греча, однако, попал и В. Годвин, умерший в 1836 г.

за год перед смертью, взяв в руки „Домби и сына“, должен был признать свою ошибку. Для этого понадобилось семь лет успехов и влияния Диккенса в русской литературе.

V.

Общеизвестен быстрый рост популярности Диккенса в Англии. Его первые новеллы появились в „The Monthly Magazine“ в декабре 1833 года; „Очерки Боца“ в форме книги вышли в 1836 г. и сразу же привлекли к себе большое внимание: первые тетради „Замогильных записок Пикквикского клуба“, выпущенные в свет в том же 1836 году, встречены были уже взрывом всеобщего восторга и скоро потребовали нескольких изданий. Современники согласно свидетельствуют о том, что появление „Записок“ имело характер крупного общественного события. Одно из таких показаний приведено было и в русском журнале 1844 года: „Всякий, у кого был лишний шиллинг в кармане, с нетерпением ждал дня, когда можно будет достать за него чудесные рассказы Боца. Толпы мальчиков разносили по улицам экземпляры „Pickwick-Papers“, и бедняки, не имея возможности купить их, платили по одному пенни в час за право читать их“. „Теперь слава плодовитого писателя уже не ограничивается теми странами, где говорят на его родном языке; сочинения его переведены на все образованные языки европейского материка; его остроумие, оригинальность и патетическое могущество так же известны в Германии, Франции, Италии и России, как в Англии или Америке. Если верить журнальным известиям, самые турки, забыв свою привычную важность, заливаются не совсем магометанским хохотом над остротами Самуила Уеллера“¹⁾.

Имя Диккенса на материке становится известным с конца 30-х годов; тогда же появляются и первые его французские и немецкие переводы. Россия не только не отстает от Германии или Франции, но даже опережает их. В этом отношении чрезвычайно интересно свидетельство французского журнала „Realisme“ (1857), редакторы которого, ставя Диккенса в ряду пророков проповедуемой ими доктрины, жаловались на недостаточное знакомство с Диккенсом во Франции и ставили в пример Россию: „Не стыдно ли нам, — писали здесь, — что 25 больших томов его произведений уже давно хорошо известны всей России („jusqu'au fond de la Russie“), тогда как имя его едва известно у нас только профессионалам“²⁾. Действительно, если первый русский перевод из Диккенса появился только два года

¹⁾ „Сын Отечества“ 1844, № 4 (март), стр. 105—106, в большой статье о Диккенсе, переведенной из „North American Review“.

²⁾ P. Martino. Le roman réaliste sous le second Empire. Paris 1913, p. 69.

спустя после французского, то увлечение Диккенсом в России достигло уже своего расцвета к середине 40-х годов; серьезный же интерес к Диккенсу во Франции отчетливо обнаружился только после „Домби и сына“ и „Давида Копперфильда“.

Первые известия о Диккенсе начали появляться в русских журналах с конца 30-х годов в хронике английской литературной жизни. „Библиотека для Чтения“, как отмечено выше, из всех русских изданий особенно внимательно следившая за новостями английского книжного рынка, первая отметила и это новое имя английской литературы. В перечне: „Новые английские книги“, уже в 1837 году упомянуты „Posthumous Papers of the Pickwick-Club, By Boz“¹⁾; в следующем году дана характеристика изданных Диккенсом „Записок клоуна Д. Гримальди“: „Мистер Джон Диккенс, конюший (Boz), нашел их между бумагами покойника и решил быть их редактором и издателем. Благодаря его таланту, заметки, сами по себе не интересные, получили цвет, жизнь и занимательность, посредством веселого рассказа анекдотов и обрисовки их“²⁾. Вероятно, это первое упоминание настоящего имени Боца в русской литературе.

Первые русские переводы из Диккенса появились в той же „Библиотеке для Чтения“. В первых книжках журнала за 1840 год помещен был „Николай Никльби“ (т. XXXVIII и XXXIX), в следующих—„Записки бывшего Пикквикского клуба“ (т. XL и XLI). Оба перевода, несомненно, сделаны были под непосредственным наблюдением Сенковского³⁾. Уже в 30-е годы были хорошо известны приемы его редакторской работы. Биограф Сенковского П. С. Савельев, в тридцатых годах составлявший как раз для „Библиотеки“ переводы из английских журналов, свидетельствует об этом следующее: „Иностранные сочинения всегда передавались читателям в его редакции: выбрав роман или ученое сочинение для передачи на русский язык, он с особенным искусством сжимал их в журнальные формы во время самого чтения; вычеркивал не-

1) „Б. д. Чт.“ 1837, т. XX, отд. VII, 85. Ibid., т. XX, VII, 137 указаны и „Bentley's Miscellany by Boz“.

2) Ibid., 1838, т. XXVII, кн. 4., Смесь, стр. 143. „Воспоминания из жизни Джозефа Гримальди, англ. клоуна (шута-юмориста), изд. Диккенсом, много позднее появились и в русском переводе. См. „Репертуар и Пантеон“ 1853, I, III, V и VI.

3) Переводчиком „Ник. Никльби“ был Солоницын, как об этом сообщал И. И. Введенский—П. С. Билярскому. См. В. Истрин. Письма к акад. Билярскому, Од. 1906, стр. 127.

нужные места, связывал их своими приписками¹⁾. С такой редакторской работой Сенковского мы, несомненно, имеем дело и в данном случае. И „Николай Никльби“ и „Записки Пикквикского клуба“ были очень искусно „сжаты в журнальные формы“. О характере сокращений в „Николае Никльби“ легко судить уже с первых страниц. В русском переводе уничтожено деление на главы, что дало возможность свободнее обращаться с текстом английского подлинника. В первых главах опущено все то, что не относится непосредственно к истории Ральфа и Николая Никльби и что могло бы несколько затянуть действие. В дальнейшем Сенковский, вероятно, руководился тем же соображением, и потому всему повествованию в русском переводе сообщен более динамический характер.

Вторая глава выпущена совсем, за исключением небольшого описания квартиры Ральфа; опущена также вся история сношений Ральфа с конторой „A great Joint Stock Company of vaste national importance“, чрезвычайно интересная для характеристики быта лондонских темных дельцов, столько раз потом варьированной у Диккенса. В главе шестой опущены оба вставных рассказа „The five sisters of York“ и „The Baron of Grogzwig“, которые могли показаться насмешкой над дворянством, аристократическими предрассудками и знатностью вообще. Характерно, что допущены были даже небольшие перестановки. Так, у Диккенса описание жизни Николая Никльби в Дотбойсе предшествует рассказу о службе Кэт у мадам Манталлини; в русском же переводе гл. X и гл. VIII—IX поменялись местами; глава XVI опущена совсем и т. д. Несмотря на литературность перевода²⁾, на его стремления, подчас удач-

¹⁾ Собр. Соч. Сенковского, СПб. 1858, т. I, стр. LXXVIII. В 1836 году П. С. Савельев подобным же образом, под руководством Сенковского, переделал для „Библиотеки“ повесть Марриета: „Трехсказочный паша“, и ряд статей об Англии. См. В. В. Григорьев. Жизнь и труды П. С. Савельева, СПб. 1861, стр. 22—23; 188—189. К русскому переводу „Последнего дня Помпеи“ Бульвера. Сенковский сделал такое примечание: „Таков или почти таков роман Бульвера. Чтобы сделать повесть этого знаменитого творения более интересною в сокращении, нежели как она представляется читателям в подлиннике, признаемся, мы вынуждены были допустить в ней некоторые перемены“ („Б. д. Чт.“ 1836, т. XIV, Иностр. слов., стр. 202). Но это настолько вошло в обычай, что изменения большею частью не оговаривались. Белинский еще в 1835 году указывал на искажение в „Библиотеке“ романа Бальзака „Père Goriot“, к которому Сенковский приделал собственное окончание (II, 366).

²⁾ Чрезвычайно показательно уже долголетие этого перевода. Еще в 1886 году вышло новое издание „Жизни и приключений Ник. Никльби“ (М. Изд. К. К. Шамова), представляющее из себя перепечатку перевода „Библиотеки для Чтения“, с незначительными дополнениями (оба вставных рассказа) и легким подновлением языка.

ные, руссифицировать жаргоны, на которых говорят некоторые герои романа—тенденции, которую позднее столь успешно применил при переводах из Диккенса И. И. Введенский,—он производит значительно менее яркое впечатление, чем английский подлинник, в силу своей сжатости и нарочитой подчеркнутости своей фабулы. Между тем, интерес Диккенса и особенно его первых романов не здесь—он пользуется не раз достаточно распространенной сюжетной схемой („Оливер Твист“),—но, как отмечала уже и современная ему критика, в мастерстве обработки побочных эпизодов, наконец, и в элементе сильной общественной сатиры, сильно ослабленной при передаче романа на русский язык и приспособлении его для русского журнала.

Те же приемы редакторской работы Сенковского легко обнаружить и в русском переводе „Записок Пикквикского клуба“. Сделанные здесь сокращения еще более обширны, потому что этого требовал и больший объем произведения, и это легче допускала схема его сюжета, состоящая из ряда мелких рассказов о странствованиях и приключениях клуба пикквикистов.

Здесь также уничтожено деление на главы и снова устранены все вставные рассказы, которых в „Записках“ как раз очень много и которые могут иметь вполне самостоятельный интерес: в гл. 3, напр., выпущена „Повесть кочующего актера“—этот трагический эпизод, еще более углубленный в своем пафосе и в своей потрясающей правдивости обрамляющим его гротеском; в гл. 6—стихотворение сельского священника и повесть „Возвращение на родину“, написанная в стиле Гольдсмита; в гл. 7 выпущены „Записки сумасшедшего“—блестящий этюд в манере Э. По, с очень детальным и психологически очень тонким анализом начала сумасшествия; в гл. 14 выпущен рассказ „Повесть кочующего торговца“; в гл. 21—„Рассказ Джека Бамбера о странном клиенте“. Во второй части выпущены также: „Повесть о могильщике Груббе“ (гл. 29), „Легенда о принце Блэдуде“ и „История дяди странствующего торговца“ (гл. 55). Но сокращения сделаны и там, где их не допускал и самый колорит повествования. Так, из „Записок“ наполовину исчез элемент общественной сатиры, как раз то, что отличает их от произведений легкого юмористического жанра. Из 2 главы исчез эпизод с извозчиком, вступившим в рукопашную битву с Пикквиком и его друзьями; в гл. 6 выпущена очень живая характеристика гостей Менор-Форма; в гл. 7—все описание клуба крокетистов; в гл. 13 сильно сокращен рассказ о выборах итансвильского депутата и речь мэра. Во второй части совершенно опущена гл. 28, дающая интересное и с бытовой стороны опи-

сание английских святок, свадьбы и увеселений в Дингли-Делле. Не перечисляя далее всех допущенных сокращений, укажу только на особенно характерное устранение подробностей суда над Пикквиком (гл. 34) и описания долговой тюрьмы (гл. 40—41). Переводчик или редактор вообще не стеснялись с текстом Диккенса. В общем, „Записки“ были сокращены более, чем на половину.

Возможно, однако, что при переделках играли некоторую роль и цензурные соображения. Второй русский перевод „Записок“, сделанный девять лет спустя известным И. И. Введенским, был разрешен к напечатанию в Отечественных Записках лишь после довольно значительных сокращений. Н. И. Шульгин, переиздавший перевод И. И. Введенского в 1872 году, уверяет, что „цензура в 1849 году не допустила, напр., рассказа о том, как сумасшедший, схватив бритву, подкрадывается к постели своей жены с целью зарезать ее (Рассказ сумасшедшего, гл. XI); в виду цензурных условий, переводчик должен был для связи также сочинить речь мэра, сказанную им почтенным избирателям города Итансвиля. В русском переводе речь мэра чрезвычайно складна и сопровождается рукоплесканиями граждан. Между тем, в английском подлиннике речь главы города не отличалась особым складом и сопровождается свистом, шиканьем и едкими замечаниями слушателей. Вообще вся XIII глава, где идет речь о выборах в парламент, в переводе была урезана во многих местах. Подобных пропусков очень много“¹⁾. Очень возможно, что с подобными же затруднениями приходилось проводить через цензуру произведения Диккенса и в начале 40-х годов: характерно, что как раз два указанные Шульгиным цензурных пропуска 1849 г. сделаны и в переводе „Библиотеки для Чтения“²⁾.

¹⁾ „Замогильные записки Пикквикского клуба“, СПб. 1872, т. I. Предисловие.

²⁾ Мы мало знаем еще о цензурных мытарствах Диккенса в России; остаются неопубликованными немало цензурных дел, возбужденных русскими переводчиками его произведений. Характерный случай из цензурной практики 1849 г. сообщает Барсуков. Московский цензор В. Н. Лешков, несмотря на дружеское расположение к М. П. Погодину и „Москвитянину“, „сделал затруднение касательно переводов из Диккенса, печатаемых в этом журнале“. Это обстоятельство принудило Погодина обратиться в Главное Управление Цензуры со следующей просьбой: „В журнале „Москвитянин“, издаваемом мною в 1849 году, помещено было несколько отрывков из нового сочинения Диккенса „Жизнь, похождения, наблюдения, и замечания Давида Копперфильда“. Помещение новых отрывков цензор не допускает, потому что сочинение Диккенса не кончено. Но сочинение Диккенса не есть роман, а психологическая биография в форме романа, и во всех петербургских журналах помещались и помещаются подобные сочинения, хотя они и не были кончены... Диккенсово сочинение совершенно чистое, нравственное, и не заключает в себе никаких задних мыслей и намеков непозволительных. Я осме-

Интересно, что Сенковский, которому, вероятно, принадлежал выбор „Записок Пикквикского клуба“ для перевода в „Библиотеке для Чтения“, дал и первую их в русской литературе оценку. В 1842 году, в статье о Гоголе, Сенковский писал: „Записки Пикквикского клуба“ разошлись в первые годы в числе шестидесяти тысяч экземпляров и до сих пор непрерывно перепечатываются и читаются. Этот страшный успех должен иметь основание. В самом деле, „Записки Пикквикского клуба“ едва ли не самый примечательный сатирический роман нашего века. Не называя Диккенса английским Сервантесом, нельзя, однакож, не видеть большого сходства между его знаменитым романом и „Дон-Кихотом“. Пикквик—решительный Дон-Кихот английской филантропии, которая в наше время пускается на такие же подвиги, как некогда странствующее рыцарство¹⁾. Для истории увлечения „Пикквиком“ в России не безынтересна меткая острота Дружинина, приравнившего лаконизм М. П. Погодина к лаконизму героя „Записок“, Альфреда Джингля, и более поздний интерес к этому произведению Григоровича, Достоевского и Салтыкова²⁾.

Успех двух указанных произведений Диккенса, напечатанных в „Библиотеке для Чтения“, быстрый рост его популярности в Англии и на материке, частые упоминания его в немецкой и французской литературе побудили и другие русские журналы позаботиться о своевременных переводах его новых произведений. 16 августа 1840 года Белинский писал Н. Х. Кетчеру: „Краевский хочет прислать к тебе роман Диккенса (на английском) для перевода в Отечественные Записки — перемахни-ка с богом³⁾. Белинский не называет романа, который был намечен к переводу, но речь могла идти здесь только об „Оливере Твисте“, так как

ливаюсь просить ваше сиятельство о позволении помещать из него в „Москвитянинне“ отрывки“. Чрезвычайно характерна резолюция, наложенная на этой бумаге Уваровым: „Просьба не имеет основания“. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. X. СПб. 1896, стр. 388—389.

1) „Библ. для Чт.“ 1842, т. LVII, Литер. летоп., стр. 27. Перепеч. в Собр. Соч. Сенковского, СПб. 1859, т. IX, стр. 409.

2) Сопоставления Пикквика с Дон-Кихотом в эти годы были общим местом, и европейской критикой суждено было еще долго занимать критическую и философскую мысль. В эпоху работы над „Идиотом“, в поисках идеального христианского героя, Ф. М. Достоевский прибегал к этому же сопоставлению. См. „Русск. Стар.“ 1885, VII, стр. 144. В специальной литературе мысль эта была развита испанистом Ashbe, K. S. „Don Quixote et Pickwick“, „Revue Hispanique“ 1889, VI. Некрасов полагал, что Григорович может дать „русского Пикквика“; романом Диккенса интересовался Салтыков. „Арх. села Карабихи“ (М. 1916, стр. 180. и „Вестник Европы“ 1886, II, 588).

3) Письма, II, 150.

серия рассказов под общим заголовком „Master Humphrey's Clock“, выходявшая отдельными тетрадами, была закончена только в ноябре 1841 г. (первые тетради появились в апреле 1840 г.).

„Оливер Твист“, действительно, был напечатан в Отечественных Записках, но только год спустя и в переводе А. Горковенко. Однако в ноябрьской книжке Отечественных Записок за 1840 г. был напечатан маленький рассказ Диккенса: „Квартира со столом и прислугой“, без имени переводчика¹⁾.

Во всяком случае, в 1840 году в русском переводе были даны уже два капитальных произведения Диккенса, но ни то, ни другое Белинским замечено не было. Несомненно, однако, что Белинский, внимательно следивший за движением русской журнальной литературы, прочитал их: о „Николае Никльби“ он вспоминает, напр., в одной из своих позднейших статей („все читали его „Николая Никльби“, VIII, 484). Наконец, имя Диккенса в первый раз встречается у Белинского именно в 1840 г. („Русская литература в 1840 г.“). Это простое упоминание, однако чрезвычайно показательное. „Неизмеримость пространства“ отделяет „Вальтер Скотта от какого-нибудь Диккенса или Марриета“ (V, 486). Следовательно Диккенс на первых порах показался Белинскому очень заурядным английским беллетристом. Вскоре „Пират“, роман Марриета, вновь возбуждает в памяти Белинского имя Диккенса. „По роду изображаемой им жизни,— пишет Белинский, Марриет подходит под одну категорию с Диккенсом и Поль де Коком; но по таланту каждый из этих романистов—великан в сравнении с Марриетом“ (VI, 497—498). Дано то же сопоставление, но соотношение изменилось в пользу Диккенса: этот отзыв относится к декабрю 1841 г.; незадолго пред тем Белинский, несомненно, прочитал „Оливера Твиста“.

„Оливер Твист“ напечатан в Отечественных Записках 1841 г. (т. XVIII и XIX) и в том же году вышел отдельным изданием²⁾.

¹⁾ Отеч. Зап. 1840, т. XIII, отд. VII, стр. 27—47. Рассказ этот является переводом одного из „Очерков“ Боца: „The Boarding-House“. См. „Sketches, by Boz“ (Charles Dickens), Baudry's Library, 1839, p. p. 217—248. Из этого же сборника впоследствии переведен был и знаменитый рассказ Диккенса „The great Winglebury Duel“ (Ibid., p. p. 326—340), в конце 1836 года переделанный самим Диккенсом в двухактный фарс („comic burletta“) „The Strange Gentleman“, выдержавший 17 ежедневных постановок в Дрюри-Лэнском театре и бывший одной из любимейших пьес в репертуаре известного Грлея (A. W. Ward. Ch. Dickens Lond. 1882, p. 27) Русский перевод его—„Дуэль, рассказ Диккенса“— Отеч. Зап. 1843, т. XXXI, Смесь, стр. 86—25. и в приложении к XXX тому „Современника“ 1851, в отд. изд. „Скиццов“.

²⁾ „Оливер Твист.“ Роман г-на Диккенса (Boz). Перев. с английского А. Горковенко. СПб. 1841.

В очередном обзоре („Русская литература в 1841 году“) Белинский упоминает его среди лучших переводных романов, напечатанных в русских журналах за отчетный год, не останавливаясь, впрочем, на нем более подробно, но в том же XX томе Отечественных Записок за 1842 год, где была напечатана статья Белинского, помещена и специальная рецензия на отдельное издание романа. Привожу ее целиком. „Читателям Отечественных Записок хорошо известен „Оливер Твист“, равно как и перевод его, теперь являющийся отдельно изданным. Диккенс принадлежит к числу второстепенных писателей,—а это значит, что он имеет значительное дарование. Толпа, как водится, видит в нем больше, нежели сколько должно в нем видеть, и романы его читает с большим удовольствием, чем романы Вальтера Скотта и Купера: это понятно, потому что первые более по плечу ей, чем последние, до которых ей не дотянуться и на цыпочках. Однакож это не мешает Диккенсу быть писателем с замечательным талантом, вопреки мнению сентиментально идеальных критиков, которые только пухло-фразистую дичь почитают за высокую поэзию, а в простом, верном и чуждом претензий изображении действительности видят одни „уродливости“¹⁾. „Оливер Твист“—одно из лучших произведений Диккенса и напоминает его прекрасный роман—„Николай Никльби“. Достоинство его—в верности действительности, иногда возмущающей душу, но всегда проникнутой энергиею и юмором; недостаток его—в развязке на манер чувствительных романов прошлого века, а иногда и в эффектах—как, напр., смерть Сайкса. В „Оливере Твисте“ все характеры, особенно добрых чудаков и злых негодяев, выдержаны резко и оригинально; а характер Нанси, любовницы разбойника Сайкса, сделал бы честь и более художественному таланту“²⁾.

Не принадлежит ли этот отзыв Белинскому? При затруднительности отыскания его статей, в большинстве случаев неподписанных (главным руководством в этом случае остаются так наз. „Галаховские списки“), в этом нет ничего невероятного. В пользу этого пред-

1) Не намек ли это на отзыв П. А. Плетнева об „Оливере Твисте?“ („Современн.“ 1842, т. XXVI, отд. II, стр. 71; перепеч. в Соч. и переп. П. А. Плетнева. СПб. 1885, т. II, стр. 341—342), где сказано, между прочим, следующее: „Занимательность романов Диккенса основывается на верном изображении обыкновенного быта и простых нравов. В искусстве этот род не восходит до первостепенной красоты; но для него всегда много страстных поклонников. Диккенс не употребляет во зло естественного направления таланта своего, подобно некоторым из новейших писателей французской школы—и потому действительно с удовольствием и даже с пользой можно читать его“.

2) Отечественн. Записки 1842, т. XX, февраль, отд. VI, стр. 47.

положения как будто говорит прежде всего то, что он помещен как раз между двумя рецензиями Белинского, вошедшими и в Венгеровское издание¹⁾. Чрезвычайно характерно далее и отнесение Диккенса в разряд второстепенных писателей и ссылка на изблюбленных Белинским Купера и В. Скотта. В стиле Белинского и признание основным достоинством романа—верность действительности, полемический выпад против „сентиментально-идеальных критиков“, и, наконец, впоследствии несколько раз указанное Белинским сходство развязки в романах Диккенса с „чувствительными романами прошлого века“.

Во всяком случае, кому бы ни принадлежал этот отзыв, он был, несомненно, прочитан Белинским, и потому интересно подчеркнуть неустойчивый, двойственный характер оценки и близость ее к не вполне еще определившемуся отношению Белинского к Диккенсу.

„Оливер Твист“ произвел несомненное впечатление на русских читателей. Он окончательно определил увлечение Диккенсом Д. В. Григоровича. В своих воспоминаниях он сам рассказывает, что его первые литературные замыслы находились в тесной связи с этим романом: „Напрасно я целыми ночами напрягал воображение, прискивая интересный сюжет,—сюжет не вырисовывался, и если приходил, то непременно напоминал „Хуторок“ Кольцова или страдания маленького „Оливера Твиста“ Диккенса—двух любимых моих авторов в то время“²⁾. Первые рассказы Григоровича, действительно, носят на себе несомненные следы увлечения английским писателем: позднее сам Григорович признавался в этом английскому путешественнику Макензи-Уоллесу, посетившему Россию в начале 60-х годов³⁾. В „Деревне“ слышатся отчетливые реминесценции „Оливера Твиста“, начиная с завязки, которая точно воспроизводит завязку английского романа; жизнь Акульки у скотницы может напомнить историю Смайка в „Николае Никльби“; посещение Акульки могилы матери—сцену на кладбище в „Лавке древностей“.

1) Рецензии на 6-й вып. Шекспира в перев. Кронеберга и „Человек с высшим взглядом“—VII, 76.

2) „Литературн. воспоминания“. Соч., т. XII, стр. 279.

3) „Первое беллетристическое произведение, которое я прочитал,—пишет D. Mackenzie-Wallace, был сборник новелл Григоровича, данный мне автором перед моим отъездом из Петербурга. Эти рассказы, описывавшие крестьянскую жизнь, были написаны, как мне потом признался автор, под влиянием Диккенса. Мне не стоило труда распознать под их русским одеянием чисто диккенсовские выражения“... („Russia“, франц. перев. H. Bellenger, Paris 1877. t. I, p. p. 100—101).

В 1842 году Отечественные Записки напечатали свежий роман Диккенса „Бернеби Родж“ (т. XXI, XXII и XXIII), последняя тетрадь которого в Англии вышла только в ноябре 1841 года. Белинский упомянул его в своем очередном обзоре („Русская литература в 1842 г.“), а через год дал и его более подробную характеристику: „Кто знаком с современными европейскими литературами,— писал Белинский,— тот не может не знать, что их направление, взятое вообще, а не частно, еще более юмористическое, чем направление нашей литературы. Прочтите, например, „Оливера Твиста“ и „Бернеби Роджа“ Диккенса, первого теперь романиста Англии, и вы убедитесь, что в просвещенной Англии, гордящейся тысячелетней цивилизацией, так же много чудаков, оригиналов, невежд, глупцов, плутов, мошенников, воров, как и везде, да еще в придачу много таких злодеев и извергов, которые в других странах попадают только как редкие исключения“ (VIII, 402). В подтверждение своих слов Белинский ссылается также на роман Е. Сю. „Но, скажут нам, в „Бернеби Родже“ и в „Парижских Тайнах“ есть несколько таких лиц, на которых отдыхает душа читателя, утомленная зрелищем злодейств, правда; но зато нельзя не согласиться, что добродетельные лица в романе Диккенса бесцветны и скучны; такова идеальная Эмма, ее возлюбленный Эдвард Честер, Гэрдаль и мать Бернеби, а в „Парижских Тайнах“ — невероятны. Из добродетельных лиц романа Диккенса всех лучше милая, грациозная и кокетливая Долли, забавный оригинал ее отец, мэстер Уарден, и ее возлюбленный Джой: вы в них видите и слабости и странности, но еще более любите за эти слабости и странности, через которые и узнаете в них живые человеческие лица, действительные характеры, а не картонные куклы с надписями на лбу: гонимая добродетель, несчастная любовь, идеальная дева и т. п. (VIII, 402—403).

Поводом для этого тонкого разбора было „направление нашей литературы“: в полном разгаре как раз был успех „Мертвых душ“ и вызванная ими полемика.

Для Гоголя подыскивались параллели из западной литературы, обсуждалось общее направление его деятельности и тайна его юмора. Естественно, что в этих спорах Диккенса должны были вспомнить в первую очередь. Все то, что поразило в Гоголе, было характерно и для Диккенса. Творчество этих писателей открывало такой параллелизм и ряд таких поразительных соответствий, что это не могло не броситься в глаза. С. П. Шевырев, узнавший Диккенса, вероятно, еще во время своего путешествия в Англию в 1839 году, с гордостью заявил в „Москвитянине“ об этом замечательном сходстве: „У нас могли явиться подражатели Диккенсу,—

писал он,—если бы в этом случае Россия не опередила Англию. Диккенс имеет много сходства с Гоголем, и если бы можно было предположить влияние нашей словесности на английскую, то мы могли бы с гордостью заключить, что Англия начинает подражать России. Жаль, что сатира нашего юмориста не заберет в своем ведомстве общества наших промышленников, как забрала она уже общество чиновников¹⁾.

О. И. Сенковский в статье 1842 года также проводил параллель между Диккенсом и Гоголем, но далеко не в пользу последнего. В „Мертвых душах“,—писал Сенковский,—обрисовка некоторых характеров показывает в авторе большой карикатурный талант, и есть страницы, где этот талант сильно похож на знаменитого английского юмориста Диккенса“. Иронизируя над званием „русского Гомера“, данным Гоголю в среде славянофилов, Сенковский полагает, что „честолюбие нашего украинского юмориста, если оно не совсем уже недоступно благоразумию, должно бы устремиться к достижению еще полнейшего сходства с этим писателем и избрать его образцом себе“. „Конечно между литературным саном Гомера и чином Диккенса целая пропасть“, но панегиристы Гоголя, по здравом рассуждении, „очень будут рады удержать для певца Чичикова местечко хотя возле певца Пиквика“²⁾. Дальнейшие сопоставления Сенковского полны яду, злобных выпадов и сатирических замечаний, направленных, главным образом, против панегиристов Гоголя.

Белинский не принял участия в этом споре и не воспользовался этими сопоставлениями. Но мы знаем, как он отнесся к указанной статье Сенковского: он был до крайности раздражен развязностью его тона. „Статья „Библиотеки для Чтения“, замечает Белинский, была неудачным усилием втоптать в грязь великое произведение натянутыми и умышленными нападками на его будто бы безграмотность, грязность и эстетическое ничтожество. Всем известно, что статья эта добилась совсем не тех результатов, о которых хлопотала“ (VII, 425). До Гоголя, жившего в Риме, вероятно дошли эти отзывы русской критики. В начале 40-х годов он как раз был сильно заинтересован Диккенсом, с которым мог быть знаком по русским или французским переводам. Ф. И. Буслаев, вспоминая о своей первой встрече с Гоголем в римской кофейне (1841), рассказывает об этом следующее: „в одном углу сидел сгорбившись над

¹⁾ „Москвитянин“ 1841, т. I, стр. 238. В полном согласии с славянофильской точкой зрения позднее и Хомяков назвал Диккенса „меньшим братом нашего Гоголя“ („Москвитянин“ 1845 г.). Полн. собр. соч. А. С. Хомякова, т. I, М. 1900, стр. 10 96.

²⁾ Собр. соч. Сенковского. Спб. 1859, т. IX, стр. 407—409.

книгой какой-то неизвестный мне господин, и в течение получаса, пока я поджидал своего Панова, он так погружен был в чтение что ни разу ни с кем не перемолвился ни единым словом, ни на кого не обратил хотя минутного взгляда, будто окаменел в своей невозмутимой сосредоточенности". „Он читал тогда что-то из Диккенса, которым, по словам Панова, в то время был заинтересован. Замечу мимоходом, что по этому случаю узнал я в первый раз имя великого английского романиста. Так и осталось оно для меня в соединении с наклоненною над книгой фигурою в полусвете темного угла" ¹⁾.

В 1843 году „Библиотека для Чтения“ напечатала „Лавку древностей" ²⁾, по обыкновению сократив роман почти на половину. Белинский отметил и этот роман Диккенса („Русск. литер. в 1843 г."), но он не удовлетворил его. „Лавка древностей", писал он „слабее других романов Диккенса: в ней он повторяет самого себя, и лицо этого романа, равно как и его пружины, уже не поражают новостью" (VIII, 413). Первое впечатление было неблагоприятным и навсегда определило отрицательное отношение Белинского к этому произведению. Его позднейший отзыв о „Лавке древностей" („Русск. литер. в 1844 г.") был еще более резким: „Прочитав в прошлом году „Лавку древностей", замечает Белинский, мы думали, что приходит время навсегда проститься с огромным талантом Диккенса". (IX, 131—132). Очень возможно, что Белинский иначе отнесся бы к этому роману, если бы он знал его в подлиннике. Из напечатанного в „Библиотеке" перевода „Лавки древностей", как и из ее прежних переводов Диккенса, исчезло множество побочных эпизодов, и сочный реалистический роман превратился в сентиментальную повесть: сжимая роман в „журнальные формы", Сенковский лишь подчеркнул нарочитость ее фабулы в духе христианской морали, но беско-

¹⁾ Ф. И. Буслеев. Мои воспоминания М. 1897, стр. 259. Этот же рассказ приведен и у Шекрока, Материалы, III, 343. В позднейшем письме с П. В. Анненкову из Остенде (1847), Гоголь сочувственно отзываясь об Англии, стране, которая „родит Байронов и Диккенсов". Письма Гоголя, изд. Шепрока, IV, 87. Э. Л. Радлов („Диккенс в русской критике"—„Начала" 1922 № 2, стр. 128) находит возможным видеть у Гоголя влияние Диккенса: „во всяком случае тип Плюшкина напомнил некоторые персонажи из „Николая Пикльби", а самая композиция „Мертвых душ" дает основания для сравнения с „Пиквикским клубом". Общее сопоставление Диккенса и Гоголя находим в английском еженедельнике „The Outlook" 1915, № 918 (статья своевременно была реферирована в „Историч. Вести." 1915, X, 327—328); Ср. также И. Шаровольский. Гоголь среди великих юмористов нового времени, Киев, 1902. Еще в 70 годы для Левитова Гоголь важен тем, что „без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея". Ср. „Современник" 1911, VII, стр. 262.

²⁾ „Библ. для Чт." 1843 т. LVII, кн. 3, отд. II, 1—160 и кн. 4, отд. II, 161—284.

нечно ослабил его живописную изобразительность: краски потускнели, но сгустился элемент ее нравочений. Для истории увлечения Диккенсом в России чрезвычайно показательно, что еще в 1847 году „Москвитянин“ дал изложение „Лавки древностей“ под видом отдельного рассказа; в этом изложении, представляющем из себя расширение эпилога диккенсова романа, не осталось уже ничего, кроме морали¹⁾. Но и перевод 1843 года, сократив эпизоды странствований маленькой Нелли, ее дорожных знакомств и встреч, истории неудач и разочарований, которые готовы были захлестнуть ее маленькое сердце, опустив на половину частые в романе картины английских захолустий и грязных переулков лондонского предместья, — нарушил главное очарование романа. Он мог показаться Белинскому лишь повторением прежних повестей Диккенса, но с менее яркой общественной сатирой, и с меньшей силой бытовой характеристики. И все же сделанная им оценка „Лавки древностей“ кажется недостаточно обоснованной. В романе Диккенса, овеянном прелестью детства, Белинский не заметил многих личных диккенсовских автобиографических намеков и прямых воспоминаний, тонкий и глубокий анализ сложной детской психологии, мастерство в изображении детских лиц, что позднее пленило Достоевского, в пору работы над „Нечкой Незвановой“, и Дружинина, писавшего даже о „Грезовских головках“ у Диккенса. Что же касается биографии Диккенса, то она Белинскому уже могла быть известна.

В том же 1843 году Белинский, несомненно, прочитал в Отечественных Записках статью В. П. Боткина о Диккенсе, составленную по немецким источникам. „Недавно вышел в Лейпциге полный перевод всех доселе явившихся сочинений Диккенса (Boz), пишет Боткин. Полагая, что читателям интересно будет узнать, как смотрит немецкая критика на этого замечательного английского писателя, с которым коротко уже могли познакомиться читатели Отечественных Записок, — приведем здесь суждение о нем одного из лучших немецких журналов“²⁾. Отзыв этот интересен тем, что здесь даются биографические сведения о Диккенсе, раскрыт смысл его юношеского псевдонима и дана краткая хронологическая история его произведений вплоть до „Мартина Чодльзвита“. Немецкий критик ставит Диккенса в связь со школой английского романа XVIII века и пытается вскрыть особенности его личной манеры: „Главная сила Диккенса состоит в характеристике, и она у него большею частью превосходна. Только часто употребляет он слиш-

1) „Москвитянин“ 1847, ч. II, смесь, стр. 1—23: „Нелли“, рассказ Диккенса“.

2) Отеч. Зап. 1843, т. XXVI, кн. 1, отд. VII, стр. 12—15. В. Б.: „Германская литература“. Отзыв переведен, вероятно, из „Liferarische Zeitung“.

ком бесцветные краски, густо кладет их и пишет то чрезвычайно мрачно то чрезвычайно светло. Эта манера нехороша тем, что слишком мало доверяет воображению читателя, все думая быть не довольно вразумительною, и по этому самому возбуждает неприятное чувство преувеличениями и густотою, резкостью красок". Критик отмечает, что произведения Диккенса после „Пикквика“ преимущественно обращают внимание „на темные стороны английских социальных отношений“, но что в противоположность Стерну Диккенс „старается достигнуть не юмористического, но нравственного примирения“, и что „при таком направлении автор необходимо должен менять ясное простодушие поэта на важную цель моралиста“. Сущность этого отзыва вполне сходится с оценкой Диккенса у Белинского: еще в разборе „Бернеби Роджа“ Белинский отмечал „бесцветность“ Эмми, Эдварда Честера и Гэрдаля, и не расставил Диккенсу в вину его склонность к „скучной морали“. Личные воззрения Белинского на этот раз были укреплены авторитетом немецкой критики, но и лишний раз напомнили ему, что с Диккенсом необходимо считаться, как с одним из главных деятелей современной английской литературы.

В той же книге Отечественных Записок даны большие выдержки из „Путевых Записок Диккенса по Америке“, также составленные В. П. Боткиным¹⁾: им предшествует введение самого В. П. Боткина, с краткой характеристикой Диккенса. Она и на этот раз более, чем благоприятна; „Диккенс—живописец жизни действительной, повседневной, и он так ловко умеет схватывать черты этой жизни, что вы то смеетесь, то плачете. Вещи самые простые, предметы, о которых сто раз твердили туристы, под пером его и пробуждают в душе читателя мысли, никогда прежде не приходившие ему в голову. Он не ищет приключений и сцен романтических; кисть его рисует действительность во всех ее видах и любит даже грязные захолюстья общества. И при всем том Диккенс наименее вульгарный живописец и мыслитель. Вместо того, чтоб возбудить в вас чувство отвращения, какое неминуемо произвели бы в вас описываемые предметы в руках писателя более слабого, он внушает вам благородное желание, чтобы в вашей власти было очистить, возвысить, спасти людей грязных, жалких, призренных и отвратительных“.

¹⁾ Ibid., „Английская литература“, стр. 16—28. Принадлежность и этой статьи В. П. Боткину подтверждает фраза: „Не входя в подробную характеристику Диккенса, о котором, впрочем, мы представили выше суждение германских критиков, представим некоторые места из его заметок“. Впрочем, и из писем В. П. Боткина А. А. Краевскому видно, что весь VII отдел первой книги Отеч. Записок за 1843 год составлен Боткиным. См. „Отчет Имп. Публич. Библиот. за 1889 г.“ СПб. 1893, Приложение, стр. 54, 57.

„Путевые Записки Диккенса по Америке“ произвели у нас некоторый шум: их своевременно отметили сразу несколько журналов¹⁾: отсюда понятен и интерес к новому роману Диккенса, написанному им по возвращении из американского путешествия и насыщенному теми впечатлениями, которые ему доставила его поездка. Первое известие об этом романе сообщила „Библиотека для Чтения“, когда он еще не был закончен²⁾ 1844 г. „Жизнь и приключения Мартина Чодльзвита“ полностью напечатаны были в „Отечественных Записках“ (т. XXXVI и XXXVII). На этот раз Белинский пришел в полный восторг. „Жизнь и приключения Мартина Чодльзвита“, пишет Белинский в очередном обзоре („Русская литература в 1844 г.“), едва ли не лучший роман даровитого Диккенса. Эта полная картина современной Англии, со стороны нравов, и вместе яркая, хоть может быть, и односторонняя картина общества Северо-Американских Штатов.

Что за неистощимость изобретения, что за разнообразие характеров: так глубоко задуманных, так верно очерченных! Что за юмор! Что за слог! Прочитав в прошлом году „Лавку древностей“ мы думали, что приходит время навсегда проститься с огромным талантом Диккенса; но последний его роман доказал что талант автора „Николая Никльби“ и „Бэрнеби Роджа“ только вздремнул на время, чтобы проснуться еще свежее и могучее прежнего. В „Мартине Чодльзите“ заметна необыкновенная зрелость таланта автора; правда, развязка этого романа отзывается общими местами; но такова развязка у всех романов Диккенса: ведь Диккенс—англичанин (IX, 132). В том же 1844 году по поводу русского перевода „Парижских тайн“ Е. Сю Белинский дал и довольно пространную характеристику Диккенса; она интересна тем, что подводит итог его разновременным впечатлениям от чтения Диккенса; и устанавливает более твердый и определенный взгляд на английского писа-

¹⁾ В той же книге „Отеч. Запис.“ ниже, в „Смеси“ (стр. 63) приведен еще один отрывок из тех же „Записок“. Обширные извлечения из этой же книги дала и „Библ. для Чт.“ 1843 г. т. LVIII, кн. 5 и 6 и „Сын Отечества“ 1843, I. В следующем году в „Сыне Отеч.“ помещен был перевод статьи „Диккенс“ из „North American Review“, вызванной теми же „Записками“. Позднее отсюда же „Москвитинин“ взял рассказ Диккенса о Бостонских школах для слепых. См. „Лаура Бриджмен“, расск. Диккенса—„Москвитянин“ 1847, ч. I, Смесь, стр. 67—68. Перев. П. П.

²⁾ „Господин Диккенс начал издавать тетрадями и главами, разумеется по обыкновению с выгравированными скизцами, новый роман под заглавием: „Life and adventures of Martin Chuzzlewit, his relatives, friends and enemies“. Мы знаем только три тетради этого романа; все тот же „Boz“ и тот же „Phiz“, но на этот раз Боз так мил, как еще не бывал со времени Пиквика—„Библ. для Чт.“ 1843, т. LVIII, кн. 6, от. VII, стр. 97.

теля. Как и в 1842 году (VIII, 402), Белинский сопоставляет Диккенса с Е. Сю, считая „Парижские тайны“ „неловким и неудачным подражанием романам Диккенса“. „Этот даровитый писатель, пишет Белинский, довольно известен у нас в России; все читали его „Николая Никльби“, „Оливера Твиста“, „Бэрнеби Роджа“ и „Лавку древностей“: стало быть всякий может сам поверить справедливость нашего замечания. Большая часть романов Диккенса основана на семейной тайне: брошенное на произвол судьбы дитя богатой и знатной фамилии преследуется родственниками, желающими незаконно воспользоваться его наследством. Завязка старая и избитая в английских романах; но в Англии, земле аристократизма и майоратства, такая завязка имеет свое значение, ибо вытекает из самого устройства английского общества, следовательно, имеет свою почвою действительность. Притом же Диккенс умеет пользоваться этой истасканной завязкою, как человек с огромным поэтическим талантом“ (VIII, 484). Как и всегда, Белинский связывает Диккенса с той почвой, на которой он возрос. „Злодеи, воры и мошенники, равно как и сцены нищеты в романе Эжени Сю — тоже плохие копии с мастерских, дышащих страшною истиною действительности и художественной жизнью картин Диккенса. Отчего же ни один из романов сильно-даровитого Диккенса, не имел и сотой доли того успеха, каким воспользовался роман почти бездарного Эжени Сю?“ „Во-первых, толпа любит больше такие произведения, которые ей по плечу, и хотя Диккенс не принадлежит к числу великих поэтов, однако его талант все-таки выше разумения и вкуса толпы. Во-вторых, Диккенс — англичанин, а Эжень Сю — француз. Как истинный англичанин Диккенс исполнен сухого фарисейского морализма нации, привыкшей подчинять справедливость политике, а нравственность — общественным выгодам; как истинный художник Диккенс верно изображает злодеев и извергов жертвами дурного общественного устройства, но как истинный англичанин, он никогда в этом не сознается даже самому себе“ (VIII, 484).

В половине 40 годов Белинский ознакомился уже со всеми главными произведениями Диккенса; волна всеобщего увлечения английским писателем захватила и его. Отношение его определилось и сделалось более устойчивым и ясным. Белинский не поставит теперь Диккенса на одну доску с Марриетом, потому что видит в нем уже не просто занимательного рассказчика, но „огромный талант“ и „первого романиста Англии“. Подыскивая ему аналогию среди популярных писателей Европы, Белинский дважды сопоставляет его с Е. Сю не по степени их таланта, но лишь по преобладающей в них склонности к решению общественных вопро-

сов. И весьма знаменательно, что размышляя об особенностях его творчества Белинский пытается поставить их в связь с особенностями английской литературы вообще; потому и сопоставление Диккенса с Е. Сю дано главным образом для того, чтобы еще резче подчеркнуть различия в манере обработки французом и англичанином однородного по существу материала. Давая оценку Диккенсу Белинский вновь приближается к всегда занимавшей его проблеме британского народного духа; „английский вопрос“ решается еще раз на частном примере. Ответ Белинского, как и всегда, благоприятен не до конца: отмечен тот же „узкий стеснительный морализм“, который специально характеризует британца, и очень типичен уже для Фильдинга или Ричардсона. Но главной преградой для увлечения Диккенсом является различие национальной, расовой психологии („ведь, Диккенс—англичанин“), так остро ощущаемое Белинским. Еще более остро Белинский почувствовал это различие, читая ту группу его произведений, которая специально была рассчитана на английского читателя, и которой присвоено название „Рождественских рассказов“.

VI.

Из биографии Диккенса, написанной Форстером ¹⁾ мы знаем, что первая мысль написать рождественскую сказку овладела им осенью 1843 года, после того, как он вместе с Лонгфелло посетил ночлежные приюты бедных лондонских кварталов. „Он сам рассказывал, пишет Форстер, и я могу засвидетельствовать, с какой странной силой это дело тотчас овладело им, как он над ним плакал и смеялся, и опять плакал, возбужденный до необыкновенной степени; как бродил он по пятнадцати, по двадцати верст в день, по темным улицам Лондона, обдумывая этот рассказ поздно ночью, в такое время, когда трезвый человек давно спит.“

К Рождеству 1843 года первая сказка Диккенса „Christmas Carol“ („Рождественский напев“) уже вышла в свет. Она встречена была с восторгом, который превзошел все ожидания автора. Этим маленьким изданием вы сделали более добра, возбудили более добрых чувств и вызвали более благодеяний, чем их произведено было всеми амвонами и конфессионалами христианского мира с самого прошлого года Рождества и до сих пор,“ писал Диккенсу его „присяжный“ критик лорд Джеффри; „я вижу в ней благодеяние, оказанное целой нации“, отозвался о ней Теккерей. По сообщению Фор-

¹⁾ J. Forster. „The life of Charles Dickens,“ vol. II, 2. Lond., 1873., Ср. статью Л. А. Полонского „Сказки Диккенса“—„Вестн. Евр.“ 1873, III, 8—9.

стера, к Диккенсу отовсюду посыпались ежедневно, во все продолжение святок, письма от его читателей, в которых сообщалось о том, какое действие произвел его рассказ, как будут его хранить на особой заветной полке, и сколько от него ожидается всевозможных хороших последствий. Первое издание рассказа было выпущено в 6.000 экземпляров и раскуплено в первый же день: в течение года он разошелся в количестве 15 тысяч экземпляров¹⁾. Успех этого произведения Диккенса повлиял на решение писателя выпускать каждый год подобную „сказку,“ приурочивая к святкам ее выход в свет.

К святкам 1844 года, действительно, вышел второй рассказ Диккенса „Колокола,“ написанный им во время итальянского путешествия; в 1845 г. третий— „Сверчок на печи;“ в 1846 г. четвертый— „Битва жизни“. Рассказы эти по идее своей выражали каждый иначе „утешительное обновленное настроение, внутренний свет и теплоту посреди снегов и мрака зимы“.

К половине 40 годов популярность Диккенса в России была так велика, что его рождественские рассказы, конечно, не могли остаться незамеченными. „Святки имеют свою особенную литературу, отмечали „Отечественные Записки“ в очередном обзоре английской словесности. К святкам Чарльз Диккенс написал прекрасную повесть „A christmas Carol“²⁾. „Повесть, как видите фантастическая и поучительная, отмечали в этой же статье, пересказав ее содержание и приведя из нее несколько эпизодов; она трогает сердце грациозными и очаровательными сценами, тихую и грустною моралью.“ В этом же 1844 году повесть эта в переделке для детей была помещена во второй книге „Библиотека для воспитания“ и тогда же вышла отдельным изданием³⁾. Но в тех же „Отечественных Записках“, русская переделка первого святочного рассказа Диккенса была встречена резко-отрицательно:⁴⁾ „Диккенс изобразил в своей повести маклера Скруга... И этот отвратительный человек, незнакомый даже воображению второго возраста, этот жадный, ненасытный скряга, неумолимый как камень, молчаливый как рыба, скрытный и нелюдимый как улитка, седой как лунь, сделался в кон-

1) См. предисловие Киттона к факсимильному воспроизведению рукописи „A christmas Carol“ A facsimile reproduction of the author's original MS. With an introduction by F. G. Kitton, Lond. 1890.

2) „Отеч. Зап.“ 1844, т. XXXIV, отд. VII, стр. 16.

3) „Отеч. Зап.“ 1845, кн. 3, библ. хрон., стр. 14. „Светлое Христово Воскресенье.“ Повесть для детей. Заимствована из Диккенса М. 1844.

4) „Отеч. Зап.“ 1845, т. XXXVIII, отд. VI, стр. 37—39. Не принадлежит ли и этот отзыв Белинскому?

це повести добрым малым от того, что прошедшее, настоящее и будущее время в образе трех гениев явились к нему ночью и показали ему в видениях каков он был, каков он есть и каков он будет. По нашему мнению, подобные повести безнравственны. Из них прямо выходит то заключение, что человек изменяется к лучшему не вследствие каких-нибудь важных причин, определяющих его жизнь, а случайным образом, по поводу явления духов, или утраченный ночными грезами. Такие ли понятия следует внушать будущему поколению, от ног которого должно отрясать отцовскую пыль? Надежно ли поведение негодяя, направленного подобным образом? И в правилах нравственности, нужной нашим детям, имеют ли место примеры отвратительных негодяев, которым не всегда являются видения, и большая часть которых спит преспокойно? Нет! Такие повести не хороши, хотя бы написал их и Диккенс: они назначаются не для детей и пишутся вовсе не для укрепления нравственности“.

В следующем томе „Отечественных Записок“ несколько страниц были вновь посвящены „Святочным рассказам“ Диккенса и вновь была пересказана „Christmas Carol,“ но и первый и второй рассказы названы „двойчаткой, которой каждая половина равно прекрасна в художественном отношении.“ „Святочная песня Диккенса сделалась в Англии совершенно народною. Ее вышло до сих пор десять изданий, участь, которую без всякаго сомнения разделит с нею и „Колокольный Звон,“ произведение равное первому в художественном отношении, но в котором есть черты еще более резкие“¹⁾. Мы не знаем отзыва Белинского о втором святочном рассказе Диккенса, потому что, сколько нам известно, он не появился своевременно в русском переводе; но рассказы третий и четвертый вывели его из себя. Рассказ „The cricket on the hearth“ в русском переводе дал „Москвитянин“ в 1846 году, а в следующем его напечатал „Музей современной иностранной литературы“²⁾. „Музей, писал Белинский, печатает, так сказать, „остатки иностранных литератур“, то-есть то, что забраковано журналистами. (Так напр., в первом своем выпуске „Музей“ напечатал, между прочим, роман „Домашний сверчок,“ худший из четырех святочных рассказов Диккенса)“ (X, 520): К этому времени Белинский, вероятно, уже ознакомился и с четвертым рассказом Диккенса „The Battle of Life.“ Еще 17 Февраля 1847 года Белинский писал В. П. Боткину о необходимости поместить его в третьей книге „Современника“: „упустить его

1) „Отеч. Зап.“ 1845 т. XXX X, кн. 3, отд. VII стр. 5—9.

2) „Сверчок за печкою, волшебная повесть из домашней жизни“ „Москвитянин“ 1846, ч. II, № 4, стр. 7—59; часть III, № 5, стр. 95—96. „Музей современной иностранной литературы,“ СПб, 1847, вып. I.

нам было никак нельзя, потому что не только „Отечественные Записки,“ но надо ожидать, что и „Библиотека для Чтения“ его напечатает в своих 3-х №№“¹⁾; когда же „Современник,“ с рассказом Диккенса в переводе А. И. Кронеберга вышел в свет, Белинский вновь писал В. П. Боткину (8 марта 1847): „Прочти, пожалуйста, повесть Диккенса „Битва жизни“: из нее ты ясно увидишь всю ограниченность, все узколюбие этого дубового англичанина, когда он является не талантом, а просто человеком. Это едва ли не единственная плохая вещь, помещенная в 3 № Современника, что очень мне досадно. Уважаю практические натуры, *les hommes d'action*, но если вкушение сладости их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной ограниченности, душевной узкости—слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно, и глубоко. Я—натура русская“²⁾. Последняя ссылка особенно знаменательна: как и в большинстве своих отзывов о Диккенсе, Белинский подчеркивает глубоко-враждебную себе национальную психологию. Но все же отзыв Белинского о Диккенсе никогда еще не был так резок. Это требует некоторых пояснений. „Битва жизни“ была задумана Диккенсом в Швейцарии, одновременно с романом „Домби и сын,“—когда к концу лета два месячных выпуска „Домби“ были готовы, он принялся за сказку: работа его шла медленно и вяло; вся его творческая энергия ушла в замысел и планы большого романа, и очередной рождественский рассказ лишился на этот раз и своего лиризма, и даже всех своих типично-святочных аксессуаров. В сущности, и заглавие его случайно, и отнюдь не определяется сюжетом рассказа. Форстер вспоминает, что в самом начале работы, когда Диккенс еще не знал что будет в этой повести, он по случайному капризу решил, что „было бы хорошо, если бы она имела какую-нибудь связь с полем, на котором происходило сражение“; но рассказ создан по другому плану, и история самопожертвования двух сестер, которые любят одного человека и жертвуют своею любовью одна для другой, ничем не связан с картиной введения, которая требовала бы крупных эпических форм, скорее всего формы большого социального романа, и потому не могла не стеснять Диккенса в специальной работе над рождественской сказкой.

Однако, отзыв Белинского имеет в виду не столько ее художественные недостатки, сколько ее идеологическую тенденцию. Мо-

1) Письма, III, 171. „Битва жизни“ была получена в Петербурге в первых числах февраля. „Современн.“ 1847, кн. III, англ. литер., стр. 1—2.

2) „Письма“, III, 196.

раль повести оказалась ему типично-английской, и фраза о „практических натурах“ имеет в виду вовсе не действующих лиц этой повести, но англичан вообще. Как и следовало ожидать, все четыре святочных рассказа Диккенса, которые были известны Белинскому, несмотря на их широкую популярность в России, на очень частые и сочувственные отзывы о них русской критики, на попытки приспособить их для русского юношества и даже переделать их для русской сцены¹⁾, встречены были Белинским очень враждебно: ни мягкий лиризм „Сверчка на печи“, ни своеобразная фантастика „Святочной песни“ не могли заглушить в нем определенно враждебного чувства к их „стеснительному морализму.“

Интересно, что А. И. Кронеберг, который перевел „Битву жизни“, в той же 3 книге „Современника“, где был напечатан его перевод, поместил и специальную статью о „Святочных рассказах“. „Теперь, пишет Кронеберг, когда появление нового святочного романа возбуждало новый интерес, мы думаем, что не вовсе не к стати обратить внимание на весь кружок святочных рассказов Диккенса“. К сожалению замысел этот остался неосуществленным, так как в указанной статье дан разбор лишь первого из рассказов, а продолжение статьи не появлялось²⁾. Но из этого разбора вполне ясно, что ближайшие друзья Белинского далеко не разделяли его взглядов на Диккенса. Кронеберг, например, считает Диккенса „замечательным европейским романистом“, и отдает должное всей группе его „рождественских рассказов“, его художественному такту, силе его воображения. Тоже следует сказать и относительно В. П. Боткина, восторженного почитателя Диккенса, который едва ли согласился бы оставить за ним прозвище „дубового англичанина“ и дать такую низкую оценку даже его „Битве жизни“. Мы знаем уже, что как-раз в эту пору Боткин до крайности раздражен был отзывом Белинского об Александре Дюма, называвшего его „пошляком“ и „канатным плясуном“, считал, что суждения Белинского об евро-

1) В Ширяевской театральной библиотеке (Одесск. Государственн. Публ. Библ.) мне встретилась рукопись 1848 года: „Сверчок домашнего очага“. Переделка для сцены. Содержание заимств. из повести Диккенса“ (№ 2167).

2) „Современник“ 1847, т. II, кн. 3. Английск. литература, стр. 1—18. Подписи А. И. Кронеберга нет, но авторство его статьи устанавливается ссылкой на статью о Ж. Занд („Современн.“ 1847, кн. 1). „Кронеберг—только переводчик, а как сотрудник—хуже ничего нельзя придумать, писал Белинский Боткину 17 февраля 1847 г. При этом страшно ленив, а теперь, как нарочно, на него напала страшная апатия. Педантическая добросовестность его—хуже воровства со взломом“ („Письма“, III, 172—173). Однако педантическая и обстоятельная статья Кронеберга о „Святочных рассказах“, не была кончена, вероятно, по случаю его серьезной болезни в марте 1847 года („Письма“ III, 187).

пейской литературе „из рук вон плохи“, и даже готов был признать, что „поприще Белинского кончилось“¹⁾.

В конце 1847 года Белинскому суждено было еще раз отдать себе полный отчет во всех своих разновременных впечатлениях, которые доставил ему Диккенс, и подводя итог, высказать решительный и на этот раз окончательный приговор. Поводом к этому было появление в русском переводе романа „Домби и сын“. Еще в шестой книге „Отеч. Записок“ за 1847 г. в статье о романах Дизраэли появилось обещание немедленно приступить к его опубликованию: „Еще прошлою зимою, писали здесь, начал появляться ливрезоном новый и превосходный роман Диккенса „Домби и сын“. Мы тогда же поспешили его выписать себе, и, получая ливрезоны по мере их выхода, переводили их. Теперь получена и переведена у нас почти половина этого романа,—и мы немедленно приступим к печатанию его в „Отечественных Записках“²⁾. Обещание было исполнено: с 54 тома журнала, „Домби и сын“ начал печататься здесь в переводе А. И. Бутакова (тт. LIV, LV, LVI, LIX). Осенью 1847 года „Современник“ так же приступил к печатанию этого романа в переводе И. И. Введенского. Печатание обоих переводов подвигалось, однако, очень медленно и растянулось почти на целый год. Последний месячный выпуск романа появился в Англии только в апреле 1848 года; отдельные выпуски получались у нас очень неаккуратно: из переписки Некрасова с А. В. Никитенко, цензуровавшего „Современник“ видно, что первые части „Домби“ прошли через цензуру в конце октября 1847 года, но в январе печатание задержалось; Некрасов писал Никитенке 17 января 1848 г.: „Продолжение Домби и сына“ не пришло из Лондона“³⁾. Печатание сильно задерживалось также цензурою. И. И. Введенский начало своего перевода послал сестре в январе 1848 года, а через несколько месяцев он писал ей же: „Окончание Домби и сына еще мы не можем прислать, потому что роман этот до сих пор не мог быть

1) „Письма“ III, 325.

2) „Отеч. Зап.“ 1847, т. 52, кн. 6, отд. VII, стр. 18. В. П. Боткин писал А. А. Краевскому в сентябре 1847 г. „Сегодня я в СПб Ведомостях прочел оглавление 9 № „Отеч. Зап“. № хорошо составлен: что вы так долго сидели с романом Диккенса, объявив о нем „за три месяца?“ „Отч. Имп. Публ. Библ. за 1889 г.“. СПб. 1893, прилож., стр. 89. В 1850 году между „Отеч. Записками“ (кн. X, смесь, 289) и „Современником“ (т. XXIV, кн. 11, от редакции, стр. 98—99) возник спор о том, где раньше началось печатание „Домби и сына“. „Современник“ с гордостью заявил, что первая часть романа „выдана при восьмой книге журнала, а „Отечественные Зап.“ поместили ее в девятом своем номере“.

3) „Некрасов по неизданным материалам Пушкинского дома“, П. 1922-стр. 198, 211.

продолжен печатанием. Цензура распорядилась было запретить вовсе конец, но теперь, однакож позволила опять, и в будущем месяце кончу перевод оригинала¹⁾.

В начале декабря 1847 г. Белинский писал П. В. Анненкову: „Читали ль вы „Домби и сын“? Если нет, спешите прочесть, это чудо! Все, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как-будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить: у меня голова не на месте от этого романа“²⁾. Вскоре Белинский писал и В. П. Боткину (декабрь 1847): „А читаешь ли ты „Домби и сын“? Это что-то уродливо, чудовишно-прекрасное! Такого богатства фантазии на изобретение резко, глубоко, верно нарисованных типов я не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой натуре. Много написал он прекрасных вещей, но все это в сравнении с последним его романом бледно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенс — совершенно новый писатель, которого я прежде не знал. Зачем он так мало личен, так мало субъективен, так мало человек — и так много англичанин! Зачем он ближе к Вальтер Скотту, чем к Байрону! Зачем не дано ему сознательных симпатий и стремлений хотя настолько, сколько их у Eugene Sue! Он и без того так неизмеримо выше этого наемного писаки по столько-то су в день, что их смешно и сравнивать: что же было-бы тогда?“³⁾. В декабре 1847 года Белинский мог прочитать только начало романа, но впечатление его было столь сильно, что и в последней своей большой статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, которая писалась как-раз в декабре и напечатана была в первых двух книгах „Современника“ за 1848 г. Белинский отметил: „Из иностранных замечательных романов в „Современнике“ и „Отечественных Записках“... продолжается переводом „Торговый дом под фирмою Домби и сын“; когда этот превосходный роман, далеко оставивший за собою все прежние произведения Диккенса появится в русском переводе, мы поговорим о нем!“⁴⁾ Намерение Белинского не осуществилось: печатание романа кончилось только после его смерти († 26 мая 1848), а его отдельное издание вышло только в 1849 г. Но отзыв Белинского, данный им в цитованном письме к Боткину, дает полное представление об этой его ненаписанной статье. В основе своей, отзыв

1) В. Я. Б (р ю с о в). И. И. Введенский по его письмам „Русск. Арх.“ 1901 V, стр. 117.

2) „Письма“, III, 320—321.

3) „Письма“, III, 325.

4) „Современник“ 1848, т. VII, отд. III стр. 30, 31, 35. Соч. Белинского, изд. Иванова-Разумника, т. III, стр. 1003.

Белинского о Диккенсе все-таки не изменился: он вновь сожалеет об английском происхождении Диккенса, а сопоставления его с Байроном и Е. Сю имеют в виду, в сущности только подчеркнуть ту же типичную психологию британца, его уже давно отмеченную Белинским „привычку подчинять справедливость политике, а нравственность — общественным выгодам“ (VIII, 484). Белинский сожалеет теперь об отсутствии у Диккенса определенного общественного идеала, но еще в 1843 году он отмечал, что английская поэзия отличается от французской „своим равнодушием к верно изображаемой действительности, без порывания воздвигнуть и возвыситься до идеала“. Наконец и самое сопоставление с Е. Сю восходит к 1842 году. Позднее во Франции—И. Тэн, а у нас—Аполлон Григорьев сожалели о том же, и ставили Диккенсу в вину „избыток дурно направленного чувства“, которое нередко впадает у него в „отвлеченную сентиментальность“. Источник этого порицания и в том и в другом случае лежал, конечно, в стремлениях эпохи, отвоdivшей преобладающую роль решению политических и социальных вопросов. Что касается Белинского, то его личная политическая и общественная программа конца 40 годов совершенно исключила индифферентизм, напротив, требуя ясно поставленной цели, решимости и твердости духа; естественно, что этого же Белинский готов был требовать и от Диккенса. Во всяком случае, восторженный отзыв Белинского о „Домби и сыне“, последний из нам известных отзывов его о Диккенсе, не прибавил ничего нового к той характеристике английского писателя, которая была им сделана раньше.

В задачу настоящего очерка не входит изложение дальнейшей судьбы „Домби и сына“ в русской литературе: отзыв Шевырева в „Москвитяине“, замысел А. Н. Островского написать о нем большую критическую статью; попытки Ф. М. Достоевского подражать его отдельным сценам, замеченные тогда же А. В. Дружининым, и заставившие Достоевского исключить ряд страниц при позднейшем переиздании „Неточки Незвановой“ (эпизод с мальчиком Ларенькой); наконец, благодарственное письмо Диккенса—И. И. Введенскому, в ответ на присланный ему русский перевод романа—все это может составить самостоятельный эпизод в еще очень мало разработанном вопросе о популярности Диккенса в России и о роли его в литературном движении 40—70-х годов: специальные задачи настоящей статьи не позволили более подробно остановиться и на первом этапе этого увлечения. Но все же и тот, сравнительно скудный материал, который приведен здесь, позволяет сделать ряд обобщений.

К середине 40-х годов популярность Диккенса в России достигает уже своего расцвета. Ни одно из его новых произведений

не остается неотмеченным в русской печати; большинство из них переведено, некоторые по нескольку раз. К концу 40-х годов Диккенс становится уже одним из самых читаемых и популярных авторов: творчество его делают предметом школьного изучения¹⁾; переводы Введенского приближают его к широкой читательской массе. В глухую пору нашей литературы, — вспоминает о Диккенсе А. С. Суворин в 1870 г., — произведения его были „манной в пустыне и поглощались большинством читателей с интересом, который теперь, пожалуй, едва ли будет понятен“²⁾.

Белинский все время следил за ростом популярности Диккенса: его первые отзывы очень сдержаны и осторожны. Только в 1844 году он приходит в восторг от „Мартина Чодльзвита“. Но и на этот раз Белинский не выделяет Диккенса из ряда известных ему английских писателей, но как и всегда стремится особенно подчеркнуть его типичность для английской литературы. Отдавая должное его „верности действительности“, мастерскому умению схватывать „живые и яркие“ типы, Белинский особенно порицает его за „несносный морализм“ и за отсутствие у него ясной и твердой общественной программы: отношение это не меняется вплоть до 1847 года. Но и прийдя в полный восторг от „Домби и сына“, романа, который представил ему Диккенс в „совершенно новом свете“, Белинский все же возвращается к старой оценке: вновь отмечен и его морализм, и его, слишком досадный для Белинского, „объективизм“ („Зачем он так мало личен“...). Но всего характернее, что и на этот раз сделана ссылка на его английское происхождение.

„Я люблю две нации, — писал однажды Белинский В. П. Боткину, — француза и русака, люблю их за то, общее им свойство, что тот и другой целую неделю работает для того, чтобы в воскресенье прокутить заработанное. В этом есть что-то широкое, поэтическое“. Вследствие этого „на Руси решительно невозможно фарисейско-английское чествование праздничных дней. Народ гуляющий“... (Письма, III, 331). А по поводу „Битвы жизни“ Белинский подчеркнул в письме к тому же Боткину, что он при всем своем уважении к „практическим натурам“ все же более хотел бы быть натурою созерцающею, человеком просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко. Я — натура русская“. Послед-

1) Т. В. Shaw в своей учебной книге английской словесности, предназначенной для воспитанников Имп. Царскосельского лицея („Outliness of english Literature,“ St. Petersburg, 1847) отводит Диккенсу 20 страниц, называя его величайшим писателем современной Англии: здесь подробно разобраны „Записки Пиквикск. клуба“ и все романы до „Домби и Сына.“

2) „С.-Петербургские Ведомости“ 1870, № 168.

няя ссылка объясняет нам все. Источник равнодушного или враждебного отношения к Диккенсу следует искать даже не столько в общих положениях его критической мысли, сколько в темных глубинах его духа, в уклонах и свойствах его национальной психологии. При всем своем интересе к английской литературе, поставленной едва ли не выше других европейских литератур, Белинский в оценке ее не победил в себе расовой обособленности, тех устойчивых, извне-данных ему особенностей мировоззрения, которые оставались постоянными для него и в творческих напряжениях его мысли, и в ее привычном, автоматическом выражении. С ними необходимо считаться и при изучении взглядов Белинского на европейскую литературу вообще.

М. Алексеев.

1923.

К источникам „Дмитрия Калинина“.

(Драма Раупаха „Крепостные“).

Юношеская трагедия Белинского имела, как известно, две редакции. В той из них, которая под заглавием „Дмитрий Калинин“ сохранилась в копии со списка, представленного в Московский цензурный комитет, сюжет являет контаминацию двух тем—темы крепостной зависимости образованного человека с темой „свободной“ преступной любви.

„Дмитрий Калинин, сын лакея, воспитанный в семье помещика Лесинского, любит дочь своего приемного отца и любим ею; „воспламененные любовью“, они не думали о „пустых обрядах“ и соединились; но, несмотря на счастье, сердце Дмитрия неспокойно; он хотел бы открыться отцу Софьи, надеясь, что тот, „тронутый его раскаяньем, его просьбами, соединит его руку с рукой Софьи“.

Все это Дмитрий поверяет своему другу Сурскому в Москве, где он заканчивает свое образование. Неожиданно ему подают письмо: отец Софьи умер, отпускная Дмитрия уничтожена; новый барин приказывает ему немедленно вернуться из Москвы в деревню, так как Софья выходит замуж и „недостает лакеев для служения при свадебном столе“. Дмитрий в отчаянии: „Я раб! Я буду прислуживать при столе... и кому же? Андрею и Петру Лесинским, при столе, который будет даваться по случаю свадьбы их сестры!.. Знаешь ли ты, кто эта сестра, и что она для меня значит?.. Ее муж обратится ко мне и презрительно скажет: „Человек, подай тарелку!“

Действие переносится из Москвы в провинцию; разворачивается картина помещичьего быта, злоупотреблений крепостным правом, написанная в духе сатиры XVIII в. На балу у Лесинских внезапно появляется обезумевший от ревности и отчаянья Дмитрий и, в начавшейся ссоре, убивает за оскорбление—за слово „раб“—одного из братьев Софьи, жестокого мучителя крепостных.

Заключенный в тюрьму Дмитрий бежит, чтобы еще раз увидеть Софью и вымолить у нее прощение. Софья убеждает его умереть с нею вместе. После долгих колебаний, он закалывает ее; но перед тем, как убить себя, он узнает из оставленного ему „приемным отцом“ письма, что этот „приемный отец“ был его родным отцом. И вот Дмитрий Калинин, кровосмеситель, братоубийца, убийца своей сестры-супруги проклинает память своего отца, проклинает весь мир и бога и закалывается со словами: „Свободным жил я, свободным и умру!“

Несоответствие завязки и дальнейшего развития действия, характерное для этой редакции трагедии, герой которой является жертвой не столько своего „рабства“, сколько „страстей диких и необузданных“¹⁾, отсутствовало в первой редакции, о которой сообщает Пыпин²⁾ со слов Чистякова, секретаря „литературных вечеров“ того студенческого кружка, в котором Белинский в первый раз читал свое произведение:

„Владимир Калинин—незаконный сын помещика, богатого барина, и родился в семье его крепостного крестьянина; этот крестьянин потом умер, засеченный барином, который, чтобы несколько загладить ужасное дело, взял Владимира к себе.

„Владимир отличался пылким нравом и талантами; отец ставил его в пример своим барчонкам-сыновьям, и предпочтение, оказываемое перед ними холопу, возбудило в них скрытую злобу. Героиня—не сестра Владимиру, но в любви к ней соперником являлся именно один из братьев. Отец умирает, не успевши дать вольной своему незаконному сыну, и, по смерти отца, он достается по наследству своему сопернику по любви; новый барин, чтобы отомстить и унижить его, заставляет его служить себе за столом. Здесь же за столом Владимир убивает его“.

Д. П. Иванов подтвердил Пыпину, что этот вариант верно передает ту форму, в которой трагедия читалась на „литературных вечерах“. В этой редакции трагедия носила название „Владимир и Ольга“.

Интересно отметить, однако, следующее: этот пересказ Чистяковым содержания юношеской трагедии Белинского „Владимир и Ольга“ является в то же время довольно точным изложением трех первых актов трагедии немецкого драматурга Раупаха, напеча-

1) См. письмо Белинского к отцу от 17 февраля 1831 г.

2) Пыпин.—Белинский, его жизнь и переписка.

танной в 1826 году под заглавием: „Isidor und Olga oder die Leibeigenen“.

Забытый в Германии второстепенный драматург, Эрнст Раупах (1784—1852)—фигура довольно примечательная в истории русского просвещения. Сын бедного пастора, он, двадцати лет от роду, отправляется за заработком в Россию, где и проводит безвыездно 18 с лишним лет (1804—1822)—сперва гувернером в Перевлесе, Рязанской губернии, у помещика, столь жестокого, что ему пришлось оттуда бежать; потом гувернером в доме Новосильцовых; последние годы, — профессором С.-Петербургского Университета ¹⁾.

В 1816 году Раупах получает кафедру истории и немецкой литературы при Педагогическом Институте. Когда в 1819 году Педагогический Институт был переименован в С.-Петербургский Университет, Раупах был избран ректором, но комитет министров признал эти выборы неправильными, и первым ректором университета, по представлению министра народного просвещения, утвержден был проф. Балугьянский.

„Не прошло и двух полных лет со времени открытия университетских курсов, как исправляющий должность попечителя Петербургского округа Рунич представил Главному Правлению, что философские и исторические науки преподаются в университете в духе, противном христианству, и в умах студентов вкореняются идеи, разрушительные для общественного порядка и благосостояния“. Обвинение направлено было против четырех профессоров—Галича, Арсеньева, Германа и Раупаха, лекции которых были немедленно приостановлены. Вслед за тем, в Главном Правлении училищ читаны были выписки из студентских тетрадей по лекциям профессоров: Германа и Арсеньева—по статистике, Галича—по философии и Раупаха—по всеобщей истории: Главное Правление—сказано в протоколе заседания—с содроганием и крайним изумлением увидело, что в лекциях отвергается достоверность священного писания и находят дерзкие хулы на распоряжения правительства, и к крайнему прискорбию убедилось в том, что сотни молодых людей, под видом обучения высшим наукам, систематически напитываемы были смертоносною отравой для рассеяния по всему отечеству пагубных семян неверия, богоотступничества и мятежнических правил, которые потрясли уже перед нашими глазами крепость других государств“.

¹⁾ К дальнейшему подробности см. в „Исследованиях и статьях по русской литературе и просвещению“ М. И. Сухомлинова, т. I. П. 1889; ср. ст. Н. П. К а ш и н а в „Чтениях в Общ. Истории и Древностей Российских“ 1911, IV, 33—37.

Вот те данные, на основании которых было предъявлено обвинение в вольнодумстве Раупаху. Обвинение в „матерьялизме и атеизме“, внушавшихся слушателям, подтверждалось выписками из лекций, вроде следующей: „Всякая вера упадет со временем в той мере, как разум просвещается; что необходимо случается при умножающейся опытности“, или: „Никто из древних не имел понятия о боге невещественном“. Обвинение в том, что Раупах „устремлял преподавание философии единственно к убеждению своих слушателей в том, что теогония языческая есть учение истинное и единственный источник религии еврейской и христианской“, основано на таких замечаниях: „Очищения различные предписаны (Зороастром) и установлены тем же почти образом, как у израильтян“, или: „Индия между Индом и Гангом была уже в древние времена весьма просвещенною страню. Сословие жрецов и строгое разделение каст было уже в то время, как священные книги Веды были составляемы, что бесспорно долженствовало быть за многие тысячи лет до нашего летоисчисления“.

В невозможной обстановке суда Раупах держится с полным достоинством; не даром Рунич в записке, представленной в Главное Правление училищ, негодует на „гордость, дерзость и, можно сказать, презрение“, с которым держал себя Раупах на допросах в заседании профессоров.

Дело о профессорах было высочайшим повелением объявлено оконченным в феврале 1827 г.; но еще осенью 1822 года Раупаху удается получить заграничный паспорт, и он покидает навсегда негостеприимную Россию.

Но из России Раупах привозит в Германию ряд произведений, написанных отчасти еще в доме Новосильцовых. Два из них—на темы из русской истории—рассказ „Die Gründung Moskau's“ и драма „Die Fürsten Chovansky“—входят в то течение немецкой литературы, которое, с легкой руки Шиллера, искало захватывающих положений и интересного местного колорита в русской истории.

Другой характер носит драма „Isidor und Olga“, вызвавшая одобрителный отзыв Бёрне ¹⁾ своей либеральной тенденцией.

Даем здесь подробный пересказ, частью — и перевод этого произведения, мало значительного с чисто художественной точки зрения, но интересного как документ развития общественной мысли в России. Не забудем, что автор его—русский профессор.

¹⁾ B ö r n e, Die Leibeigenen.

БИБЛИОГРАФІЯ.

55. ПАЛЬМОВЫЙ ЛИСТЪ. *Собрание Восточныхъ Повѣстей. Перевелъ Б—скій. М. 1834. Въ Унис. Тип. (12).*

Въ этой небольшой книжечкѣ, довольно дурно напечатанной, плохими картинками украшенной, содержится нѣсколько небольшихъ нравоучительныхъ повѣстей въ Восточномъ вкусѣ: нѣкоторыя изъ нихъ можно бы прочесть съ удовольствіемъ, еслибъ только читатель не былъ принужденъ спотыкаться иногда на ухабахъ грамматическихъ..

ЛИТЕРАТУРНЫЯ МЕЧТАНІЯ.

(Элегія въ прозѣ.)

Я правду о тебѣ поразскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вонъ, братъ, рекомендую:
Какъ этакихъ людей учтивѣ зовуть?...

Грибодовъ. ГОРЕ ОТЪ УМА.

Есть ли у васъ хорошія книги? — Нѣтъ,
но у насъ есть великіе писатели. — Такъ,
по крайней мѣрѣ, у насъ есть Словесность?
Напротивъ, у насъ есть только книжки
торговля. Баронъ Брамзеусъ.

Помните ли вы то блаженное время, когда въ нашей
литературѣ пробудилось было какое-то дыханіе жизни,

Первая страница „Литературныхъ мечтаний“ („Молва“ 1834, № 3

Изидор, незаконный сын богатого и родовитого помещика и крепостной, воспитанный в семье отца, возвращается в Россию из Италии, где он завершал свое образование, и узнает, что отец забыл выдать ему отпускную. Узнает об этом и зритель из разговора лакеев в 1-й сцене I акта:

„О с и п. Наши баре, известно, неохотно принимаются за завещание; оно им сдается похожим на пригласительное письмо к смерти, а смерти-то они не хотят из любви к нам.

Ф е д о р. Понимаю; потому что они не знают, будут ли у них там крепостные¹⁾).

О с и п. Верно; и так старый барин не сделал завещания, и Изидор остался крепостным“.

Бессмыслица создавшегося положения возмущает Изидора:

Разве я

Нуждаюсь в вольной? Иль не волен я?

Как вольного, меня не воспитали?

но мало смущает его. Его младший брат—молодой князь—полож лучших идеалов своего времени; он мечтает облегчить участь крепостных и почтительно выслушивает наставления старшего брата:

И з и д о р. Ты—господин, властитель ты судьбы
У тысяч. Будь же милостив! Забудь
О том злосчастном праве, что отцам
Дал произвол над равными людьми.
Как часто строгость нашего отца
В нас слезы вызывала. Ты, ведь, сын
Эпохи просвещенной; пусть же дух
Ее дух мрака тщится победить,
Что миром правит в ветхих, учрежденьях!

К н я з ь. О брат, не доверяй моим речам;
Но сам пойди и расспроси о том,
Кто угнетенных бремя облегчил?

И з и д о р. С благословеньями рабов прими
Благословенье брата. Да, ты добр
И добрым будешь; но остерегись;
Кому намерен власть ты передать?
О, не тому, кто цепи сам носил:
Как руки, сердце жестче от цепей;

¹⁾ Ср. во 2-й редакции „Дмитрия Калинина“ беседу Лизы с Иваном: „Л и з а... у бога-то все равны. Здесь им хорошо повелевать нами, а на том-то свете, небось, не такую затынут песню“.

Других терзая, отомщает раб
Изведенные муки—Небесам.

Князь. Я сам останусь здесь“...

Но благородным мечтаньям братьев, Раупах противопоставляет жуткую действительность; в том же первом акте в сцене беседы слуг намечается трагическая вина, тяготеющая над помещичьим домом. Молодому лакею Федору шут Осип рассказывает историю своей загубленной жизни:

... „Федор. Разве наш брат не смеет полюбить? Разве с тобой этого никогда не приключалось?

О с и п. Со мной? Да—о да—я был однажды дураком... Это пренелепая история.

Федор. Ну, как же? Страсть люблю послушать про забавное.

О с и п. Я—рожден в честном браке, крепостной по отцу и матери, и все ж я смолоду был выродком. Я не мог понять, почему я должен думать, говорить и поступать так, как прикажет чужой; почему я, обладая чувствами и разумом, как благородный, все же причислен к отверженным. Разве это не было глупо?

Федор. Конечно, глупо. Я не знаю сословия счастливее нашего. Мы едим с чужого стола, пьем из чужого стакана, спим в чужой постели, носим платье с чужого плеча; и обо всем этом и в ус не дуем. Забота вся—барину, для него живем мы, для него и по-рем.

О с и п. И осел на свет в шкуре родится, и на всех перекрестках корм находит. Так рассудить я не умел, и часто жестоко за это платился; но часто я спасался от наказания шутовскими выходками и остроумием; и так мало-по-малу стал я шутом, чтобы добиться свободы безумца, раз я не мог добиться свободы разумного человека.

Федор. Это ты ловко устроил. Шутам и сказочникам живется лучше всего из нашей братии.

О с и п. Да, как обезьянам и попугаям. Ну, мне и жилось хорошо: покойный барин не мог без меня жить, я сопровождал его во всех путешествиях. Полтора года пробыли мы в Сибири, по письму княгини мы вернулись сюда и застали ее при смерти. Тем прекраснее расцвела ее воспитанница Аксинья. О! Вот была девушка!. Мы полюбили друг друга, я был тогда красивым парнем, лицо мое не исказил еще вечный смех, как теперь. Любовь меня совсем с ума свела: я стал верить, что господь не проклял нас, что он создал нас для счастья, как свободных. Разве это не было безумием?

Федор. Ну? Ну? Что же вышло?

Осип. Мы просили князя о разрешении повенчаться. Но он рассудил, что я не буду таким хорошим шутом, коли обзаведусь семьей; и справедливо—у шута не должно быть ничего на сердце. Княгини не было в живых, некому было заступиться за нас. Как мы ни просили, ни умоляли—он отказал наотрез; и справедливо—на то он и барин. Я, упрямец, хотел добиться своего силой; он сдастся, если мы тайно станем мужем и женой. Любовь не спорила с любовью: Аксинья почувствовала себя матерью. Мы бросились барину в ноги, целовали его сапоги—тщетно!—меня жестоко наказали,—а ее—ну, женщине всегда выпадет доля полегче—разгневанный барин выдал ее за конюха, который как-раз собирался жениться в третий раз. Чего больше? Конюх ведь и скотину милует. Но дура не хотела примириться с этим. У алтаря—о! это была веселая свадьба—у алтаря она сказала: Нет! Но кому до этого было дело; ведь венчать приказал сам князь. Когда ей это не помогло, она захворала с горя и умерла, когда должна была родить мое дитя; но—слава богу, она унесла его в могилу с собой! (После молчания он порывисто хватает руку Федора). Ну, брат, что же ты не смеешься?¹⁾

В образе Осипа, который оттеняется фигурами беспечного и самодовольного Федора и „раба верного“—старика дворецкого Петрова, Раупах воплощает „глухую жажду мести угнетенных, зависть, злобу, злорадство беззащитных (gottschall). В его уста автор влагает наиболее резкие выпады против крепостного права.

„О ты, неразумный бездельник!—говорит он Федору.—Помышляешь о любви, а сам ты—раб, двуногая скотина, которую продают, выменивают, дарят, проигрывают? Кого ты хочешь полюбить? Женщину, которую господин твой отымет у тебя, чтобы потчевать ею распутного гостя? Зачем ты хочешь полюбить? Чтобы умножить плоть и кровь для палки и плети? Чем ты хочешь полюбить? Твоей душой? Считанной душой, что принадлежит твоему барину? Тьфу ты, плут! ты хочешь самовольно распоряжаться чужим добром“...¹⁾

Как истинно романтический герой, Осип исполнен гордости, доходящей до богоборчества. В существующем порядке он видит установление божие, и потому ненависть его захватывает и бога.

„Никто не должен быть свободным, я не хочу этого, никто, кроме тех, кого сам господь избрал для того! тут я могу только скрежетать зубами“. „Я неохотно клянусь богом, который проклял нас“...

¹⁾ Ср. во 2-й редакции „Дмитрия Калинина“ — „Господин может для поэти“...

„Богу угодно угнетение одних людей другими. Если б ему это не было угодно, он не дал бы вам родиться среди отверженных“... Здесь звучит, как у Дмитрия Калинина, протест против „милосердного бога, отдавшего свою землю на откуп дьяволу“.

Так в 1-й сцене намечаются элементы трагической коллизии. Осип жаждет мести: „Не должно быть счастья в доме, где разбили сердце моей жены!“ Он ненавидит молодого князя, как сына своего обидчика; он ненавидит Изидора, как выскочку:

„Он сидел за столом, когда я стоял за стулом; и все же он мой двоюродный брат и ублюдок, а я законнорожденный“... ¹⁾

Намечается уже и завязка; случай дает Осипу возможность отомстить. Неожиданно оба брата оказываются соперниками в любви к графине Ольге. Князь встретился с Ольгой, приехав к больному отцу; но она на любовь его отвечает только дружеским расположением; она любит другого: недавно она вернулась из Италии, где Изидор в течение нескольких лет руководил ее занятиями живописью; учитель и ученица полюбили друг друга, и мать Ольги, умирая, благословила их.

Изидор не умеет скрыть своего чувства от брата. Желая удостовериться в том, любит ли Ольга Изидора, князь поручает выследить их Осипу, делая его, таким образом, своим поверенным. Пользуясь ревностью князя, Осип дает ему „дьявольский“ совет—воспользоваться тем, что по закону Изидор его крепостной.

О с и п. ...Если б вы могли поступать, как наш брат, если бы вы не должны были быть великодушными по вашему благородству, то вы сказали бы одно слово, одно единственное слово, и все было бы сделано..

Князь. Одно слово? Одно единственное слово? И это слово...

О с и п. Разве моя тетка не была крепостной вашего отца? Да разве она не ваша еще в могиле? Разве сын вашей крепостной не ваш крепостной? Пожалуй, что так. Разве моя тетка была замужем за свободным? Или ее сын получил вольную от вашего отца или от вас? Что-то не слыхивал. Стало быть, он ваш крепостной? Отлично: так вы только скажете: не смей любить графиню, я не желаю этого! Разве он смеет бунтовать против барской воли? Он будет любить ее втайне. Отлично! Разве он может жениться на ней без вашего разрешения? Разве она может отдать крепостному свою графскую руку?

¹⁾ Ср. в „Дм. Кал.“ описание отношения дворовых к Дмитрию.

Князь (молча поглядев на него одно мгновенье).
 Безумец ты, что мыслию ужасной
 Играешь, как младенец скорпионом?
 Иль ты служитель ада, что, сплетая
 Из грешных побуждений сети, нас
 Низвергнуть тщится в бездну отверженья?
 Безумец ты иль дьявол—я не знаю,
 Но дьявола достоин твой совет!

Осип. Это—не совет, ваше сиятельство! Я знаю, что это не подобает князю. Я только сказал вам то, что думаю, и это мой долг перед вами: ибо я принадлежу вам, и моя голова принадлежит вам, и мысли в моей голове принадлежат вам...

Князь. Он—брат по праву сердца моего,
 Любимец матери и сын отца,
 Кто отрока безумного—меня
 Спасал не раз—и ныне—он мой раб?
 Забыть я должен все, что обещал
 Ему отец мой? Должен я забыть,
 Что лепетал коснеющий язык?..

Но князь колеблется недолго. Воспитанный в атмосфере рабского подбострастия, он не умеет владеть своими страстями:

Изидор ...Он благороден.
 Ольга. Да, лишь в добрый час,
 Но он не властен под горячей кровью,
 Воспитанный меж крепостных рабов,
 Готовых вечно ублажать владыку,
 Он власти над собой не приобрел...

Кроме того, любовь графини к крепостному оскорбляет в его глазах честь дворянского сословия, потрясает основы государственного порядка:

..Поднять свое клейменное чело
 Не смеешь ты,—говорит он Изидору.
 Не смею я мечтать
 О царской дочери. Ее увлечь
 Изменой государству было б. Я
 В порфире не рожден. Нам жизни путь
 В рожденьи рок дает...

Поэтому князь легко поддается коварным советам Осипа. Он призывает Изидора и в долгой беседе упрощает его уступить Ольгу; когда же Изидор отказывается ему наотрез, князь напоминает ему, что он—его крепостной и обязан повиноваться.

Князь ...Ты брату не уступишь?—

И з и д о р. Н и к о г д а,
Я б презирал себя когда б во сне
Пришла мне мысль — ее покинуть...

К н я з ь. А!
Так презирай себя; обязан ты
Покинуть наяву ее.

И з и д о р. М е н я
Принудит кто?

К н я з ь. Г д е отпускная, раб?..
Чтобы окончательно унижить соперника, князь заставляет Изидора прислуживать за завтраком, на который приглашена Ольга.
(Маленькая комната с решетчатым окном в усадьбе князя).

... Осип. Мне приказано нарядить вас.

И з и д о р. Нарядить? Что это значит?

О с и п. Ну, вы должны стать лакеем, а лакею полагается ливрея.

И з и д о р ¹⁾. Возможно ли? О дьявол! хорошо придумано! Я в ливрее? Да, бывает в дьявольщине избыток, который возбуждает смех.

О с и п. Вы получите славный костюм егеря, зеленый, как лес весной. Чудная у барина прихоть—превратить вас в лакея. Годитесь вы для того, как псалом для балалайки. Странные причуды бывают у благородных, потому что господь так легко дает им все, что они не знают, куда девать время. Но примиритесь с этим, я бьюсь об заклад—через неделю-другую он вас посадит в контору.

И з и д о р. Где ливрея?

О с и п. Она у меня тут, под рукой (уходит).

И з и д о р (один) ¹⁾.

Она придет. Что если?.. Если он
В ливрее подлой, в рабском униженьи,
Рабом захочет показать меня?

О боже, боже! Только бы не то...
Я не могу снести... Я не снесу...

Осип возвращается с ливреей егеря и охотничьим ножом и пр.

И з и д о р (берет ливрею и снова отбрасывает).

Я не могу!.. Нет... Я хочу... Ну, что ж?

(Снова берет ливрею и переодевается; Осип помогает ему).

От первого дыханья до конца
Не все ли мы рабы? Рабы судьбы?

¹⁾ Ср. во 2-й ред. „Дмитрия Калинина“ монолог Дмитрия: „Я раб!“ я буду прислуживать при столе“... и т. д.

Надетая жесткой госпожей

Ливрея тяжкая—не есть ли плоть?

(Беря нож) Оружье? (он вынимает его наполовину из ножен)
смертоносное? (откладывает его). Нет, прочь!

О с и п (снова берет нож). Почему же прочь? Он сюда полагается. (Опоясывает его ножом). Хорош егерь, что охотничьего ножа боится. (Оглядывая его). Право, этот кафтан вам больше к лицу, чем прежний. Я, как ребенок, рад видеть вас так. Теперь вы из нашей братии: теперь я буду говорить вам „ты“ и „братец“, хоть вы и незаконный. Здорово, братец, у нас! Верно, что тебе было делать у благородных? Ты всегда походил бы на ворону меж соколов, потому что их надменному барскому безбожному обращению ты б и в жизнь не научился. И они всегда смотрели бы на тебя через плечо, на поклон твой поводили бы бровями и нюхали бытабак, когда б ты с ними разговаривал. Любить ты их не мог бы, ненавидеть бы не смел... Что ж это была бы за жизнь?..

Открытая беседка в саду князя. На переднем плане накрытый стол, на заднем—другой с бутылками и стаканами.

... Князь (графине). На завтрак вы согласны лишь глядеть?

Иль что-нибудь лишило вас охоты

Поесть?

Ольга. Вперед прощенья я просила.

Князь. Эй, егерь, наливай!

(Федор подает Изидору бутылку и указывает на стол; Изидор колеблется ее взять).

Мне долго ль ждать?

(Изидор хватаят поспешно бутылку и приближается быстрыми но неверными шагами к стулу графини).

Знакомый ваш, как кажется, графиня,

Коль не обманет память вас...

Ольга (увидев Изидора). Ах, да!

Я моего наставника узнать

Едва могу...

Изидор. Лишь внешность исказить

Насилие способно, но не дух.

Князь. Наглец, ты смеешь в разговор мешаться?

Ольга. Прошу вас, князь, не гневайтесь: виной

Я в том проступке.

Князь (Изидору). Наливай скорей!

(Изидор хочет налить графине, она замечает, как он дрожит, и берет сама бутылку).

Ольга. Позвольте мне самой...

Князь (хочет помешать этому). Прошу, графиня...

Ольга (наливая себе). Свою я меру знаю лучше всех.
Вы разрешите услужить и вам?

(Наливает князю и ставит бутылку перед собой).

Князь (в сторону). Змея, ужель тебя смутить не в силах?

Дюваль (компаньонка графини). Ужель все лето думаете, князь,
Вы здесь остаться?

Князь. Нет. (К графине.) Да, так, как вы,
Мужлан неловкий услужить не может.

Его безделье за границей лишь

Его сгубило; чтоб его исправить,

Придется мне прибегнуть к наказаньям.

Изидор (в сильном волнении). О мерзость...

Ольга (бросив взгляд на Изидора, быстро перебивает). Он сми-
рится, князь. Смириться

В необходимости сумеет он.

(Изидор, с трудом подавляя свои чувства, отходит).

Дюваль. Графиня, не забудьте, нам пора
Готовиться к отъезду.

Ольга. Да, вы правы.

Мне остается пожалеть лишь, князь,

Что времени так мало у меня.

Князь. Поспешность ваша ясно говорит,

Что неуютно угощенье вам.

Иль неприятно вам в услуге видеть

Наставника былого? Да, вы правы!

Учить вас было благороднее,

Чем у меня лакеем быть.

Ольга. Ах, князь,

Нет благородства или униженья

В занятии самом; лишь человек

Его унижит иль облагородит.

Князь (про себя). Проклятое упрямство! (Наливает себе и отдает
Изидору бутылку).

Дюваль. Нам пора.

Князь (графине). Каким блаженством раб мой очастливлен!

Да—под Италии волшебным небом

И раб способен вознестись из грязи.

Дюваль. О, я молю, графиня! Нам пора.

Ольга (не слушая Дюваль). Нет, не Италии то чары—Гений

Его вознес и сделал мне его

Почтенным.

Князь. Слово жалкое! К чему
Стесняете себя вы? Не студите
Стыдливой осторожностью слова:
Стыдиться можно ль благородной страсти?
Иль мните вы, что счастию раба
Могу я позавидовать?

Ольга (вставая). Князь, я
У вас.

Князь (вставая тоже). Да, к счастью, к счастью! Ну, на счастье!
(Изидору). Эй, наливай!

(Изидор хочет налить князю, но настолько вне себя, что проливает вино. Князь хватает его за грудь и отбрасывает прочь).
Безбожный дуралей!

Изидор (выхватывая охотничий нож).
Ступай же в ад, ты, дьявол!
(Бросается на князя).

Ольга (бросается между ними). Изидор! (Она ранена в руку).

Дюваль. О боже, боже! Вы в крови, графиня.

(Поддерживает падающую графиню, усаживает ее на стул и перевязывает ей во время дальнейшего руку платком).

Изидор (тотчас бросает нож, бросается к ногам графини).
Святая! О прости, прости безумца!..

Князь (слугам). Что ж вы стоите, подлые рабы?
Иль очумели вы? Иль должен я
Приказывать, чтоб взяли вы убийцу?
Прочь! прочь его!.. в оковы.. и стеречь
Пока я не предам его суду.
(Слуги увлекают Изидора).

Здесь оканчивается та часть трагедии Раупаха, которая по своей фабуле совпадает с пересказом Чистякова; но и в последних двух актах встречаются мотивы, близкие ко 2-й редакции „Дмитрия Калинина“.

За бунт против помещика Изидору, как крепостному, грозит тяжкое наказание. Ольга пытается хлопотать о нем, но напрасно:

Дюваль. ...Государственной изменой
Зовет бунт против барина закон:
А он—перед законом—крепостной.

Ольга. О боже! разве не сказали вы,
Как раздражал его жестоко князь,
Как оскорбление ему нанес?

Дюваль. Сказала я. Но не смягчает то
 Вины виновного. И оскорбить
 Раба не может господин. Он вправе
 С ним обращаться, как угодно; жизнь
 Его обязан только он щадить.

Ольга. О боже, боже! О закон ужасный!
 И я владею тысячами людей!
 Как притупляет в нас привычки власть
 Способность возмущаться“...

Она пытается подкупить дворецкого князя—старика Петрова.
 Но Петров—„раб верный“¹⁾—отказывается наотрез.

„Нет, ваше сиятельство! Я любил несчастного, как родного сына, но будь он и по плоти моим сыном, я не мог бы ему помочь. Я сказал бы: „Помоги тебе господь в твоей беде!“ Я плакал бы по нем дни и ночи напролет; но сам бы не согрешил и не пытался бы избавить его от заслуженной кары.

Ольга. Заслуженной? Праведный боже! Да разве ты не видел, как бесчеловечно его терзали?

Петров. Видел, и сердце мое обливалось кровью. Но раб должен в смирении переносить гнев своего господина. А Изидор—крепостной, раз барин не хочет его отпустить. А он покушался со смертоносным оружием на жизнь барина—это ужаснее, чем можно сказать. Пусть он покается в том, что согрешил: господь милостивее низрит на него в день страшного суда“...

Не находя иного выхода, Ольга соглашается своим браком с князем спасти Изидора. Но освобождение приходит для него слишком поздно:

...Ливреей разукрасили меня,
 Как дорогим ошейником собаку,
 Принудили меня к лакейской службе
 Все снес я, чтобы плети избежать.
 Мне угрожали подлым наказаньем,
 И били по лицу, и присудили
 К позорной казни... Думаете вы,
 Что вы спасли меня? О нет! Весь стыд
 И корчи омерзенья пред собою,
 И смерть в душе—весь ужас казни сей
 Я в мысли о возможности ее

1) Ср. во 2-й редакции „Дмитр. Кал.“ образ старика Ивана: „И за что, подумаешь, больно рассердился? Эка беда, что назвал его рабом, так за это и надобно губить душу христианскую?“

Уж пережил...

И почему сей ужас¹⁾? Потому ль,
Что я злодей? О нет! Лишь потому,
Что я рожден—отверженец я был
До первого дыханья; обречен
Червем быть под ногами у людей,
Червем, презренным всеми... У меня
Достоинства духовного уж нет,
И презираю я себя...

...Понять

Не можете меня вы; в том предел
Между женой и мужем; в чистоте
Честь ваша, но в свободе—наша честь:
Бесчестен раб, и рабство есть погибель“...

Наступает свадебная ночь. Осип торжествует: „Клянусь богом, сегодня веселая свадьба! Я не охотно клянусь именем бога, проклявшего нас. Но сегодня—клянусь богом—это веселая свадьба, как свадьба моей Аксиньи (обращаясь к небу). Видишь, князь Петр Юрьевич, я теперь сильнее тебя. Червь, которого ты раздавил, подточил основы твоего дома, и он рушится теперь. Видишь, князь Петр Юрьевич, и червя не надо топтать“.

Терзаемый угрызением совести, князь спешит вернуться со свадебного пира домой; здесь его застает Изидор. Так как братьям вместе тесно на земле, то они решают вопрос поединком; одновременно выстрелив, они смертельно ранят друг друга. Над трупом Изидора Ольга клянется освободить своих крепостных.

Решительный протест против крепостного права; либеральные тенденции пьесы, выраженные в форме общего протеста против бесчеловечности „ветхих законов“; романтические мотивы богоборчества и братоубийства; необузданные страсти и демонические порывы героев; голубиная кротость и самоотвержение героини; патетическая декламация в стиле юношеских драм Шиллера—все это могло привлечь юношу-Белинского²⁾, который в то время „прочтя

1) Ср. в „Д.М. Калинине“ монолог: „Быть рабом“... и „За что я несу на себе эти кары, эти мученья?“

2) Ср. замечание о „трагедии“ в письме к отцу от 1/II — 1831 г.: „В этом сочинении со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине, довольно живой и верной, представил тиранство людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных“.

„Разбойников“ готов был заткнуть за жилет деревянный кинжал¹⁾“. В Чистяковской редакции, помимо общего развития действия, сохранены все основные мотивы Раупаха—как, напр., мотив трагической вины, тяготеющей над помещичьим домом; неудивительно и некоторое искажение образа соперника-брата, т. к. как нам показывает 2-я редакция, наряду с традицией немецкой патетической трагедии²⁾, на Белинского сильно влияла русская сатирическая традиция XVIII в.³⁾, не допускающая той трактовки образа жестокого помещика, которую мы находим у Раупаха.

Была ли, однако, доступна Белинскому пьеса Раупаха? Белинскому, который не знал немецкого языка?

Пьеса Раупаха проникла в Москву—по крайней мере, один экземпляр ее имелся уже в 30-х г.г. в библиотеке Московского университета⁴⁾. Белинский в это время был дружен с людьми, хорошо знавшими немецкий язык—об этом свидетельствует почти те же письма, в которых он сообщает о своей „трагедии“⁵⁾. Таким образом ничто не препятствует допустить, что пьеса Раупаха—скорее всего в пересказе—была знакома Белинскому.

Разумеется, возможно предположить и случайное совпадение обеих трагедий. Тема крепостной зависимости интеллигентного человека в оформлении мотива унижительного лакейского служения за столом несколько раз повторяется в русской литературе. Он намечается у Радищева в эпизоде „Городня“, где использован и мотив воспитания крепостного таланта за границей⁶⁾.

1) Белинский знал „Разбойников“ еще до приезда в Москву (Письмо к родителям 9 окт. 1829 г.). Приведенная цитата взята из письма к Бакунину от 10 сент. 1838 г.

2) В сохранившейся редакции „Дм. Кал.“ встречается ряд реминисценций из „Разбойников“, как чтение Дмитрием (К. Моором) Плутарха, как кошмар Дмитрия (стар. Моора), как пребывание Дмитрия в тюрьме (II д., 3-я сцена „Разбойников“), как убийство Дмитрием Софии (К. Моором—Амалии). Характерно, что и по отношению к „Разбойникам“ Белинский сливает черты главного героя и главного злодея в лице своего героя.

3) В сохранившейся редакции „Дм. Кал.“ встречаются, напр., дословные реминисценции из „Недоросля“; образ Лесинской объединяет черты Простаковой (эпизод о братце) и Ханжахиной (эпизод молитвы), и т. д.

4) Согласно справке, любезно выданной мне из Библиотеки Московского университета, имеющийся там экземпляр „Isidor und Olga“ закаталогизован при библиотекаре Рейсе (1822—1832). О библиотеке университетской Белинский упоминает в письме к родителям конца 1823 г.

5) Письма к А. П. и Е. П. Ивановым от 20 дек. 1829 г., к П. П. и Ф. С. Ивановым от 13/1—1831 г.

6) См. „Путешествие из Петербурга в Москву“ Радищева. Ср. В. В. Данилов. Юношеская драма Белинского, „Русский Филологич. Вестник“, 1910, T. LXIII.

Впрочем, общая трактовка образа крепостного интеллигента у Радищева с его смирением и безропотностью очень далека от „страстей диких и необузданных“ и „бешеных поступков“ романтических героев Раупаха и Белинского.

Тот же мотив в форме, очень близкой к монологу „Дмитрия Калинина“, использован в качестве инвентарного мотива у Н. Ф. Павлова в „Именинах“ (1835) ¹⁾.

Впрочем, этот мотив давала и сама жизнь.—Совершенно аналогичный эпизод о крепостном Герасиме Круглове рассказывает, напр., П. А. Крапоткин в „Записках революционера“.

Как известно, существует предположение, что и Белинский заимствовал свой сюжет из жизни, изобразив в лице помещиков Лесинских славившихся своей жестокостью помещиков Мосоловых²⁾.

Но нигде, кроме Раупаха и Белинского, мы не находим осложнения названного мотива мотивом братоубийственной любви; нигде тема общественного протеста не углубляется до богоборчества и отрицания мировой справедливости. Может быть, и здесь допустимо предположить случайное совпадение—под влиянием мотива братоубийства у Шиллера („Разбойники“, „Мессинская невеста“), которому подражали оба автора. Но не значит ли это отводить слишком широкое поле случайности, допуская столь полное совпадение тем, сюжетов и фабул? И, наконец, разве не свидетельствует о заимствовании единственный фрагмент недошедшего до нас текста 1-й редакции—заглавие „Владимир и Ольга“, повторяющее заглавие „Исидор и Ольга“, с естественной заменой непоэтического имени „Сидор“ столь любезным для русских романтиков именем „Владимир“.

Р. Шор.

¹⁾ См. М. И. Сухомлинов. Исследования и статьи, т. II; ср. у В. В. Данилова.

²⁾ Венгеров ищет подтверждения этой традиции в словах Б. из письма к отцу от 22 I — 1831: „Вы в нем увидите многие лица, довольно вам известные“. Следует, впрочем, отметить, что Мосоловы, наряду с пензенск. именами, владели поместьями и в Рязанской губернии, где Раупах провел первые годы своего пребывания в России.

Белинский в сознании Блока.

Поэт Александр Блок выступал неоднократно в роли критика и публициста. Теологические и метафизические формы мышления, органически связанные с мироощущением поэта-символиста, последователя Вл. Соловьева и Шеллинга, наглядно проступают в философско-эстетических суждениях Блока. Публицистические же его выступления дают достаточный материал для суждения о том, как общественное „сознание“ поэта определялось и регулировалось его социальным „бытием“.

Настоящая статья исследует один эпизодический, но показательный момент в переживаниях Блока-критика и публициста: рефлекс Блока на Белинского.

В цикле своих публицистических статей „Россия и интеллигенция“ (1907—1918 г.) Блок постоянно оперирует двумя контрастными понятиями: Россия—с одной стороны, интеллигенция—с другой. Оба понятия взяты в особом подходе: отнюдь не в политическом, а в своеобразно-суб'ективном, почти мистическом подходе, смысл которого Блок ищет уловить термином „музыкальный“: „Я никогда не подходил к вопросу со стороны политической. Тема моя, если так можно выразиться, музыкальная (конечно не в специальном значении этого слова)“.¹⁾

Первое понятие—Россия—насыщено для Блока музыкой. „Наиболее близко определяют это понятие слова „народ“, „народная душа“, „стихия“, но каждое из них отдельно, все-таки, не исчерпывает всего музыкального смысла слова „Россия“.

„Точно также и слово интеллигенция берется не в социологическом его значении... антимузыкальность понятия интеллигенции заставляет меня орудовать этим, а не каким-либо другим словом“.

¹⁾ Цитирую по изданию: Собрание сочинений Александра Блока, т. VII, изд. „Эпоха“, Берлин 1923.

Между Россией, с одной стороны, интеллигенцией—с другой, отношения „весьма знаменательные“—отношения „борьбы“. Все симпатии Блока не на стороне интеллигенции. Стихию России воплощают для Блока—Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, стихию интеллигенции—Белинский, Добролюбов, Чернышевский; Писарев. Насколько Блоку близка, органически-родственна и дорога первая стихия, настолько чужда, далека и даже ненавистна вторая. Стихия „интеллигенции“, „просвещения“—в том смысле, какой придал этому слову XVIII век—стихия рассудочного сознания, логического мышления, сухая стихия „малого разума“, ratio—никак не приемлется Блоком, который всегда иррационалист, всегда интуитивист-романтик, а зачастую и мистик-символист.

„Русская литература—утверждает Блок—всегда от славянофила до западника, от «общественника» до эстета—питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому логическому мышлению, стремилась переплестись через логику“.

Если бы мы захотели найти самый одиозный символ для этой ненавистной Блоку рационалистической, интеллигентско-просветительской стихии, то, конечно, наиболее сосредоточенная ненависть у Блока—к Белинскому. Белинский для него—„отец“, „белый генерал“ русской интеллигенции. Вся „гнетущая немзыкальность“ интеллигентщины сконцентрирована для Блока в этом ультра-интеллигентском лозунге: „Белинский“.

Высказывания Блока о Белинском, поскольку мы их знаем, немногочисленны; но они цельны и однородны. В 1908 году, в 1915-ом, в 1921—они по существу—одни и те же. Блок в этом пункте верен себе.

Высказывания эти так немногочисленны, что я приведу их целиком. Проанализирую их. И постараюсь постигнуть смысл этого высокомерно-надменного, длительно-ненавистного отношения поэта к критику.

I.

Первое упоминание о Белинском мы встречаем у Блока в статье 1908 г. „Вопросы, вопросы, вопросы“. Говоря о распаде современной литературы и разброде среди писателей, Блок замечает: „Вывод тот, что русский писатель попрежнему один, может быть гораздо более один, чем во времена кружков Белинского и Станкевича“.

Этот пессимистический вывод, утверждающий горькое—прежде и особенно теперь—одиночество писателя-художника в обществе, даже в окружении критиков, даже Белинского, уже намекает на то,

что и Белинскому не предоставит Блок какого-либо исключительного положения среди русских критиков.

К 1908 году относится и первое высказывание Блока о Белинском. В статье „Народ и интеллигенция“ Блок приводит известную цитату из Гоголя— „Нужно любить Россию“, „нужно проехать по России“—писал перед смертью Гоголь. „Как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного! Как же сделать это? Поблагодарите бога прежде всего за то, что вы—русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь—есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию—возлюбит и все, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь Сам бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадание. А сострадание есть уже „начало любви“... Монастырь наш—Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши, для себя, не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде“ и проч.

Приведя эту цитату, Блок спрашивает: „понятны ли эти слова интеллигенту?“ Увы, они и теперь покажутся ему предсмертным бредом, вызовут все тот же истерический бранный крик, которым кричал на Гоголя Белинский: „отец русской интеллигенции“.

Это высказывание, будучи эпизодическим, все же говорит о многом.

Блок здесь смело берет под свою защиту Гоголя, с его религиозно-национально-мистической формулой, заявленной в экстаических тонах. Гоголю противопоставлен здесь Белинский 40-х годов и не только противопоставлен, но и взят в кавычки, как „отец русской интеллигенции“. Знаменитое „Письмо“ Белинского к Гоголю от 1847 г. воспринято, как „истерический бранный крик“, которым накричал Белинский на Гоголя. Цитата из Гоголя вовсе не означает, что Блок целиком приемлет платформу Гоголя—старозаветно-мистическую и болезненно-патриотическую—со всеми ее уродливыми выводами. Правда, по существу своей психологии и идеологии не с Белинским роднится Блок, а с Гоголем: 1) у них общая религиозно-мистическая закваска: старинная, церковно-византийская у одного, новейшая, философски-одухотворенная, владими́ро-соловьёвская—у другого; 2) у них общая „странная“, мистическая любовь к „России“,—но не в этом дело в данном случае. Дело—в защите свободы художника, свободы его творчества и мы-

шления: и то, и другое у художника иррационально, стихийно, интуитивно, алогично.

Именно в этой своей статье констатирует с чувством удовлетворения Блок, что русская литература „всегда—от славянофила до западника, от „общественника“ до эстета—питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремилась переплеснуться через логику“.

Этого никак не хочет понять „критик“: он строит свои „надменные“ суждения на теоретических предпосылках, взятых из области эстетики или общественности.

„Власть „критика“?—гневно спрашивает Блок в другом месте— „полномочие, данное кучкой людей? Право надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров, или с точки зрения „прогрессивной политики и общественности“?

В том же 1908 году и в той же статье „Вопросы, вопросы, вопросы“, Блок дал одно очень любопытное рассуждение на тему о закате русской культуры в связи с сменой господствующих классов.

Прочитируем в отрывках это рассуждение и запомним его. „Русское дворянство окончательно вымерло, лучшее, что оно может дать—это журнал „Старые годы“... Вместо русского дворянства (т. е. Пушкина, Толстого, Тургенева и т. д.) появился новый господствующий класс, который... как бы его назвать? Назовем, пожалуй, класс фармацевтов... Да, все заполнили фармацевты, это для них мы пишем книги... это они роковым образом не слышат ничего, что им кричишь в уши, кричи им раз,—три раза или пятнадцать раз об одном и том же... Это с шестидесятых годов, но тогда это называлось „появлением разночинца в русской литературе“... Какой уж разночинец теперь (т. е. нет уже Добролюбова, Решетникова и т. д.), теперь просто пошел „фармацевт“.

Заканчивает Блок вопросом, который возвращает все рассуждение к исходному пункту и представляется автору одним из „наиболее существенных“: „Есть в России какое нибудь сословие, которое способно продолжать славную деятельность покойного дворянства, или нет?“

II.

Второй раз высказался Блок о Белинском в 1915 г., в статье „Судьба Аполлона Григорьева“. На этот раз уже более конкретно и связано: в историко-литературной перспективе, в культурно-историческом плане.

Начинает Блок с того, что устанавливает одну важную предпосылку, которая кажется ему непререкаемой, „общим местом“.

„Мне кажется общим местом то, что русская культура со смерти Пушкина была в загоне, что действительное внимание к ней пробудилось лишь в конце прошлого столетия, при первых лучах нового русского возрождения. Если в XIX столетии все внимание было обращено на одну сторону—на русскую общественность и государственность—то лишь в XX веке положено начало пониманию русского зодчества, русской живописи, русской философии, русской музыки и русской поэзии“...

Далее идут такие размышления:

„Убитый Грибоедов, убитый Пушкин. Точно знак того, что рано еще было тогда воздвигать здание, фундамент, которого был заложен и, сразу же, засыпан, запорошен мусором. Грибоедов и Пушкин заложили твердое основание зданию истинного просвещения. Они погибли. На смену явилось шумное поколение сороковых годов во главе с В. Белинским, „белым генералом русской интеллигенции“. Наследие Грибоедова и Пушкина, Державина и Гоголя было опечатано... Белинский, служака исправный, торопливо клеймил своим штемпелем все, что являлось на свет божий. Весьма торопливо был припечатан и Григорьев, юношеский голос которого прозвучал впервые через шесть лет после смерти Пушкина. Оценка деятельности Белинского и его соратников еще впереди... отмечу только, что русское возрождение успело расшатать некоторые догматы интеллигентской религии, и Белинский уже не всем кажется лицом неприкосновенным... Григорьев был припечатан и, следовательно, не попал в интеллигентский „лубок“,— в тот лубок, где Белинский занимает место „белого генерала“. Поглумились над Григорьевым в свое время и Добролюбов, и Чернышевский, и их присные“.

Об эстетической платформе Григорьева: „Григорьев обладал даром художественного творчества и понимания, и решительно никогда не склонялся к тому, что „сапоги выше Шекспира“, как это принято делать (прямо или косвенно) в русской критике от Белинского и Чернышевского“...

О языке Григорьева: „Строчил он пространно, языком небрежным и громоздким; в статьях же иногда и водянистым, даже более водянистым, чем язык Белинского“. И, наконец, последнее в этой статье упоминание имени Белинского: характеризуя лучшую „москвитянинскую“ полосу жизни Григорьева, Блок говорит: „Голос Григорьева крепнет, здание, им воздвигаемое, растет... Может быть близилась и власть? Власть—побольше власти Белинского?“

И возвращаясь к мысли, положенной во главу статьи: „русская культура со смерти Пушкина была в загоне... внимание к ней пробудилось лишь в конце XIX столетия“,—Блок заключает: „Гри-

горьев — единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина: шаткий, висящий над страшною пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост“.

Это высказыванье Блока о Белинском чрезвычайно показательно, как и вся его статья о Григорьеве. Аполлон Григорьев — исключительная любовь Блока, Виссарион Белинский — неодолимая его ненависть. Вся статья построена так, чтобы умалить одного критика 40-х годов, „шумного“ Белинского, и возвеличить другого, забытого „замечательного русского поэта и мыслителя сороковых годов“ — Григорьева. Григорьев взят и канонизирован в пику Белинскому, Добролюбову, Чернышевскому и „присным“.

Обратим особое внимание на следующие три пункта;

1) Белинский и здесь взят только как Белинский 40-х годов, т. е. Белинский — преодолевший теологические и метафизические формы мышления, эстетический романтизм, философский квиетизм и ставший позитивистом, реалистом и „фанатиком социальности“.

2) Сороковые годы оказываются „роковыми“ для „здания истинного просвещения“. Кто заложил фундамент этого здания? — Державин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь. Кто „засыпал, запорошил мусором“ этот фундамент? — „Шумное поколение 40-х годов“, во главе с Белинским.

3) В частности — именно от Белинского ведет свое начало то эстетическое „одичание“ русской интеллигенции, которым кичатся шестидесятники. Если „водянистые“ эстетические суждения Белинского перевести на язык четкой прозы Писарева, то смысл их прозвучит примерно так: „сапоги выше Шекспира“. Блок не скрывает того, что удивительной редакцией формулы этой обязан он Достоевскому (В „Бесах“, I, VI, С. Т. Верховенский был освистан либералами за то, что осмелился сказать, что „сапоги ниже Пушкина“).

Как понимать все эти рассуждения Блока?

Смысл — достаточно ясен.

В Блоке говорит здесь не столько художник-творец, мистик-символист, представитель неоромантических течений — как в высказывании 1908 года, — сколько представитель определенной социальной группы, определенного общественного класса. В Блоке заговорил эстет-дворянин, ощутивший и осознавший в эпоху безвременья, когда Россия „вырвавшись из одной революции, жадно смотрела в глаза другой, может быть, более страшной“, — свое призвание: охранять от напора новых варваров старую, благородную, аристократическую культуру за период классического ее процветания в екатерининскую, alexандровскую и, отчасти, николаевскую эпоху (кончая 30-ми годами). Блистательная художественная куль-

тура этой поры—с центральной фигурой Пушкина—для Блока единственно-подлинная и единственно-ценная в русском прошлом. Об этом он скажет нам *en toutes lettres* в своем четвертом и последнем высказывании о Белинском—от 1921 года.

III.

Но прежде мы должны остановиться на разрозненных упоминаниях-высказываниях Блока от 1920 года, сгруппированных в его работе по Лермонтову¹⁾.

В связи с биографией и творчеством Лермонтова Блок не раз вынужден касаться здесь и Белинского. Эти разрозненные упоминания-высказывания распадаются на две группы, не совсем согласные между собой. В первой группе—два беглых, попутных упоминания о Белинском в рассказе о двух встречах критика и поэта.

Известен рассказ Сатина о первой, „колючей“ встрече Белинского с Лермонтовым в 1837 г. в Пятигорске, после которой Лермонтов отзывался о Белинском, как о „недоучившемся фанфароне, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что он проглотил всю премудрость“, а Белинский о Лермонтове, как о „пошляке“; и другой рассказ—Панаева и самого Белинского—о посещении последним поэта в 1840 г. в ордонанс-гаузе, когда Белинский увидел „настоящего“ Лермонтова и пришел в восторг.

Блок о двух этих встречах отзывается так:

1) „Пользуясь простудой, Лермонтов весело провел время в Пятигорске, где своим офицерским поведением отпугнул было от себя штатского Белинского“.

2) Лермонтов и Барант „дрались на дуэли, за что Лермонтов был арестован на гауптвахте. Посетивший его в эти дни Белинский исполнился к нему благоговения „в сознании своего ничтожества“.

В тоне Блока чувствуется определенная нота иронии по отношению к Белинскому: чувствуется, что печоринствующий офицер-дворянин Лермонтов ближе, понятнее, роднее для Блока, нежели зачитывающийся „французскими энциклопедистами“ интеллигент-разночинец, „штатский“ Белинский.

Вторая группа упоминаний—это цитаты из Белинского и ссылки на него, как на критика Лермонтова. Эта группа вносит

¹⁾ М. Ю. Лермонтов. Избранные сочинения, в одном томе. Редакция, вступительная статья и примечания Александра Блока. Издательство Гржебица. Берлин-Петербург 1921.

известный диссонанс в те суждения Блока о Белинском, которые мы до сих пор слышали и которые еще услышим. Блок — несколько неожиданно — оказывается достаточно беспристрастным, достаточно объективным ценителем Белинского. Блок „признает“ Белинского, как литературного критика, знает его ближайшим образом, как критика Лермонтова, считается с ним, цитирует его, ссылается на него, полагает, что в 40-ые годы „наиболее значительные мысли“ о Лермонтове были высказаны именно Белинским.

„Критика высказывала о Лермонтове очень разнообразные и несогласные между собой мнения. Наиболее значительные мысли выражены в 40-х годах Белинским (в статье „Герой нашего времени“ и „Стихотворения М. Лермонтова“) .. в 50-х годах Аполлоном Григорьевым... в 60-х годах — Зайцевым... в 90-х годах — Владимиром Соловьевым, В. О. Ключевским и В. В. Розановым... в первом десятилетии нашего века Д. С. Мережковским“. Далее следует ряд цитат из Белинского и ссылок на него ¹⁾.

Как это понимать?

Вывод может быть один: в своих публицистических высказываниях Блок берет Белинского предвзято, отвлеченно, схематически. Белинский здесь для него только обобщающий символ враждебного течения, возникшего во 40-х годах и расцветшего в 60-х. Белин-

1) 1) „В языке Лермонтова, отличающемся, по выражению Белинского о г о, „истинно-пушкинской точностью выражения“, много слов народных и областных, оборотов французских и церковно-славянских“.

2) По мнению Белинского, именно песня из сборника Кириши Данилова „Мастрюк Темрюкович“ подала поэту повод написать „Песню про купца Калашникова“.

3) По поводу стихов Лермонтова „Журналист, читатель и писатель“ — „Разговор книгопродавца с поэтом“ Пушкина, с которым еще Белинский сравнивал эти стихи Лермонтова“ и т. д.

4) По поводу стихотворения „Поэт“ — Белинский писал: „Ржавчина презрения“, выражение неточное и слишком сбивающееся на аллегория. Каждое слово должно до того исчерпывать все значение, требуемое мыслью целого произведения, чтобы видно было, что нет в языке другого слова... Пушкин в этом отношении величайший образец. Но мы говорим не больше как о пяти-шести пятнышках в книге Лермонтова: все остальное в ней удивляет силой и тонкостью... истинно-пушкинской точностью выражения“.

5) Белинский писал о „Мцыри“: „Этот четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями, как в „Шильонском узнике“, звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву“.

6) „Герой нашего времени“ — „гениальное произведение, встреченное, как всегда, разногласным хором похвал и брани, создало впоследствии большую литературу о себе; оно долго служило пробным камнем, на котором оттачивались два острия русской мысли: одно „западническое“ — Белинский; другое — более близкое к „славянофильскому“ — Шевырев, Аполлон Григорьев“. (Курсив наш).

скому, как мы видели, приходится расплачиваться не только за свои „грехи“, но и за чужие — Добролюбова, Писарева и „присных“. Но как только Блок пробует взять Белинского конкретно, а именно, как критика Лермонтова, то обнаруживается, что Блок и ценит Белинского, и уважает его, и считается с ним, и цитирует его.

Иначе говоря, оставаясь в плоскости объективно-научной, Блок умеет ценить Белинского: ставит его в ряды лучших русских критиков, опирается на его авторитет в своих суждениях, — и тот же Блок сразу теряет эту способность беспристрастной оценки, как только переходит в плоскость публицистическую. Тон его становится раздраженным, озлобленным: символист-эстет-дворянин — вольно или невольно — начинает сводить счеты с позитивистом-общественником-разночинцем. В этом мы легко убедимся, перейдя к четвертому и последнему высказыванию Блока о Белинском.

IV.

В 1921 г. в юбилейной речи о Пушкине („О назначении поэта“) Блок в последний раз выразил ярко свои симпатии и свои антипатии.

„Жизнь Пушкина склонялась к закату.

Слабел Пушкин — слабела вместе с ним и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так. И, если это не совсем так, будем все-таки и думать, что это совсем не так.

Пока еще ведь

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.

Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейшего сопоставления я пока воздержусь...

Пушкин умер... С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора!
Покоя сердце просит.

Это — предсмертные вздохи Пушкина и также — вздохи культуры Пушкинской поры“.

Основные положения культурно-исторической схемы Блока ясны до очевидности.

1) Расцвет русской культуры—1-ая треть XIX века. Пушкин—символ высшего расцвета этой „единственной культурной эпохи в России прошлого века“.

2) Эта блистательная дворянская культура уже в конце 30-х годов была явно обречена на гибель: с одной стороны, справа, под нее подкапывалась 1) „светская чернь“, „родовая придворная знать, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий“, т.е. те реакционные круги высшего дворянства, которые впоследствии Герцен обозначал выразительным термином „аристократическая сволочь“, и 2) служилая сановная бюрократия (Бенкендорф), реакционно настроенная, которая „уже на глазах Пушкина быстро занимала место родовой знати“; а с другой стороны, обозначилась новая—враждебная дворянской культуре—сила слева: она шумно напирала в 40-х годах, выдвинула своим знаменосцем „неистового Виссариона“, а на своем эстетическом знамени будто бы начертала слова, ставшие в 60-х годах сакраментальными: „сапоги выше Шекспира“.

Блок не умеет именем назвать эту новую стихию—органически ему чуждую, враждебную, но он ненавидит ее от всей души, и в этой слепой вражде готов поставить ее на одну доску с аристократическо-бюрократической „чернью“: Белинского, символизировавшего эту разрушительно-революционную стихию, готов Блок поставить на ряду с... графом Бенкендорфом, символом стихии разрушительно-реакционной. В „младенческом лепете“ Белинского и в „ораньи во всю глотку“ Писарева Блок уловил одни и те же „щмящие ноты“: приговор старой феодально-дворянской культуре и манифест новой торжествующей стихии.

Какой же?

Буржуазно-демократической.

„Роковые сороковые годы“... это делает честь пронизательности Блока. Да, конечно, именно 40-ые годы были тем переломным периодом, когда капитализм, не только старый—торговый, но и новый—промышленный, поднял голову для того, чтобы в 60-х годах властно подчинить себе умиравшую дворянско-помещичью, феодально-крепостническую Россию. Это бросалось в глаза и своим наблюдателям, и посторонним.

Уже в 1833 г. Пушкин, отмечая „обеднение русского дворянства“, утрату Москвой былого блеска, добавлял: „Но Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отноше-

ниях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством“. В 1843 г. сторонний наблюдатель, барон Гакстгаузен, отмечал неудержимое перерождение дворянской России в буржуазную: „Последнее время Россия сделала необыкновенные успехи в фабричной деятельности. Большая часть дворян обратилась в фабрикантов и заводчиков. Москва превратилась из дворянского города в фабричный“.

В 1845 г. Киреевский констатировал проникновение духа промышленного капитализма в деревенскую патриархальную обстановку: „Прежний естественный характер сельских отношений заменился характером фабричной напряженности“. И наконец в 1853 г. Герцен вспоминал о том, как некоторые помещики „в промежутке между 1812 и 1845 г.. стали заниматься промышленностью, переняли нравы и понятия буржуазии: „помещик... сделался мало-помалу из вельможи фабрикантом“.

Напор расцветавшего промышленного капитализма был так неотразим, его общественно-прогрессивная роль так неоспоримо очевидна, что гипнозу и обаянию связанных с ним надежд поддались в 40-х годах не только интеллигенты буржуазной складки—Боткин и Гончаров,—но и Некрасов и Белинский, оба по своему положению в обществе разночинцы-демократы; эти сильные и передовые умы мечтательно идеализировали, искренно приветствовали надвигающийся на Россию „золотой век“ промышленного капитализма.

Разночинно-демократическая интеллигенция объективным ходом вещей вынуждена была играть роль идеологического авангарда в этом прогрессивном выступлении капитала. И, может быть, откровеннее всех выразил это преувеличенно-высокое понятие об исторической роли буржуазии именно Белинский — в своем известном письме к Анненкову от 15/II. 1848: „Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль... Мой верующий друг ¹⁾ доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию“.

Белинского и воспринял Блок прежде всего именно, как первую ласточку новой буржуазной культуры, пришедшей на смену старой—дворянской. И никак во всю жизнь не мог принять Блок Белинского целиком (принимал только частично: *noblesse ob-*

¹⁾ М. А. Бакунин.

йге—классовый инстинкт обязывал. Последний потомок старинных дворянско-помещичьих фамилий, дворянин по происхождению и воспитанию, полудеклассированный в 1905 году и совсем деклассированный в 1917-ом, Блок и в 1908 году, и в 1915-ом, и в 1921-ом в своем отношении к буржуазно-капиталистической стихии и ее авангарду—радикальной, разночинной интеллигенции—один и тот же: он ее не приемлет.

Решающим здесь для социальной характеристики Блока будет показание А. Белого о нем: „ничего от разночинца“—как итог длительных впечатлений от общения с Блоком¹⁾.

„Ничего от разночинца“—Блок.

„Все от разночинца“—Белинский.

Этим сказано главное. Это момент в отношениях Блока к Белинскому—определяющий, предопределяющий.

Обратим внимание и на даты высказываний Блока о Белинском. 1908-ой, 1915-ый годы—это годы не только правительственной, но и общественной реакции: это провал между двумя революциями. Блок отдал дань этому периоду депрессии, растерянности и маловерия: вместе с другими представителями привилегированной дворянской интеллигенции он обнаружил в своей психологии и идеологии прослойки консервативных настроений. Пережив в 1905 году возбуждение, близкое к революционному, Блок затем отошел от революции—уследимый мотив этого сдвига: охрана классической культурной традиции, связанной с расцветом дворянской культуры в первой трети XIX столетия.

А кто в русской критике открыл, кто продолжил поход против монопольного господства в русской жизни этой старо-дворянской культурной традиции? Кто громче всех „шумел“ и ратовал в защиту другой, новой народившейся традиции?—Белинский в 40-х годах и Писарев в 60-х. На разночинце и плебее Белинском и разрядилась охранительная энергия одного из последних представителей дворянской стихии в русской культуре—Александра Блока

Последнее высказывание Блока о Белинском, от 1921 года, опять-таки падает на период по-революционный. Продолав подлинно-революционный взлет в 1917—1918 году, Блок был затем стихийно отброшен вправо от Октября, пережил жестокие сомнения в правильности путей русской революции и оказался в 1921 году в своей речи „О назначении поэта“ близко стоящим к платформе пушкинского поэта в стихотворении „Чернь“.

1) „Записки мечтателей“, ПБ 1922, VI, 78.

Теперь для нас более или менее ясны причины высокомерного, пренебрежительного, длительно-враждебного отношения Блока к Белинскому.

1) Некоторую роль играло здесь чувство цеховой гордости и профессиональной солидарности, побуждающей художников-творцов оказывать сопротивление слишком категорическим приговорам критиков.

2) Большее значение имел здесь мотив органического неприятия человеком религиозного уклада, мистиком-интуитивистом позиции рационализма, позитивизма и атеизма — тот самый мотив, который, повидимому, лежал в основе жгучей ненависти к Белинскому у Достоевского („этот человек ругал мне Христа“). Об отношении символиста Блока (в период „Стихов о Прекрасной Даме“) к позитивистам довольно определенно выразился А. Белый: „Позитивисты — те выводили его из терпения: позитивистов и материалистов считал он вредными дураками¹⁾“. Отцом этих „вредных дураков“ от 40-х годов и до наших дней оказывался все тот же автор „Письма“ к Гоголю.

3) Самым же важным и основным моментом упорной вражды Блока к Белинскому — моментом определяющим — надо считать все же момент классовый: дворянин-помещик, хотя бы и деклассированный (а может быть именно потому, что деклассированный), хранитель высокой аристократической культуры, Блок не приемлет Белинского, ибо видит в нем прежде всего „выскочку“, „фанфарона“, первого вестника гибели этой великолепной старо-дворянской культуры и первого глашатая новой вульгарно-буржуазной, разночинно-демократической.

Здесь уместно вспомнить об отношении к Белинскому двух других художников-аристократов — Лермонтова и Толстого; для первого Белинский был — в первом впечатлении именно — „фанфароном“, начитавшимся буржуазного публициста Вольтера; для второго Белинский просто не существовал: „Ну, какие мысли у Белинского!“, пренебрежительно заявлял Толстой в 1903 г., — „сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочел“²⁾. Презрительно-барственное отношение к Белинскому и у Лермонтова, и у Л. Толстого, и у Блока имеют одну — классовую — подоснову.

¹⁾ А. Белый. Воспоминания об А. А. Блоке, „Записки мечтателей“, ПБ 1922, VI, 68–69.

²⁾ С. Ашевский. „Белинский в оценке его современников“, ПБ 1911, стр. 318.

Резюмируем:

Поэт, мистик и дворянин соединились в лице Блока для того, чтобы поразить критика, позитивиста и разночинца в лице Белинского. Суд Блока был скорый, неправый и немилостивый. В вопиющей несправедливости приговора Блок соперничал с Лермонтовым, Достоевским и Толстым.

Белинскому оставалось одно: апеллировать к суду истории. История произнесла свой суд — ее приговор мы знаем: он не на стороне Блока.

А. Цинговатов.

x) в артикуле; к вам^x
x x) в артикуле; чувствитель

Я. П. Полонский о Белинском.

(По поводу неизданного письма).

Белинскому. —

М. Г.

В. Григор.

Благодарю вас за напечатание в Отеч. Зап. моей Маски —
Смею ли писать вам вторично — меня так и нудит обратиться к вам
моею просьбою — Ради бога не печатайте второго стихотворения
где ночные тени стоят на страже у дверей. Это такая
дрянь, что совестно вспомнить — Я его только что написал так и
послал к вам, как говорится, с горяча — раскурите же им Вашу
трубку. Если же вы и без моей просьбы успели это сделать (зачеркн.: —
Благодарю) пренаичувствительно Вам благодарен. — Если можно
напечатайте другое. — Я отрыл его из числа тех немногих, которые
не розданы и обещаны. — А стоит ли оно того, чтобы (зачеркн.:
быт ему) ему явиться на свет божий, пусть решит ваше (зачеркн.:
художеств.) эстетическое чутье, которому я привык верить. — Я не
совсем то верю Москве. У ней престранной вкус — мое давнишнее
плохое стихотворение напечат. в Москвитянине Арарат (зачеркн.:
засыпало меня похвалами) заставило меня краснеть от похвал и
восклицаний.

Прощайте

Остаюсь

(два недописанных и неразборчивых
слова) Я. Полонск.

1842 года 11 Мая М. —

Письмо Я. П. Полонского к В. Г. Белинскому печатается
с подлинного чернового текста, хранящегося в Пушкинском доме¹⁾.

¹⁾ Фотографию с него любезно сообщил для сборника Н. К. Козмин. Р е д.

Я. П. Полонский имел обыкновение писать предварительно на черном письме, имевшие для него какое-либо значение, и, конечно, такого особого внимания в его глазах заслуживало письмо к лицу, заведывавшему критическим отделом первоклассного столичного журнала, и притом — к В. Г. Белинскому. — В личном знакомстве с Белинским Полонский не был, и этим объясняется официальность в обращении к нему в начале письма и в форме заключительной подписи. Однако общий тон совершенно лишен официального характера. Это наглядно характеризует безыскусственность натуры Полонского, но думается, что и Белинский своею личностью мог располагать к такой непринужденности письма, несмотря на его деловое содержание.

Помимо фактической стороны письма, его содержание имеет цену и потому, что затрагивает вопрос общего значения — о взаимоотношении поэта и критика, поэтического творчества и оценки его. В этом смысле полна живого интереса история стихотворения „Пришли и стали тени ночи“, которым вызвано самое письмо.

Взыскательный в оценке своих поэтических произведений, юный поэт спешит остановить печатание стихотворения, которое уже послал в Отеч. Записки, называя его „дрянью“ и объясняя, что оно послано было им „с горяча“. Но ведь и просьба поэта не печатать его, выраженная так резко, тоже была послана с горяча. У критика, конечно, должна была сложиться собственная оценка стихотворению, — и она не совпала с судом поэта: стихотворение „Пришли и стали тени ночи“ в Отеч. Записках появилось, правда, лишь через 2 года (1844 г., № 6).

Но не прав ли был поэт в суде над собственным творением? Не включив это стихотворение ни в один из своих сборников до издания „Стихотворений“ (1855 г.), он напечатал его здесь, лишь значительно переработав его первую половину, — и только эта переработка действительно позволяет отнести стихотворение к ряду лучших произведений лирики Полонского. Итак, поэт оправдал свою взыскательность до конца. Однако был прав и тот критик, который не удержал этого стихотворения под спудом в архиве журнала: его эстетическое чувство и в незавершенной форме стихотворения оценило таившуюся в нем подлинную лиричность; ¹⁾ без того стихотворение и не могло бы возродиться во всей

¹⁾ Это стихотворение удостоилось внимания Гоголя: в критической статье Современника (1855, LIV т.) „Стихотворения Я. П. Полонского. Спб. 1855 г.“ читаем: „На днях только мы узнали, к удовольствию нашему, что стихотворение, нас поразившее, было выписано Гоголем в ту тетрадь, куда автор Мертв. Душ, так зоркий в деле поэзии, вносил все произведения в стихах, особенно ему „понравившиеся“.

своей художественной цельности, какую ему сообщил поэт в более зрелую пору своего творчества.

О каком стихотворении идет речь в письме на ряду с стих. „Пришли и стали тени ночи“, — неизвестно, и главным образом потому, что на протяжении 1842—1844 г.г., после стих. „Маски“ (От. Зап., т. XXII, 1842 г.), за помещение которого в журнале благодарит поэт, в От. Зап. было напечатано из стихотворений Полонского только „Пришли и стали тени ночи“, и лишь в 1845 г. появились три его стихотворения, первым — „Няня“ (т. XXXIX, стр. 254).

Строгой оценки к своим произведениям Полонский искал, и нельзя не отметить потребности юного поэта в таком высоком критерии и той неудовлетворенности, какую вызывают у него „похвалы и восклицания“ Москвы: они „заставляют его краснеть“. Так подействовали на поэта похвалы „давнишнему“ его стихотворению „Арарат“, напечатанному в „Москвитянине“ (1841 г., № 11). Осуждение автором этого стихотворения постигло его бесповоротно, и лишь в „Студенческих воспоминаниях“ (Нива, 1898, Лит. прилож. № 12, стр. 655) престарелый поэт приводит „небольшой образчик“ из этого стихотворения, говоря при этом, что он „вовсе не пожалел, что оно не вошло в общее собрание стихотворений“ (1896 г.), как не вошло и ни в одно из предшествовавших изданий.

В тех же „Студенческих воспоминаниях“ Полонский отмечает высокий авторитет в его глазах Белинского, и простодушно объясняет громкий успех своего первого сборника „Гаммы“, — именно тем, что полная сочувствия критическая статья о „Гаммах“ в Отеч. Зап. (XXXVI т., 1844 г., сент.) была принята всеми за принадлежавшую перу Белинского; он и сам считал ее автором Белинского, и лишь значительно позже узнал о принадлежности ее П. Н. Кудрявцеву, также постоянному сотруднику Отеч. Записок. „Для многих“ — пишет А. Галахов („Воспом. о П. Н. Кудрявцеве“. Русский Вестн. 1858 г., февр., кн. II, № 4, стр. 639) о критических статьях и рецензиях в журналах, — „автор оставался неизвестным: они хвалили напечатанное, адресуя свою похвалу не тому, кому бы следовало. Отсюда выходили забавные недоумения, заставлявшие меня и Кудрявцева нередко смеяться. Источник недоумения заключался в условии, наложенном редакцией Отечественных Записок на сотрудников, не подписывать своих имен под статьями в отделе критики и библиографии“. Вот почему и Полонский ошибался в авторе статьи о его „Гаммах“, приписывая ее долго Белинскому.

Поэтому-то я намеренно избегал именовать критика „Отеч. Записок“, определившего судьбу стих. „Пришли и стали тени ночи“,

хотя было бы очень желательно видеть здесь Белинского. Быть может, и стих. „Пришли и стали тени ночи“ было помещено в „Огеч. Записках“ также по усмотрению Кудрявцева, как, напр., это произошло со стихотворением Полонского „Факир и Ключ“, что удостоверяется самим поэтом в его письме (неизданный) к Л. И. Поливанову (дек. 1895 г.), где поэт пишет о том же стихотворении далее следующее: „Затем оно было помещено в моем неудачном Одесском сборнике моих стихотворений, и Белинский о „Факире“ отзывался с пренебрежением — „Пойми его кто хочет!“ или что-то в этом роде восклицает он в своей рецензии в Современнике (sic!) и советует мне „не прилагать к перу свои руки“. Это меня тем более удивило, что критическую похвальную статью обо мне, по поводу Гамм, (изданных в Москве) помещенную в Отечеств. Записках (чуть ли не 1844 г.) я приписывал Белинскому. — Только впоследствии узнал я, что критическую статью эту писал П. Н. Кудряцев“.

В этих строках поэта необходима существенная поправка: пренебрежительная рецензия Белинского об Одесском сборнике Полонского (1846 г.), появилась не в „Современнике“, а в тех же самых „Отеч. Записках“, где было напечатано и стих. „Факир и Ключ“ (т. XXXIX, 1845 г., отд. I, стр. 159—164); напротив, в Современнике сборник был встречен рецензентом (Плетневым) очень сочувственно, а стих. „Факир и Ключ“ было даже выделено, как „преимущественно обнаруживающее самобытную художественную кисть“ (т. XLII, 1846 г., № 4). — Полонский в своем письме к Л. И. Поливанову в общем передает на память верно тон рецензии Белинского, который здесь, действительно, оправдывает слова поэта о известности Белянского, как критика „строгого и беспощадного“ (Мои студ. воспом., стр. 677). И Белинский также выделил стих. „Факир и Ключ“, но о нем критик говорит так: „Прочтите „Факир и Ключ“: что это такое? Сто пудов посредственных стихотворений тому, кто разгадает и расплетет эту путаницу слов и стихов!.. К числу пьес подобно „Факиру и Ключ“, отличающихся понятностию, принадлежат так же „Историку“ и „Юноша и Век“. Вообще — продолжает Белинский свое суждение о всем сборнике: „в этой книжке стихотворений г. Полонского попадаются удачные стихи, даже удачные куплеты и места, но решительно нет ни одного удачного стихотворения“. Заключается рецензия такими словами: „Читая стихотворения г. Полонского, мы почему то невольно все твердим про себя эти два стиха сатирика доброго старого времени, Кантемира:

Ум незрелый, плод недолгой науки!

Покойся, не понуждай к перу мои руки...

Все же, несмотря на такой резкий отзыв Белинского об Одесском сборнике Полонского, даже и в этой рецензии (в которой ведется оценка и стихотворений Ап. Григорьева), Белинский, переходя от стихотворений Григорьева к отзыву о стихотворениях Полонского, указывает его существенное преимущество перед первым: „Г. Полонский находится в обратном отношении к г. Григорьеву. У него больше самостоятельного элемента поэзии, следовательно более таланта.“ Правда, тут же он прибавляет: „но ни с чем не связанный, чисто внешний талант этот можно рассмотреть и заметить только через микроскоп—так миньютюрен он“ и т. д. Ясно, что Белинский составил о сборнике поэта суждение весьма неблагоприятное,—и потому беспощадно указывает чужь ли не одни недостатки стихотворений. Можно сказать, что строг был суд и самого поэта над стихотворениями этого сборника, который он и называет „неудачным“: из 22 стихотворений его в последнее издание (1896 г.) вошло только 10, а 12 были устранены; впрочем стих. „Факир“ (уже с таким, сокращенным заглавием) вошло, лишь с некоторым изменением в 4-ой строфе 2-ой его части. Весьма существенное дополнение к истории этого „неудачного“ сборника раскрывается в письме Полонского „В Правление Пензенской Общественной библиотеки,“—помещаемом ниже.

Надо сознаться, что приговор Белинского поэтическому творчеству Полонского в этом пренебрежительном применении к нему двух стихов Кантемира звучит слишком беспощадно,—и гораздо более верно оценил Белинский поэтический дар Полонского в своем обзоре русской литературы в 1844 г. (Отеч. Зап.): „Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли и никакая ученость не сделает человека поэтом“.

Белинскому пришлось оценивать поэтическую деятельность Полонского лишь в самом начале ее и не пришлось видеть, как зрел его поэтический дар; а поэту суждено было связать последнюю живую память о своем критике, „эстетическому чутью“ которого он „привык верить,“—с резким словом осуждения своему поэтическому призванию. Тем не менее Полонский Белинского ценил высоко, можно сказать—преклонялся перед его судом. В этом отношении имеет особенный интерес образная статья (1877) Полонского „Зоил и Критик“ („На высотах спиритизма.“ Прибавление к полному собранию сочинений. С.-Пет. 1889 г., стр. 101—110), где поэт дает сокрушительную характеристику критикам зоилам, которых он уподобляет ничтожным злым „собачкам“, противопоставляя им могучего „льва“—критика: и таким „львом“ для него представляется—Белинский.

Еще определеннее высказывается Полонский о Белинском в своем письме в Правление Пензенской Общественной библиотеки, написанном в ответ на обращение к нему с просьбой принять участие в издании сборника памяти Белинского, в связи с исполнявшимся 50-летием (18 мая 1898 г.) со дня его смерти. Полонский пишет это письмо, на 79-ом году своей жизни, лишь за 5 месяцев до смерти, (18 окт. 1898 г.), уже почти слепой, но для него, и вблизи порога смерти имя Белинского все так же живо и так же связано с судьбой его поэтической деятельности, как верил в это поэт во всю свою жизнь.

Письмо печатается с собственноручного чернового текста поэта, предоставленного А. Я. Полонским.

„В Правление Пензенской—Общественной библиотеки.

Я многим был когда-то обязан эстетическим воззрениям Белинского на поэтическое творчество, и когда в моей ранней юности я отступил от них,—то был им осмеян (по поводу стихов моих, изданных в Одессе, не мной, а одним из моих недалёковидных приятелей), и за это—великое спасибо Белинскому. Его отзыв отрезвил меня.. и по крайней мере $\frac{3}{4}$ из моих тогдашних стихотворений) не поступило) в полное собр. моих стихотв.

Затем, я всегда глубоко скорбел о его преждевременной кончине (сверху зачеркн.: смерти).—Я уверен, что будь он жив, в нем я имел бы (сверху зачеркн.: своего) лучшего, самого беспристрастного критика моих поздних произведений, пренебрегаемых теми из его (сверху: Для тех же) последователей, (зачеркн.: для) которым (исправл. из которых) казалось, что (сверху зачеркнутого—что) мнение Белинского обо мне уже бесповоротно, (зачеркн.—и) что б я не писал—но мне уже не изжить клеймо его порицания.

Будь жив Белинский он был бы моим заступником.—Вот почему, мне и совестно отказ. вам в (неразборчивое слово) просьбе участвовать в Вашем издании—но,—я стар—теряю свое зрение—(зачеркн.—и ни) часто болею и мало нахож(у) досуга для того единственного занятия—к которому я был призван.—

Во всяком случае постараюсь к 1 Ноября что нибудь выслать Вам.

(Я. Полонский)“.

Чувствуется, что память о Белинском оставила большую рану в сознании поэта. Выше было подробно указано, как отнесся Белинский к Одесскому сборнику стихотворений Полонского,—это письмо вскрывает и подлинную причину слабого качества этого

сборника: он был издан не самим поэтом, а „одним из его недальновидных приятелей“... Так неуместная услуга подставила поэта под „клеймо порицания“ критика, которого он ставил так недосягаемо высоко.

В „Сборник памяти В. Г. Белинского“, вышедший в 1899 г., Полонский послал свое стихотворение „Здравый смысл“.

Ив. Поливанов.

Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского.

I.

Среди идеологических исканий русской интеллигенции XIX столетия не последнее место занимают идеи социальных утопий. Их родина — Франция в эпоху реставрации, а время их популярности там — 30-ые и 40-ые годы. В России их влияние впервые обнаруживается тоже вскоре после июльского переворота ¹⁾, сперва при очень ограниченном количестве прозелитов; но постепенно оно ширится, влияние нарастает; в сороковые годы в Москве, в провинции даже, но в особенности в Петербурге оно достигает широкого господства над умами, а „лет через пятнадцать после того“, по словам „Современника“, „выходит из замкнутых дружеских кружков на свет“, — в русскую печать.

Драматические опыты Герцена „в социально-религиозном духе“ Пьера Леру (1838 года) и роман Чернышевского „Что делать“ (1863 года) — таковы хронологические пределы господства над умами в России Сен-Симона, П. Леру, Фурье, Кабэ, аббата Ламеннэ, — пределы, как видим, довольно широкие. И само влияние этой кучки полузабытых теперь французских мыслителей было широкое, — шире их собственных мыслей: в 40-ые годы утопические системы Сен-Симона, Леру, Фурье вновь сблизили русское общество с Францией и ее культурой, после некоторого отчуждения от нее в конце 20-х и в 30-х годах. Их нарастающее влияние в России в 30—40-х годах шло рука об руку с пробуждавшимся тогда интересом к новой французской литературе, „молодой французской словесности“, как она называлась тогда у нас. Кружок московских „любомудров“ конца

¹⁾ Впрочем и раньше декабрист Лунин уже знаком был с учением Сен-Симона.

²⁾ См. П. Анненков „Литературные воспоминания“, изд. 1909 г.

20-х г.г. надолго сблизил русские литературные и философские интересы с Германией. Поэтому-то „молодая французская словесность“ в лице В. Гюго, Бальзака, Жорж-Санд, Сю, Жюль-Жанена, Нодье и др. не сразу нашла себе ценителей в России. Первый Полевой заговорил сочувственно на страницах „Московского Телеграфа“ о „французском романтизме“¹⁾, но если и нашел отзыв в Москве, главным образом среди молодежи²⁾, то в Петербурге, напротив, был встречен сурово и насмешливо³⁾. Но все же он достиг того, что интерес к „молодой французской словесности“ был возбужден среди русских читателей, и журналистика отныне волей-неволей принуждена была с этим считаться. Из года в год, чем дальше тем больше, расширяются в журналах обзоры французской литературы; отделы библиографии и рецензий все больше и больше начинают заполняться отзывами о французских романах; наконец и сами они появляются в переводах,—по почину Сенковского,—в „Библиотеке для Чтения“, а затем и в „Сыне Отечества“, и в новых „Отечественных Записках“, а к концу 40-х годов и в „Современнике“.

И знаменательно, что в этом потоке переводов и отзывов рядом с литературными именами (Гюго, Бальзака, Жорж-Санд и др.) все чаще и чаще начинают встречаться имена авторов социальных утопий—Сен-Симона, Фурье, Кабэ и их учеников—Пьера Леру, Ламенэ и В. Консидерана... Трактаты социальных реформаторов, заражали тогда своими идеями романистов, подсказывали им известные тенденции. Эту связь сразу же уловила русская журналистика⁴⁾.

1) См. И. Замотин. „Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе“. Варшава. 1913 г., гл. III.

2) См., напр., Автобиографию А. п. Григорьева. Собр. соч. под ред. Саводника, вып. I, стр. 57—64.

3) Отзывы Пушкина о „так называемой романтической школе французских писателей“ (о Ж. Жане не, Сю, Ламартина, Бальзаке, Гюго), см. Пушкин, под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 39, 46, 346, 347, 402, 403, 404 и т. д. См. также статью П. Н. Сакулина „Взгляд Пушкина на современную ему французскую литературу“ Ibid. 372.

4) В этом смысле характерны следующие отзывы „Библиотеки для Чтения“ о французской литературе: „Известно, что главная мысль начальников французского романтизма заключается в том, будто супружество есть состояние, несогласное с человеческою природой. Г. г. Бальзак, Жанен, В. Гюго, Фурье и др. ворочают эту... идею уже несколько лет“ („Библиотека для Чтения“ 1837 г. Т. II, отд. VII, стр. 83). Или по поводу стихотворений В. Гюго: „Благоговение перед бедными... в большой моде у известного класса французских писателей. Они все добродетели зашивают в его лохмотья“... (ibid. Т. XXIII, отд. VII, стр. 142). Но чаще всего это сближение „начальников французского романтизма“ с авторами социальных утопий встречается в рецензиях на романы Жорж-Санд. Например: „явилась „Лелия“, и слава Жорж-Санда возлетела за облака... Когорта небритых париж-

Цензура 30—40-х гг.¹⁾ не в состоянии была пресечь распространения не только романов Ж. Санд или Э. Сю, но и трактатов самих утопистов. Относительно их распространения в России находим интересные данные в докладной записке Липранди по делу Буташевича-Петрашевского: „Всевозможные зловерные сочинения нынешней западной пропаганды продавались у нас в книжных лавках и разносились по всему пространству государства. Случай доставил мне повод учредить наблюдение за одним только книгопродавцем (Лури), и у него найдено 2.500 томов подобных книг и где? просто на полках в магазине! Из корреспонденции же его и из конторских книг, взятых за 10 лет, видно, что все эти запрещенные книги требовались и рассылались в знатном количестве по всему пространству государства... Сделанный в Риге и Дерпте обыск у книготорговцев равномерно открыл знатное же количество таковых книг в магазинах. Утвердительно можно сказать, что едва ли не каждый из этих торговцев промышляет этим ядом“). Книги, заманчиво рекламировавшиеся журналами, без труда можно было достать в петербургских и даже провинциальных магазинах... Французские газеты, даже парижские „листки“ 48-го года, находили себе доступ в петербургские кружки и собрания. „Газеты из Парижа начиная с 27 февраля, приносили какое-то нервическое раздражение.. Они читались нарасхват во всех петербургских кофейнях; доходило до того, что кто-нибудь один овладевал листком, становился на стол, окруженный толпою, и во всеуслышание читал декреты временного правительства и речи Луи-Блана в Люксембургском дворце“...³⁾

Различные отзывы современников живо рисуют то воодушевление, которое создано было тогда этой французской литературой, наводнившей,—вопреки цензуре,—и журналы, и книжные магазины, и даже петербургские кофейни.

ских философов с энтузиазмом закричала: „здравствуй, жрица! Виват, наша Пифия!“... Писательница... по случаю новых связей своих с угорелыми реформаторами общества и человека, ударилась в демагогию,—Сен-Симонизм, Фурьеризм“... (ibid. 1843 Т. LIX, отд. III, стр. 1—23). Или по поводу романа „Le pechié de M. Antoine“ рецензент замечает: „Жорж-Санд становится жарким проповедником... и тешитя разными фантастическими теориями“ (ibid. Т. LXXVIII, „Литературная летопись“, стр. 25—26). Романы Жорж-Санд и рекламируются журналом вместе и одновременно с трактатами утопистов (например, в отделе „Новые книги“, ibid. Т. LXXVI, Смесь, стр. 120—121; Т. LXXII.— стр. 95—97).

1) Ее враждебное отношение к „молодой французской словесности“ не раз отмечено в дневнике Никитенко („Моя повесть о самом себе... Записки и дневник“ Т. I, С.П.Б., 1904 г. стр. 203—204—205.

2) См. „Русская Старина“ 1872 г.

3) Автобиографический роман одного из „петрашевцев“, Альбинского (Пальма) „Алексей Слободин“. См. „Вестник Европы“ 1873 г. кн. 2.

„Из Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занд,—вспоминает Салтыков-Щедрин,—... лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас...“¹⁾

„Вся сила молодых умов ушла туда, на усвоение этого вновь открывавшегося перед ними мира,—повествует Альбинский-Пальм,—мира энергических протестов, растравленных ран настоящего горя, и обольстительных построений всеобщего будущего счастья человечества“²⁾.

„С этих пор (т. е. с начала 40-х гг.) симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет... „Икария“ Кабэ, гораздо более ее распространенная и популярная система Фурье—все это служило предметом изучения, толков, вопросов и чаяний всякого рода... Книги названных авторов были во всех руках в эту эпоху, подвергались всестороннему изучению и обсуждению, породили, как прежде Шеллинг и Гегель, своих ораторов, комментаторов, толковников, а несколько позднее, чего не было с прежними теориями, и своих мучеников..., образовали у нас особенную школу, где все учения жили в смешанном виде и исповедовались как-то за раз адептами ее. В такой не слишком плотной и солидной амальгаме вышли они лет через 15 после того на свет и в русской печати“³⁾.

Слав, о котором говорит П. В. Анненков, нетрудно было осуществить русским ученикам Сен-Симона, Фурье, Кабэ⁴⁾: у всех этих

¹⁾ Собр. соч., изд. Маркса, т. VIII, стр. 122.

²⁾ „Вестник Европы“ 1873 г., кн. 2.

³⁾ П. В. Анненков, „Литературные воспоминания“ СПб. 1909 г., см. статью „Замечательное десятилетие“.

⁴⁾ Далее приняты во внимание след. сочинения утопистов: Saint-Simon „Nouveau Christianisme“ (1819 г.) См. „Oeuvres de Saint-Simon Paris 1841 г.“ Это сочинение было популярно еще в 30-х гг. в кружке Герцена и Огарева, см. „Былое и думы“, ч. I, гл. 7, а позже—в кружке братьев Бекетовых, см. „Юность Достоевского“, „Былое“ № 23; Cabat „Voyage en Icarie“ (1842 г.), „Du vrai Christianisme suivant Iesus-Christ“. Сочинения Кабэ имели распространение и среди друзей Белинского в начале 40-х гг. (Анненков, см. выше) и среди „петрашевцев“ (см. „Голос Минувшего“ 1915 г., № 11, стр. 5—43); Pierre Le gouh „Du Chistianisme et de son origine democratique“ (1849 г.). Статьи, вошедшие в эту книгу, привлекали к себе, как увидим, повышенное внимание Белинского. La men pais „Paroles d'un croyant“ (1834 г.) популярность этого мыслителя видна из отзывов о нем „Библиотеки для чтения“. Названное сочинение было известно „петрашевцам“ (см. „Голос Минувшего“ 1913 г. кн. 8). V. Considerant „La destinee sociale“ (1834 г.). Эту книгу (изложение системы Фурье) в 1848 г. рекламируют „Отечественные Записки“, среди „новых книг“: „Destinee sociale, второе издание известного сочинения Виктора Консидерана“ см. „Отеч. Записки“ 1848 г., т. LVI, отд. „Смесь“. Известна она была и „петрашевцам“.

социальных реформаторов было нечто общее, — не в самых проектах реформы (тут каждый из них предлагал свое), а в тех философских предпосылках, которыми они старались оправдать и доказать легкую осуществимость своих утопических проектов. Эта философская аргументация, более чем другие стороны утопических теорий, и должна привлекать к себе внимание исследователя русских умонастроений 30—40-х гг., — эпохи умозрительной по преимуществу... Сами утописты называли свое учение христианством, — только „новым“, „восстановленным“ или „истинным“; и в самом деле, истинными сектантами были эти „друзья человечества“. Духовные дети женеvского философа, они не чужды были христианской поэзии своего современника. Шатобриана. На страницах своих трактатов они много, охотно и убежденно говорят и спорят о догматах христианства. Их пафос — вера в прирожденное совершенство человека и отрицание греха, как источника зла и страдания. В этом они — преемники Ж.-Ж. Руссо, его умозрительных традиций „светлого христианства“¹⁾. И страстной убежденностью они не уступали учителю; а смелостью практических выводов, подсказанных опытом революции, они превосходили его...

Их учение²⁾ облечено в своеобразную литературную форму — стилизованной проповеди. „Paroles d'un stoquant“ аббата Ламеннэ подражают языку евангельской притчи, заимствуют образы Библии и Апокалипсиса; таковы же диалоги прозелита и верующего в „Новом христианстве“ Сен-Симона; стилизация присуща и Кабэ: вот воззвание его к ученикам, напечатанное в „Populaire“ (9—16 мая 1847 года): „Уйдем в Икарию!.. новые иудеи! гордые и независимые, подобно им... покинем дом рабства и отправимся на завоевание страны обетованной, нового земного рая! Подобно Иисусу и его ученикам, преследуемые современными фарисеями, мы пойдем, как некогда они, в пустыню... новые крестоносцы! Двинемся в священную страну... чтобы заложить там колыбель нового Иерусалима, совершенного города“. Стиль этот был и устойчив, и широко распространен: им воспользовался, например, и русский автор некролога Фурье³⁾.

„Друзья человечества“, обещанные утопистами, предстали тогда перед французским и русским читателем в художественных образах Жорж-Санд. За 1835—1838 гг. сблизившись с последователями Сен-Симона, — с аббатом Ламеннэ и в особенности с П. Леру, — она горячо отдалась идеям „нового христианства“, надолго подчи-

1) См. Sainte - Beuve „Port - Royal“, passim.

2) Оно изложено в нашей статье „Юность Достоевского“ („Былое“, кн. 23).

3) См. „Юность Достоевского“, „Былое“, № 23.

нив им свое творчество¹). Образы ранних романов, сохраняя мрачный ли пафос Байрона („Lelia“), возвышенный ли шиллеровский героизм, вместе с тем воплощали собой верования утопистов, их гуманический идеал мессии „нового христианства“, нового „земного рая“. Но надо напомнить содержание хотя бы одного из этих мало известных теперь романов, чтобы ясно представить себе, — что же возбуждало тот восторг у русских современников писательницы, о котором единодушно свидетельствуют их мемуары, биографические записки (Достоевского, Тургенева, Григоровича, Салтыкова-Щедрина и др.). В романе „Jeanne“ (1844 г.), например, изображены три молодых энтузиаста, доведенные „романтизмом того времени до желания быть великими“²). Скитаясь, три друга встречают в глухой деревне девушку, которая поражает их величием и чистотой. „Жанна прекрасна и ужасна; Жанна христианка первых веков; улыбаясь перенесла бы она мучения; сколько благодати сокрыто в ее сердце...; вечно мечтающая, молящаяся и любящая“, она — „один из чистых типов, восхитительных и таинственных, созданных для какого-то несуществующего золотого века, где способность усовершенствоваться была бы не нужна, потому, что все было бы совершенно... Они совершенно готовы для идеального общества, о котором человечество мечтает, которого ищет, ожидает; но всеобщее волнение их не тревожит. Неспособные понимать зло — они не видят его, до них как бы не коснулся первородный грех, и они будто не потомки Евы... Жанна была не набожною католичкою, но христианкою равенства, евангелическою радикалисткою, если можно так выразиться, то-есть она была еретичкою, сама того не зная“. Подвиг этой девушки и составляет действие романа, — подвиг, задуманный ею под впечатлением глухого предания о Жанне Д'Арк.

Места отмеченные разрядкой, выдают ту идеологическую среду (учение утопистов, в особенности Леру), в которой задуман и создан был этот характер великодушной мечтательницы, повторяющийся впрочем и во многих других романах французской романистки³).

¹) Об этом см. в книге В. Каренина „Жорж Занд, ее жизнь и произведения“, т. II, 1916 г., стр. 1—12 и др.

²) Здесь, как и далее, цитируется журнальный перевод из „Отечеств. Записок“ 1845 г., т. XL (апрель—май).

³) Степень действенности в среде русских читателей 30—40-х гг. творчества Жорж-Занд, а тем самым — и идей утопистов, изобличается хотя бы тем, что, например, в творчестве Достоевского несомненно отозвались героини Жорж-Занд, подобные Жанне, — в концепции его женских образов, начиная от Зины („Дядюшкин сон“) и до Катерины Ивановны (в „Братьях Карамазовых“).

„Розовое“ христианство утопистов, воспринятое к тому же из романов Жорж Санд, было пережито экстатически, — как новое откровение, — его русскими адептами 30—40 гг.

30-ые и 40-ые гг. в России тем и своеобразны, как эпоха философского развития, что та или иная система мыслей (Шеллинга или Гегеля, Фурье или Леру) тогда воспринималась как откровение, т.-е. полное раскрытие абсолютной истины и, как таковое, становилось глубоко действенной во внутренней жизни своих исповедников, иногда даже утрачивая при этом свой теоретический интерес. Истину тогда не искали, но во всей ее полноте обладали ею; таково самосознание Станкевича, Бакунина, такова вера и их друзей — учеников. Эти носители „абсолюта“ мало занимались собственно теоретическими построениями мыслей. Пафос их деятельности был иной. Власть, которую они сознавали в себе как обладатели „истины“, и которую охотно признавали за ними друзья, распространялась на все многообразие интимной жизни друзей, преобразуя это многообразие духом открытой им „истины“: этой властью расторгались браки, расторгались или завязывались отношения дружбы, предписывались или запрещались те или иные душевные состояния, характер влюбленности („Schönshligkeit“ „Entsagung“, „Resignation“). И вот, характер откровения не в меньшей мере присущ был тогда у нас и „истинам“ утопических теорий. Да ведь и по существу системы утопистов были не столько доказательными теориями, сколько проповедью, вызывающей к вере и великодушию¹⁾.

Энтузиастической верой в истины „Нового христианства“, проверкой этих истин в собственном душевном опыте, устройством в себе, — в своей влюбленности, в своей дружбе, — „божественного человека“, „героя человечества“, обещанного утопистами, — так и откликнулись русские ученики Сен-Симона, Фурье, Кабе на их учение.

Первыми исповедниками доктрины Сен-Симона у нас в ту эпоху были, как известно, Герцен, Огарев и их друзья²⁾. Переписка

1) Например, у Консидерана: „Et qui prendrait sur lui d'affirmer que Dieu a donné à chacun de ses enfants une tête qui pense, un coeur qui bat, des oreilles pour aimer l'harmonie, des doigts pour la faire... sans permettre, sans vouloir, qu'il en soit un sour ainsi? Dites, artistes, dites, poètes, ne sentez-vous pas ici la Destinée de l'homme? Dites, toutes ces merveilles de l'harmonie sociale, n'y sentez-vous pas l'empreinte du beau et du vrai dont vous portez le type en vos âmes... oui, oui c'est la destinée de l'Humanité d'être heureuse“. (V. Considerant Destinée sociale. Tome premier, 3-e édition, Paris, 1848, стр. 322).

2) См. „Былое и Думы“. Ч. I, гл. XVI: „был под влиянием идей мистически социальных, взятых из евангелия и Ж.-Ж. Руссо на манер французских мыслителей в роде Пьера Леру... Огарев еще прежде меня окунулся в мистические волны. В 1833 г. он начинал писать текст для Гебелевой оратории „Потерянный

Герцена с Огаревым, но в особенности переписка А. И. Герцена и Н. А. Герцен наглядно воспроизводит то умонастроение, которое создано было в них идеями „нового христианства“.

„Предмет мой—христианская религия“, писал Герцен другу в 1833 году.—„Обновления требовал человек, обновления ждал мир. И вот в Назарете рождается сын плотника... „Все люди равны“, говорит Христос. „Любите друг друга, помогайте друг другу“—вот необъятное основание, на котором зиждется христианство. Но люди не поняли его. Его первая фаза была мистическая (католицизм)... Вторая фаза—переход от мистицизма к философии (Лютер). Нынче начинается третья, истинная, человеческая, фаланстерство (может быть, сен-симонизм?)“. К чему эта новая вера обязывала и вела прозелита,—выясняется из писем Герцена к Natalie. „Здесь, в груди горит вера сильная, живая, есть провидение!“—писал ей Герцен из тюрьмы в декабре 1834 г.—Его воображение пленяют „божественные примеры самоотвержения“. О том же говорит и другое письмо к ней, уже из Вятки (10 ноября 1836 г.): „Я долго читал... размышлял о христианстве, сочиняя статью о религии и философии. Устал; пора было спать. Я многое раскрыл, написал мысли совершенно новые и радовался. Без всяких мыслей раскрываю Эккартсгаузена и попал на след. место Священного Писания: „И беси веруют и трепещут“. Я содрогнулся! Да, вера без дел мертва. Не мышление, не изучение надобно. Действование, любовь—вот главнейшее. Любовь бога создала Слово воплощенное т. е. весь мир. Любовь построила весь Христову“. Любовь к Natalie и была этим „действованием“, необходимость которого вытекала для Герцена из усвоенной им доктрины „Нового христианства“... „Вникни в идею этого слова—любовь“, писал Огарев другу.—„Если она и поглотит тебя, то не уничтожит ничего благородного; она очистит тебя, как жрецы очищали жертвы, которые готовились богу“¹⁾. И Natalie тоже переживает любовь как духовный подвиг: „Люби, люби, плыви по морю любви, пишет она из Москвы в Вятку.—Может, волны его вознесут корабль твой к небесам!“...

Но как-раз в это же время,—в 1836 году—в имени Бакуниных и в Москве возникает этот же культ любви, это же понимание, ее—как внутреннее „действование“, во имя тех же целей,—полного раскрытия в себе духа, но только под воздействием не француз-

рай“. „В идее Потерянного рая, писал мне Огарев, заключается вся история человечества!“ Стало быть, в то время и он отыскиваемый рай принимал за утраченный“.

¹⁾ См. „П. В. Анненков и его друзья“, 1892 г., статья „Идеалисты тридцатых годов“.

ских утопий, а немецкого идеализма; „Nouveau Christianism“ Сен-Симона почти так же отозвалось в Герцене, — в его любви и дружбе, — как и „Anweisung zum seligen Leben“ Фихте в Михаиле Бакунине, его сестрах и Белинском. Разные явления одной и той же эпохи отождествлялись в типической однотонности переживания...¹⁾

II.

На подвижной, переимчивой и, тем самым, выразительной, „центральной“, по слову Тургенева, натуре Белинского лучше всего проверяется характер и степень действительности того или иного мыслителя или группы мыслителей в русской среде 30—40-х гг.

Пределы, которыми ограничено бытование на русской почве

¹⁾ Вслед за юношеской перепиской Герцена должна быть отмечена одна журнальная статья Вал. Майкова, с наименьшей полнотой изобличающая умонастроение, созданное в ту эпоху у нас „Новым христианством“ утопистов. В своей статье („А. В. Кольцов“, „Отеч. Записки“ 1846 г., т. XLIX) В. Майков излагает и обосновывает учение Сен-Симона о „восстановлении плоти“ (Rehabilitation de la chair), в сочетании с теорией страстей Фурье (attraction passionnelle), и т. д. дает как бы наглядный образец той „амальгамы“, о которой говорят „Воспоминания“ П. В. Анненкова...

„Человек, к какой бы нации ни принадлежал и каким бы обстоятельствам ни подвергался..., все - таки принадлежит по натуре своей к разряду существ однородных, называемых людьми... Общей всем людям идеал человека составлен из свойств положительных, которые .. называются добродетелями... Пороков в этом идеале нет ни одного. Но этого мало... Пороки могут быть объяснимы внешними обстоятельствами; между тем как добродетели прирождены человеческой природе, как силы, составляющие ее сущность... Нет такой добродетели, которой зародыш не таился бы в природе человека. Мало того, все пороки не что иное, как добрые наклонности... сбитые с прямого пути... Всякая добродетель основывается на какой-нибудь потребности человеческой природы... „Из этих предпосылок развивается далее Майковым излюбленная мысль утопистов об избранниках человечества, их свободе и совершенстве, их историческом предназначении“. Источник уважения к людям, которых называем мы великими. — Сила противодействия внешним обстоятельствам, препятствующим каждому из них приблизиться к идеалу богоподобного человека. Виновники великих общественных переворотов все без исключения были и должны быть одарены великою свободой личности... Христос, со стороны своего человеческого существа, являет собою совершеннейший образец того, что называем мы величием личности... Каждый из виновников общественных переворотов должен приблизиться в известной степени к идеалу богоподобного человека, чтобы сделаться великим... Какая же и цель жизни, и деятельности великих людей, . как не та, чтоб освободить массу человечества от оков внешности и т. д., все более и более приближать ее к чистоте и полноте богоподобия“ („Критические опыты“ В. Майкова, СПб., 1891 г. Стр. 62—68). — „Новое христианство“ утопистов нигде на русской почве 30—40-х гг. не получило более яркого и законченного выражения, чем в приведенных отрывках статьи Вал. Майкова.

идей утопистов (московский кружок Герцена начала 30-х гг. и петербургские кружки конца 40-х), являются, вместе с тем, и пределами философского развития Белинского. Один из моментов этого развития отмечен—и записками современников, и перепиской Белинского—как увлечение системами утопистов. Но, как известно, далеко не сразу подчинился Белинский этому влиянию; и подчинившись на время, в дальнейшем развитии с решительностью освободился от него и отрекся. Путь, которым подошел Белинский к идеям утопий, а также и пути, которыми ушел он от них, и должны быть исследованы.

„Религию гуманности“ Белинский усвоил только в 1840 году; этому предшествовала вера в „разумную действительность“ (1838—1840 гг.), а еще раньше (1836—1837 гг.) не менее страстно были пережиты некоторые идеи Фихте. Французскими „утопиями“ в жизни Белинского, якобы, отмечен совершенно самостоятельный, с прежними не связанный период,—так утверждают обычно. Однако, истинность этого утверждения должна быть заподозрена. Системы утопистов в начале 40-х гг. дали Белинскому простое и успокаивающее решение тех же самых проблем его внутренней жизни, что были возбуждены в нем еще системой Фихте, но оказались для него неразрешимыми на почве идеалистической философии.

Задолго до знакомства с П. Леру и Жорж-Санд внутренняя жизнь Белинского была уже страстно устремлена к идеальному совершенству „богоподобного человека“: в 1836 г. быстрое сближение с Михаилом Бакуниным, поездка в Прямухино и сближение с сестрами друга открыли Белинскому этот идеальный мир.

„Посмотри на своих сестер,—писал Белинский другу из Пятигорска (в августе 1837 года).—Они давно уже живут в царстве любви, в царстве божием, они давно уже наслаждаются этим миром и гармониею души, этим счастьем, тихим, кротким и ясным, но глубоким и верным, этою ясностью и спокойствием духа, которая дает человеку только одна любовь, и которые одни составляют на земле царствие божие“¹⁾.

Исканием в себе „царства божия“ и; наконец, горьким сознанием тщетности этих исканий и заполнен „прямухинский“ период жизни Белинского—1836—1838 годы. На этих исканиях надо остановиться, т. к. верования 1840—1843 гг. во многом повторяют „прямухинские“ и как бы разрешают их неизжитую тогда напряженность.

От Станкевича в течение 1836 года М. Бакунин узнает Фихте²⁾

1) См. Белинский. Письма, под ред. Е. Ляцкого, т. I, 1914 г., стр. 106—107. Курсив мой.

2) См. П. В. Анненков „Н. В. Станкевич“, ч. I, стр. 136.

и погружается в его философию религии. В его „Наставлении к блаженной жизни“ („Die Anweisung zum seligen Leben“) М. Бакунин почерпает пафос и содержание учительства среди сестер и друзей.

Согласно Фихте, знание коренится в самосознании. И высшей целью знания является возвращение его к своему чистому первоисточнику,—„погашение разделенного и разделяющего сознания в вечном“. Знание начинается противоположением об'екта суб'екту; чистое самосознание такого противоположения не знает, оно—абсолютное единство. Это тождество и есть истинное бытие. Достижение его—конечная цель человека. Познавательная деятельность—путь к этой цели; полнота ее осуществления—пятая, высшая ступень самосознания. Т. о. раздельное (между об'ектом и суб'ектом) знание в конечных своих результатах ведет к полноте безраздельного самосознания, которое, согласно Фихте, и есть богопознание. „Хочешь ты видеть бога лицом к лицу, каков он есть сам по себе? Не ищи его за облаками, ты найдешь его всюду, где ты сам... предайся ему сам, и ты найдешь его в своем сердце“. Начальные слова евангелиста Иоанна служат для Фихте оправданием его догмы о тождестве бога и его откровения. Полнота личного самосознания и есть откровение, т. е. бог.

Такое христианство,—истолкованное догматами идеалистического суб'ективизма,—становится практическим началом совокупной жизни прямухинских друзей летом 1836 года. В сестрах Мишеля они видят достигнутой ту полноту духа, к которой сами стремятся при помощи философии. Усваивая термины догматического христианства, они вкладывают в них свое содержание: „благодать духа“, которой они страстно ищут, и о которой все время говорят в своих письмах,—высшее состояние саморазвивающегося „я“.

Эта цель и стояла тогда перед Белинским. „Бог не есть нечто отдельное от мира, но бог в мире, потому что везде,—как бы вторит Бакунину¹⁾ Белинский в письме к Иванову из Пятигорска.—Да, его, как говорит великий Иоанн... никто не видал; но он во всяком благородном порыве человека, во всякой светлой его мысли, во всяком движении его сердца. Мир или вселенная есть его храм, а душа и сердце человека есть его алтарь, престол, его святая святых. Итак, ищи бога не в храмах, созданных людьми, но ищи в сердце своем, ищи его в любви своей. Доселе христианство было истиною в созерцании, словом, было верою; теперь оно должно быть истиною в сознании—философию. Да, философия немцев есть ясное и отчетливое, как математика, развитие и об'яснение

¹⁾ Ср. его письмо к сестрам А. А. Корнилов „Молодые годы...“ стр. 172—174.

христианского учения, как учения, основанного на идее любви и на идее возвышения человека до божества, путем сознания¹⁾.

Воодушевленный, подобно Бакунину, фихтеанской идеей „возвышения человека до божества путем сознания“, Белинский стремится подчинить ей внутреннюю свою жизнь. Его любовь к Александре Бакуниной была попыткой осуществить в себе эту идею богоподобия. Но опыт оказался трагически неудачным; и в этой неудаче — зародыш дальнейшего умозрения Белинского...

Любовь к А. Бакуниной была заранее предрешена Белинским: чувству, которое еще не родилось, уже предписана была цель вне его:

Фихтеанская полнота самоуглубленного духа предстала Белинскому достигнутой в „Прямухинской гармонии“, в „идеальной действительности“ сестер Мишеля. „Благодать божия не дается нам свыше, но лежит, как зародыш, в нас самих“²⁾, — в это он тогда уже верил; он — романтик — знал средства, которыми самодеятельное „я“ может из себя взрастить этот „зародыш“: спекулятивная деятельность, — но авторитет Бакунина всегда отрицал в нем „спекулятивную натуру“; поэтический гений, — поэтом Белинский не был; — и, наконец, любовь. И, кажется, с первых же дней пребывания в Прямухине Белинский ждет в себе это чувство, чтобы через него приблизиться к „идеальной действительности“ самосознания. Но „ложное чувство, в котором истинна была только потребность чувства“, — как определил его сам Белинский 2 года спустя, — не осуществило той цели, ради которой было возбуждено. „Полною жизнью я жил только в те минуты.., когда все собирались в гостиной, толпились около рояля и пели хором. В этих хорах я думал слышать гимн восторга и блаженства усовершенствованного человечества³⁾, и душа моя замирала, можно сказать, в муках блаженства, потому что в моем блаженстве, от непривычки ли к нему, от недостатка ли гармонии в душе, было что-то тяжелое... Еще были для меня минуты блаженства, уже вполне чистого и гармонического, когда, забывая вполне самого себя, оставляя все сравнения с собою, я созерцал и постигал в умилении все совершенство этих чистых, высоких созданий; да, в эти минуты, очень редкие, я был вполне блажен тем, что верил в существование на земле бесконечно прекрасного и высокого“. Но приблизить к себе это видение, самому приблизиться к

¹⁾ См. Письма, т. I, стр. 88 - 96.

²⁾ Ср. выше мысли В. Майкова (Сен-Симона и Фурье) о добродетелях, рожденных человеку.

³⁾ Ср. выше мысли В. Майкова (Сен-Симона) о „Полноте богоподобия“ будущего человечества.

нему, чего неудержимо желал и в возможность чего верил, — не мог“.

„Мои недостатки нравственные терзали меня; сравнивая свои мгновенные порывы восторга с этою жизнью, — ровною, гармоническою, без пробелов, без пустот, без падения и восстания, с этим прогрессивным ходом вперед к бесконечному совершенству — я ужасался своего ничтожества... Не видя твоих сестер, я чувствовал внутри себя пожирающую лихорадку и думал, что их присутствие успокоит мою душу; но когда сходил вниз и снова видел их, то снова уверялся, что вид ангелов возбуждает в чертах только сознание их падения. И таким образом случались целые дни, когда я перебегал сверху вниз и снизу вверх; искал общества и, находя его, бегал от него. И вот причина тех порывов отчаяния, с которыми я бросался на кровать...“¹⁾ Среди прямухинских друзей никто больше и сильнее самого Белинского не чувствовал этой роковой непричастности его к совершенству А. Бакуниной. Но и другие поддерживали в нем это сознание: „шутка“ Мишеля, — что много есть сходства у одной особы с Беттиною (Фон-Арним), но у Белинского с Гете — никакого, — оскорбляет его, но и вызывает согласие: „Конечно, это правда, но зачем же было это говорить, как-будто оно и без того так не стояло?“²⁾

Гордая самоуверенность в теории, на горьком опыте любви привела к мучительному самоуничтожению. „Гнилое зерно не принесло плода“...³⁾

„Слушай — благодать божия не дается нам свыше, но лежит, как зародыш, в нас самих; но не в нашей воле вызвать ее действие, и в этом отношении она нам дается“. Так обнаружилась для Белинского бесплодность идеалистического самосознания в деле „возвышения человека до божества“.

И как бы ни объяснять содержание новой веры Белинского 1838 года, его „разумную действительность“⁴⁾ — несомненно одно: это была попытка построить сверхличное мировоззрение, вызванная

1) См. письма, т. I, стр. 121—123.

2) Ibid. стр. 293.

3) Ibid. стр. 123.

4) Полного признания заслуживают возражения А. А. Корнилова („Молодые годы Михаила Бакунина“, стр. 444—452) С. А. Венгеру относительно самостоятельности Белинского в его построениях „разумной действительности“ не только по отношению к Гегелю, но и к М. Бакунину, статья которого в № 1 „М. Наблюдателя“ (перепечатанная С. А. Венгервым в IV т. полн. собр. соч. Белинского), а также и другие его толкования Гегелевой философии (в письмах к сестрам, в полемике с Белинским, в дневниках и специальных конспектах) вполне обхватны самому Гегелю, и, напротив, резко расходятся с построениями „разумной действительности“ Белинского.

отчаянием личности, предоставленной себе лишь самой. Этот психологический источник новой веры Белинского самоочевиден: те же большие письма к М. Бакунину середины и конца 1838 года, где вчовь и вновь, с надрывом, пересказываются события „Прямухинской“ любви, где старые уже воспоминания 1836 года переживаются с такой же остротой, как и последние встречи¹⁾.—те же письма впервые, с вымученным восторгом говорят о „разумной действительности“.

Душевная среда, в которой зародилась эта идеология, только и объясняет ее своеобразный характер, а отнюдь не влияние Бакунина, как думал С. А. Венгеров, но и не самостоятельное по отношению к Гегелю умозрение. Ведь то чувство самоуничужения, к которому привел Белинского фихтеанский опыт „возвышения человека до божества“, настоятельно требовало такой идеологии, которая, примиряя Белинского с самим собой, оправдала бы в его глазах бессилие личного самосознания, слишком для него тогда очевидное и мучительное, но и совершенно не мирившееся с догматами идеализма Фихте, разрушавшее их. В процессе обособленного самосознания не реализовались искомые ценности,—значит высшая реальность принадлежит не самосознанию, „действительность“—вне личности; и чем сильнее будет оторвана, в новой теории личность от подлинного бытия, тем понятнее для Белинского станет ее, на опыте обнаружившееся бессилие. Разобшение ничтожного „я“ и всесильной трансцендентной „действительности“—вот новый пафос Белинского,—верование, которое с беспримерной, даже для него, страстностью отстаивает он в длинной полемике с Бакуниным, а тем самым и с Гегелем. Бакунин был прав: „действительность“ Белинского, конечно, не „становящийся дух“ Гегеля: она, прежде всего, отчуждена от личного сознания, трансцендентна ему²⁾, алогична³⁾, даже аморальна. Правда, эта сверхличная „действительность“ с „железными когтями и зубами“ в некоторых признаниях Б—го приравнена церковно-христианскому провидению⁴⁾; новая вера Б—го, психологические побуждения которой так ясны, медленно и противоречиво оформлялась логически, и среди колебаний несомненно

¹⁾ В Москве, летом 1838 года; в этот период и записывалось, как дневник, одно из „больших писем“ к Бакунину,—от 20 июня 1838 года. См. письма Т. I, стр. 188—201.

²⁾ „Знаешь ли что: полная и совершенная истина не есть удел человека“. Письма, т. I, стр. 264 и др.

³⁾ „Есть для меня всегда будет выше знаю“, *ibid.* стр. 272. См. еще *ibid.* 251—254,—насмешки Б—го над „докторским плащом мысли“ на сестрах Бакунина.

⁴⁾ См. *ibid.* стр. 249, 269 и др.

был момент, когда Б—ий склонен был свое новое реалистическое¹⁾ мировоззрение понять и обосновать как церковно-христианское. Образы сестер Бакунина, смерть одной из них, старик А. М. Бакунин и, наконец, И. П. Ключников, с которым особенно близок теперь Белинский²⁾, толкали его в эту сторону³⁾. Однако, установиться на этом Белинский не мог: ощущая себя тогда жертвой необходимости, эту необходимость,—а не личную волю,—и гипостазировал он, назвав „разумной действительностью“. Его преклонение перед ней—с стиснутыми зубами и задушенными проклятиями; таково оно с начала и до конца. Родившись из отчаяния, вера Белинского в „разумную действительность“ так и не угасила ее. Старые раны не заживали. Катастрофа, в воспоминаниях связанная с Прямухиным, все время давала о себе знать. Не раз с тоской, как о рае, в который так и не сумел он проникнуть, вспоминает Белинский о Прямухине за эти годы видимой успокоенности.

Он сравнительно покоен в течение 1839 года; в конце этого года с особенной полнотой и уже гораздо более в духе Гегеля, чем прежде, излагает свою теорию в статье о „Горе от ума“⁴⁾, горячо отстаивает ее в столкновении с Герценом⁵⁾. Напротив, с самого начала следующего года видны признаки острой неудовлетворенности, а вместе, возврата к старым мыслям.

Когда осенью (1840 г.) в Петербурге появляется Катков и, предвкусывая Берлинские лекции Шеллинга, начинает критиковать Белинскому философию Гегеля,—Белинский радостно узнает в словах Каткова собственные мысли⁶⁾. Очевидно, идея „богоподобия человека“ не отмерла в нем; лишь на время несостоятельность идеалистического самосознания бросила Белинского в другую крайность,—в построения трансцендентной „действительности“, непроницаемой и непричастной индивидуальному сознанию; но этим старая проблема „возвышения человека до божества“ не разрешалась, а только замалчивалась. Нужен был внешний толчок, новая постановка проблемы, чтобы ожили старые верования...

1) Реалистическое—в широком смысле этого слова, как утверждение вневличного бытия, какого бы качества и природы оно ни было.

2) См. письма, т. I, стр. 276 и др.

3) „...Простое чувство покорности Провидению. Последнее мне лучше нравится. Такой уж у меня образ мыслей“ (письмо к Бакунину от 10 сент. 1838 г.) См. письма, т. I, стр. 249.

4) Напечатана в I № „Отеч. Зап.“ 1840 г., цензурное разрешение дано 14 января 1840 г. См. полн. собр. соч. Б—го, т. V, стр. 542.

5) См. „Былое и Думы“; письма, т. II, стр. 12, 18, 19.

6) См. Неведенский „Катков и его время“, стр. 55—58; письма Б—го т. II, стр. 159.

Сен-Симонизм и прежде был известен Белинскому, но, вероятно, понаслышке. Московский философский кружок, к которому принадлежал Белинский, знал, конечно, о другом кружке во главе с Герценом, где увлекались „французами“. Вражда „немцев“ к „французам“, о которой повествует Герцен, едва ли опиралась на знание того, что собственно проповедовали эти „французы“. Впрочем, книга Ламеннэ („Paroles d'un croyant“) была прочитана Белинским еще в 1837 году, но вызвала резкое осуждение¹⁾. Тоже вскользь и насмешливо упоминает Б—ий „Сен-Симонистское общество“ в письме к Станкевичу от 20 октября 1839 г.²⁾ Старая вражда московских кружков сказывается в Белинском даже до 1840 г. Когда Катков сблизился с Огаревыми, Б—ий писал о нем Боткину: „Нет, на эту минуту он не наш—не Маросейка, а Арбат его сторона“³⁾. И в частности к Герцену прямо отрицательное или скептическое отношение Белинского не ограничивается 1839-м годом; оно—налицо и в 1840-м⁴⁾. Только в декабре этого года нелестные отзывы о Герцене сменяются более или менее дружелюбными⁵⁾, и т. о. только после отъезда Герцена в Новгород началось его сближение с Белинским. Говорить о влиянии Герцена на Белинского в течение 1840 г., когда, как увидим сейчас, началось быстрое подчинение его „французским идеям“, нет, следовательно, основания⁶⁾. Подчинение „французским идеям“ началось до примирения с Герценом и помимо него именно в тот критический для Б—го год (1840 г.), когда сама собой рухнула идеология „действительности“ и как бы из-под ее развалин вновь встали вопросы „Прямухинского“ периода.

Еще в декабре 1839 года Белинский писал Боткину: „Не хочу немецкой жизни в книге, но французской, которая параллельно была бы немецким книгам, или совсем никакой“⁷⁾. А несколько месяцев спустя примирение было достигнуто: „С французами я помирился совершенно... Их всемирно-историческое значение велико“. (Письмо Боткину 13 июня 1840 г.). В контексте можно усмотреть, кто из друзей Белинского способствовал этому „примирению“. В первом письме (Боткину 16 декабря 1839 г.) отзыв о французах предназначен Грановскому: „Вот тут Грановский улыбнется и скажет,

1) См. письма, т. I, стр. 94.

2) Ibid. Т. I, стр. 353.

3) Ibid. Т. II, стр. 12. На Арбате в Москве жил Герцен.

4) Ibid. Т. II, стр. 28, 121, 131—132, 162, 188.

5) См. письма, т. II, стр. 190, 191, 195.

6) В этом смысле возражал И. Панаеву еще Пыпин. „Белинский“, стр. 355—387.

7) См. Письма, т. II, стр. 16.

что я поумнел“; письмо же, где говорится об окончательном примирении (от 13 июня 1840 г.) было доставлено в Москву через П. В. Анненкова, с такой припиской о нем: „Анненков, мой добрый приятель, хотя я виделся с ним счетом не больше десяти раз... Это бесценный человек... От него ты услышишь многое обо мне интересное, о чем не хочу писать. Анненков тебе сообщит и о моих новых знакомствах... Я вошел в их кружок и каждую субботу бываю на их сходках“¹⁾.

Грановский в Москве и „сходки по субботам“ с друзьями Анненкова в Петербурге—вот посредники между Белинским и „французами“, начиная с 1840 года. К сожалению, роль Грановского в этом „обращении“ Белинского выяснить до конца трудно: их переписка за ничтожными исключениями не сохранилась²⁾. Из косвенных упоминаний Белинского видно, что еще в Москве, в 1839 году, впервые встретившись с Грановским, Белинский сразу очарован был им как человеком, но вместе и крайне шокирован был тогда его убеждениями³⁾. Дальнейшие упоминания о Грановском в письмах к Боткину—тем более горячие, чем больше обнаруживались „французские“ симпатии Белинского,—заставляют предполагать, что уже с первых встреч Грановский был для Белинского пропагатором французских идей..

Что же касается „сходок“ по субботам, то вероятно, это те „субботы“ Панаева, о которых говорят его „Воспоминания“⁴⁾.

„После отъезда Бакунина и Каткова, Белинский... переехал... к Аничкину мосту в дом Лопатина, куда я тоже переселился... Около Белинского в Петербурге составился мало-по-малу кружок... к этому кружку принадлежали, между прочим: П. В. Анненков, К. Д. Кавелин (переехавший в Петербург), А. А. Комаров, М. А. Языков, И. И. Маслов, Н. Н. Тютчев и другие; вскоре к ним присоеди-

1) Ibid стр. 133.

2) Об отношениях Белинского и Грановского см. Ашевский. „Б—ий в оценке его современников“, стр. 231—238.

3) Письмо к Станкевичу 29 сентября 1839 г. Письма, т. I, стр. 338.

4) См. И. И. Панаев „Воспоминания о Белинском“, стр. 320—322. Правда, Панаев начало своих „суббот“ относит к зиме 1841 г., „после отъезда Бакунина и Каткова“ (Катков уехал за границу 19 октября 1840 г. См. Письма, т. II, стр. 172). Но Панаев легко мог ошибиться несколькими месяцами, и это тем более вероятно, что другая хронологическая ошибка в этом месте его „Воспоминаний“ несомненна: „После отъезда Бакунина и Каткова, Белинский... переехал с Петербургской стороны к Аничкину мосту в дом Лопатина“. Но сюда Белинский переселился не в 1841 году, а только в 1842 г. (между мартом и ноябрем, см. Письма, т. II, стр. 254, 288). Кроме того, и некоторые литературные интересы Белинского, описанные Панаевым под 1841 годом, относятся, как увидим, уже к 1842 году.

лись Н. А. Некрасов и И. С. Тургенев, а позже Ф. М. Достоевский и И. А. Гончаров... Из Москвы часто приезжали: В. П. Боткин, N* (Герцен) и O* (Огарев). Приезды эти были праздником для Белинского и для всех нас... В то самое время, когда в Белинском совершался внутренний переворот... в Париже появился под редакцией Леру, Жоржа-Занда и Виардо „Revue Independante“. Я принялся читать его с жадностью и, увлеченный статьями Леру, переводил их отрывками Белинскому. Перед этим Белинский прочел все романы Занда, которые были переведены (я перевел нарочно для него конец „Спиридиола“), и прежнее негодование его к Жорж-Занд, так резко выразившееся в статье о Менцеле, заменилось в нем пламеннейшим энтузиазмом к ней. Все прежние его литературные авторитеты и кумиры... побледнели перед нею. Он только и говорил о Жорж-Занде и Леру. Увлечение его было так сильно, что он решил учиться по-французски, чтобы читать их в подлиннике. Покуда Белинский осваивался понемногу, и не без труда, с французским языком., я начал составлять для него описание одной исторической эпохи, чрезвычайно интересовавшей всех нас. Белинский и многие наши приятели, не знавшие французского языка или мало знакомые с подробностями этой эпохи, сходились у меня каждую субботу, и я прочитывал им то, что успевал переводить в течение недели. Для Белинского открывался новый мир, который до сих пор представлялся ему смутно по рассказам... Он следил за чтением с лихорадочным любопытством... ко мне в эту зиму (1841) Белинский обнаруживал большую симпатию, чем когда-нибудь... Все мои слушатели ждали субботы, как праздника, и следили за моим чтением с напряженным вниманием“.

Эти страницы „Воспоминаний“ особенно ценны тем, что прямо указывают литературные источники тех новых верований Белинского, которые разрешили собой кризис 1840 года. Из приведенного отрывка видно, что уже до 1841 года, — очевидно, в течение 1840 года, — Белинский не только заинтересовался романами Жорж-Занд, но и обратил особенное внимание на тот из них, который носит на себе яркие следы первого, самого сильного подчинения писательницы идеям ее друга, П. Леру, — ученика и смелого продолжателя доктрины Сен-Симона¹⁾. Роман „Spiridion“ (у Панаева он назван

¹⁾ Французская критическая литература об этом мыслителе указана в книге В. Каренина „Жорж-Санд“ т. II. Вот отзыв о нем современника, не указанный Карениным: „Pierre Leroux débute par l'athéisme. Bientôt, néanmoins, sa conscience-le ramène à Dieu et à la nécessité d'une foi religieuse. Il cherche, il trébuche de theories en théories, et se rapproche graduellement de christianisme... il conclut alliance avec les saints—simoniens. Il s'abandonne pleinement à la fièvre de la

неверно: „Спиридиол“), написанный на Майорка зимою 1838—1839 гг., не только проникнут учением Леру, не только посвящен ему; но и исправлен им и дописан по просьбе Жорж-Занд¹⁾. Вероятно, на это и указывают слова Панаева: „конец Спиридиола“. „Spiridion“ печатался в „Revue des deux Mondes“, в осенних номерах 1838 года и в двух январских 1839. Т. о. указание Панаева на знакомство с ним Белинского до 1841 года вполне правдоподобно: в 1840 году в петербургском кружке этот роман Ж. Занд еще обладал, конечно, свежестью, как литературная новость.

Герой романа, монах Алексей—прозелит „нового христианства“; рукопись основателя монастыря, таинственного Спиридиона—евангелие „нового христианства“; характер сурового проповедника, аббата Ламеннэ, и учение П. Леру создали образ Спиридиона; действие романа—обращение прозелита в новую религию... Когда, проникнутый откровением Спиридиона, новообращенный перечитывает Евангелие Иоанна—вблизи монастыря появляются первые отряды республиканских войск 1793 года; и хоть и оскверняют святыню церкви, но делают это „во имя босоногого Иисуса“—„это начало царства вечного евангелия“. Таков эпилог романа...

Французская революция, конечно, и была той эпохой, об интересе к которой Белинского далее упоминает в своих „воспоминаниях“ Панаев; „Новое христианство“ Спиридиона возбуждало этот интерес и подсказывало эпохе революции свое религиозное освещение; с ним мы встречаемся и в переписке Белинского 1840—1843 гг.

Журнал „Revue Independante“, о котором говорит затем Панаев, действительно начал выходить в Париже с 1841 года, однако лишь в конце этого года²⁾, и т. о. увлечение Б—го статьями Леру, переведенными отсюда Панаевым, должно быть отнесено уже к началу 1842 года.³⁾ Впрочем и до 1842 года Белинский должен был propagande, prêche matin et soir, nuit et jour, le long des rues, au milieu des promenades, dans les cafés, dans les salons, dans les mansardes, partout... L'attachement des adeptes de P. Leroux va jusqu'à l'idolâtrie. jamais ils ne' appellent autrement que notre père Pierre... A l'heure qu'il est, si P. Leroux n'est point encore orthodoxe, on peut dire qu'il est essentiellement chretien“. См. „Les contemporains“ par Eugène de Mirécourt.

¹⁾ См. В. Каренин „Жорж-Занд“, т. II, стр. 16, 205—222.

²⁾ Первый N „Revue Independante“ вышел в ноябре 1841 г. См. В. Л. Каренин „Жорж-Занд“, т. II, стр. 256—261. В „Письмах из-за границы“ П. В. Анненкова под 29 ноября 1841 г. говорится: „На днях появилось новое „Revue Independante“, издаваемое гг. Леру, Жорж-Зандом и Виардо“. См. „Анненков и его друзья“ стр. 186.

³⁾ Статьи Леру, печатавшиеся в „Revue Independante“, так же как и статьи его из „Encyclopédie Nouvelle“ (см. ниже), позже собраны были и изданы одной

познакомиться со статьями Леру, и Панаев едва ли ошибся, указав 1841 год: в этом году до начала издания „Revue Independante“, П. Леру издавал в Париже „Encyclopédie nouvelle“¹⁾. По внешности напоминая знаменитую энциклопедию Дидро, словарь Леру, под видом отдельных словарных определений, последовательно излагал социально-религиозную доктрину автора. Об этом издании Белинскому писал Грановский: „достань себе Encyclopédie Nouvelle; она познакомит тебя с Leroux. Один из самых умных и благородных людей в Европе“²⁾. Но если дата этого письма (у Пыпина и Лядкого, — верно (1842 г.), дружеский совет Грановского едва ли не запаздывал: рецензия в „Отечественных записках“ (1842 г.) говорит о последнем томе „Encyclopédie Nouvelle“, самое издание предполагая уже общеизвестным. „Недавно вышел 8-й том Encyclopédie Nouvelle, издаваемый известным энергичным Леру, бывшим сен-симонистом, вместе с Рено“...

„Редакторы, стараясь поддержать все права философии и распространить ее владычество, проповедуют начала, перед которыми должны пасть в прах все ничтожные теории... Мы советуем решиться на чтение этого тома не иначе, как вооружившись достаточно против пантеизма, который в последнее время начинает подкапывать общество, и против утопических начал коммунизма, которые суть не что иное как политическое приложение первого... Тот же Леру издал „Семь речей о нынешнем состоянии общества“ с эпиграфом: futuram civitatem inquirimus. Глубокомысленные наблюдения и несколько счастливых мыслей перемешаны здесь с самыми поверхностными суждениями“³⁾. Предостережения читателю были конечно замаскированной рекомендацией...⁴⁾ Что именно в 1841—1842 гг. читает

книгой — „Duyrai Christianisme et de son origine democratique* Paris 1849 г. (См. предисловие к ней автора). Ссылку на эту книгу см. выше. Ниже из нее цитируются статьи Леру в „Revue Independante“ и „Encyclopédie Nouvelle“.

1) Всего вышло 8 т.т. малого in 8°, у Gosselin. См. В. Каренин, т. II, стр. 4.

2) Письма, т. II, примечание, стр. 425.

3) См. „Отечественные Записки“ 1842 г., т. XXI.

4) Начиная с 1840 года „Отечественные Записки“ вообще заметно наполняются теми характерными сведениями о „молодой французской словесности“, которые укаваны были выше в других журналах. И это, конечно, в известной степени отражает новые увлечения Б—го: „Краевский ничего не подозревал, говорит Панаев. Он еще повторял фразы Белинского из его статей о „Бородинской Годовщине“ и „Менцеле“, когда уже в „Отечественных Записках“ начали появляться рецензии в совершенно противоположном направлении. Когда он заметил перемену направления в своем журнале.., он должен был покориться безусловно Белинскому“. См. Панаев „Воспоминания о Белинском“, стр. 323—324. Поскольку эта перемена зависела от Белинского, ее следует отметить; укажем в „Отечеств. Записках“

Белинский эти два издания Леру („Revue Independante“ и „Encyclopedie Nouvelle),— видно из его переписки.

„А еще восхищается Леру и бредит *egalité, fraternité et liberté!*“— пишет Белинский Боткину о Панаеве, упрекая его в легкомыслии¹⁾. Это, конечно, отголосок панаевских „суббот“... Страницы „Revue Independante“ знакомят Белинского и с новыми романами Жорж-Занд. „Читали вы „Ораса“, спрашивает Белинский Николая Бакунина²⁾.— „Если... по-русски только, жаль“, „едва-едва удалось мне прочесть по французски“³⁾. Этот роман Жорж-Занд (тоже написанный под обаянием Леру) печатался в первых десяти №№ „Revue Independante“ и закончен был там весной 1842 г.⁴⁾ В письме к Боткину от 23 ноября 1842 г. речь идет конечно о статье Леру из „Encyclopedie Nouvelle“: „Сulte к тебе послать не могу: Капитошка и Панаев обомлели от ужаса и удивления, услышав от меня, что ты хотел увезти „Сulte“, а я хочу послать к тебе“⁵⁾. Роман „Consuelo“, о котором с восторгом отзывается Белинский в письме к Боткину от 9 декабря 1842 г. приводя из него цитату по-французски⁶⁾, тоже, очевидно, был прочитан в „Revue Independante“; он печатался там от весны 1842 г. до марта 1843 года⁷⁾. О Леру идет речь и в письме

некоторые из рецензий, упоминаемых Панаевым. В X томе см. „Новые книги полученные в Петербурге“; в XI—„Французская литература“; в XX томе (1842 г.)—„современная периодическая литература во Франции“; в XXII томе—„французская литература“ и т. д.; переводы французских романов появляются позже: „Вотчим“—Ш. Бернора (т. XXXVIII 1845 г.), „Генриета“ Альфреда Леру (т. XXXIX), „Жанна“ Ж.-Занд (т. XL), „Проступок госп. Антуана“ Ж.-Занд (т. XLVI, 1846 г.) „Сельский дворянин“ Ш. Бернора (т. XLVIII), „Пигинано“ Жорж-Занд (т. LI, 1847 г.), „Семь смертных грехов“ Сю (т. LVI, 1848 г.) и т. д.

1) Письмо от 13 апреля 1842 г. Письма, т. II, стр. 300.

2) Письмо от 7 ноября 1842 г. См. Письма т. II, стр. 318.

3) См. *ibid.* стр. 338.

4) См. В. Каренин, т. II, стр. 257.

5) См. Письма, т. II, стр. 319. Е. А. Ляцкий делает примечание: „Сulte к тебе послать не могу“—неясно, о чем здесь говорит Белинский“, *ibid.*, стр. 428. Но вот перечень статей Леру в „Новой Энциклопедии“ (у Mirecourt): „il continue son exposé de princeps dans l'„Encyclopédie nouvelle“. Les principaux mots développés par Pierre Leroux sont: Calvin, Egalité, Confession, Confirmation, Cathéchisme, Voltaire, Dieu, Cultt, Concile etc.“ („Les contemporains“ стр. 42).

6) См. Письма, т. II, стр. 328.

7) См. В. Каренин, т. II стр. 257. Тут же передано содержание романа (стр. 312—331) „Иногда можно смело переставить строчки из романа—в письма или сочинения Леру или обратно, и эта перестановка будет совершенно незаметна“ говорит В. Каренин.—Consuelo, молодая певица, сложными перипетиями романа, становится женою чешского графа Альберта Рудельштадт, в котором живет воплощенный Ян Жижка и все социально-религиозные чаяния табаритов. Их и вызывают к новой жизни артистический гений и любовь героини (Consuelo,—утешительницы).

к Боткину 31 марта 1843 года: „Тургенев немного немец, в том смысле как и Б, который с тоном покровительства отзывается о П. Р., а между тем живет на его счет“¹⁾. Еще Пыпин указывал, что в то время Белинский вел переписку с друзьями о Пьере Леру, таинственно скрывая это имя под инициалами или условным названием „Петр Рыжий“. Из приведенного отрывка письма видно, что Белинскому с некоторыми из друзей приходилось и спорить о Леру, защищая его... С неменьшим восторгом, чем о „Consuelo“, отзывается Белинский за эти годы и о других произведениях Жорж-Занд: „André“, „Melchior“, „Un compagnon du tour de France“²⁾. Если прибавить к этому исторические труды Тьера и Луи-Блана, — перечень „французов“, которыми увлекается Белинский за 1840 — 1843 гг. будет исчерпан. Это чтение дало ему громадный внутренний результат: в 1840 г. каждое письмо Белинского — вопль отчаяния; в 1841—1843 гг. его письма преисполнены новым восторгом и верой: „Мы, Панаев, счастливы, — пишет ему Белинский, прочитав „Melchior“, — очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою: мы дождалась пророков наших — и узнали их, мы дождалась знамений — и поняли и уразумели их“. Этот процесс душевного обновления и должен быть последовательно восстановлен.

В 1840 году теория разумной „действительности“, разрушаясь, вернула Белинского к тем же вопросам о религиозном назначении и ценности человека, для устранения и забвения которых оно в свое время была создана. „Для меня... человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества“ признается теперь Белинский. — И, как бы угадывая или уже и зная, что этот пафос разделяют с ним западные идеологи, — прибавляет: „Эта мысль и дума века“. „Меня теперь всего поглотила идея достоинства человеческой личности и ее горькой участи — ужасное противоречие!“ Для Белинского это противоречие не ново: оно с особенной непосредственностью было пережито, ведь, еще в 1838 году. „Идея достоинства человеческой личности“ — это все та же старая мысль об „абсолютном самосознании“, к которой возвращается теперь Белинский с новой силой отчаяния: „Блаженство не в абсолюте (т. е. не в трансцендентном абсолюте „разумной действительности“), а в полноте при живом ощущении в себе того участка абсолютной жизни, какой дан тому или другому человеку“³⁾.

1) См. Письма, т. II стр. 357.

2) См. Ibid. стр. 325, 327, 338, 352, 378.

3) Письмо к Боткину 9 февраля 1840 г. См. Письма, т. II, стр. 32.

Этим, не новым для него, пафосом отмечены письма 1841—1843 г.г. И это следует подчеркнуть: надо освободиться, наконец, от условностей и ошибок в понимании „поворота к общественности“ Белинского начала 40-х годов...

„Ты—я знаю—будешь надо мною смеяться,—пишет Белинский Боткину 1 марта 1841 года,—но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира“¹⁾. Однако, опыт отрицания личности не прошел совсем даром для Белинского, и возвратившись теперь снова к идее ее „достоинства“, он с неменьшей силой ставит и вопрос о ее „горькой участи“. Однако, и тот, и другой вопросы для него неразрывно связаны, второй всецело вытекает из первого,—старого идеалистического вопроса. Как и в 1837—1838 г.г., Белинский и теперь ищет разрешения проблемы в евангелии: „Кстати мысли мои об Unsterblichkeit снова перевернулись: Петербург имеет необыкновенное свойство обращать к христианству... Нет, об'ективный мир—страшит, и мы с тобою скоренько порешили важный вопрос... Для меня евангелие—абсолютная истина, а бессмертие индивидуального духа есть основной его камень. Временами тепло верится... Да, надо читать евангелие... Что до личного бессмертия... увидишь, что этот вопрос—альфа и омега истины, и что в его решении—наше искупление и т. д., и т. д.“²⁾. Но не забудем, однако, что этот порыв к мистицизму совпадал и даже был вызван ниспровержением „разумной действительности“³⁾,—„расейской действительности“ прежде всего; т. о. церковно-исторический культ снова оказывался вне поля зрения Белинского⁴⁾. Как и прежде, в „Прямухинский“ период, так и теперь христианство Белинского лишено церковно-исторического обоснования. Прежде, опираясь на идеалистическое учение об абсолютном самосознании, оно ввергло Белинского в длительное отчаяние; теперь, в 1841 году, вольное христианство Белинского находит себе новое обоснование,—в романах Жорж-Занд, в статьях Леру.

„Царство божие на земле“, прообраз которого Белинский угадывал когда-то в идиллической жизни Прямухина, с новой силой и новой убедительностью было теперь обещано ему „откровением“

1) См. Ibid., стр. 213.

2) См. Ibid., стр. 30, 70, 83, 159, 165 и др.

3) „Я плюю на философию, которая потому только с презрением прошла мимо этого вопроса (о бессмертии), что не в силах была решить его“—эти слова (см. Письма, т. II, стр. 159). относятся к философии Гегеля.

4) „Никто так пошло не врет о религии и своим поведением... не оскорбляет ее, как русские попы“. См. Письма, т. II, стр. 44.

Спиридиона. Так, встретились сами собой старые чаяния Белинского и его новые идеологические увлечения.

В феврале 1840 года Белинский писал Боткину: „Новый мир начался словами: приидите ко мне все страждущие и обремененные, и тот кто сказал их, возлежал с мытарями и грешниками, бога назвал отцом людей, а людей братьями друг другу“¹⁾. И если дата письма заставляет видеть тут скорее самостоятельное пробуждение старых настроений эпохи Прямухина, чем отклик на новую доктрину (Леру), то, напротив, в письме к Боткину 13 июня 1840 года такой отклик уже несомненно налицо: „Да, наше поколение—израильтяне, блуждающие по степи, и которым никогда не суждено узреть обетованной земли. И все наши вожди—Моисей, а не Навины. Скоро ли явится сей вождь?“²⁾.

Этот библейский образ постоянно встречается в сочинениях утопистов³⁾. Внимание Белинского в 1840 году могло быть остановлено им в „рукописи Спиридиона“⁴⁾.

Так, начиная от середины 1840 года, чем дальше, тем сильнее подчиняется Белинский внушениям доктрины утопистов. Сперва он как бы вторит их верованиям, — несмело и мимоходом; но постепенно тон становится увереннее, дружеские признания все больше и больше начинают походить на страстную проповедь неопита. „Отныне,—признается Белинский,—для меня либерал и человек—одно и то же... Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача—возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам Спаситель сходил на землю и страдал за личного человека... Люди будут человечны и христианны, когда общество дойдет до идеального развития... Это—полнота, которой пришествия должно ожидать новейшее человечество, и которая будет его тысячелетним царством... Люди должны быть братья... И настанет время—я горячо верю этому настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни... Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и,

1) См. Ibid., стр. 15.

2) См. Ibid., стр. 130.

3) См. выше воззвание Кабэ.

4) „В те времена, когда ты будешь жить, о человек будущего, к которому я обращаюсь за раз и с своим оправданием, и с своим наставлением, несомненно знание истины сделает шаг вперед; подумай же о том, сколько выстрадали твои отцы... когда они шли через пустыню, к границе которой они с таким трудом довели тебя“. См. В. Каренин, т. II, стр. 218—219.

по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть Отцу, а Отец— Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новой землей... Хочу золотого века... С нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через социальность¹⁾. Подобные признания—уже прямое исповедание „нового христианства“²⁾.

Быстро усваивает Белинский и ту аргументацию, которая приводила утопистов к вере в „царство божие на земле“. Прежде, в 1836—1838 гг., „богоподобие человека“ должно было для Белинского осуществляться в сложном и трудном процессе самосознания. Неудача такого „возвышения человека до божества“ должна была сделать особенно пленительным теперь в глазах Белинского учение о „реабилитации плоти“, где „богоподобие человека“ об'являлось не целью самосознания, но его данностью, где обожествлялась самая природа человека, до инстинктов включительно³⁾. „Прежде всего, быть просто человеком. Святое и великое титло!“, восклицает теперь Белинский. „У меня есть убеждение, что я не смогу не увидеть бога ни в одном явлении, где только он является: ...я увидел Станкевича и полюбил бога, увидел твоих (Бакунина) сестер и полюбил бога, я люблю его и в любви Боткина к твоей сестре“⁴⁾. Теперь, опять, как три года назад, Белинский охотно наделяет своих друзей эпитетом „божественная личность“⁵⁾. И вместе с тем „религиозный вопрос о личности человека“⁶⁾ теперь решается проще: пределы „богоподобия“ шире, чем только самосознание. „Чувствую, и верую, и знаю вновь, что жизнь земная прекрасна“.—Жизнь во

1) См. письма, т. II, стр. 187, 220, 222, 247, 267—269.

2) Когда было написано процитированное здесь письмо к Боткину, 8 сентября 1841 г., Белинскому были известны, очевидно, основные положения Леру не только по роману „Спиридион“. Вот что находим в статье „Christianisme“, напечатанной в „Encyclopédie Nouvelle“: „La démocratie ne sera réalisée que par une nouvelle ère religieuse dont le christianisme au surplus, est la prophétie... La Charité du christianisme avait évidemment pour but de se réaliser sur la terre. Un régime de fraternité et d'égalité est au bout de toutes les prophéties de l'Évangile et de tout son dogme religieux... Si le Christianisme n'avait pas traduit par „Mon royaume n'est pas de ce monde“ la promesse de Jésus: „mon royaume viendra“, il n'aurait jamais eu qu'une Église c'est à dire qu'une société... La société de l'avenir sera dans son unité à la fois Pape et Empereur“ См. P. Leroux. „Du vrai Christianisme etc.“. Ст. IV, 94, 114, 115.

3) Ср. у Леру: „Раз все в мире произошло от бога—значит все благо, а то что мы называем злом, зависит от нашего незнания или дурного пользования добром“ Вл. Каренин, т. II, стр. 10—11.

4) См. письма т. II, стр. 85—86.

5) См. ibid., стр. 141, 151.

6) Ibid., стр. 257.

всем ее чувственному многообразии. „Все великое на земле божественно, а все божественное просто“¹⁾,—и прежде всего любовь. Доктриной сен-симонизма (о ней теперь не раз упоминает Белинский в переписке), но в особенности романами Жорж-Занд (например повестью „Мельхиор“), это чувство оправдано для Белинского и обожествлено даже и в таких его проявлениях, которые прежде должны были упраздниться, отсекаются в Resignation и Entsagung. „Я понимаю теперь любовь очень просто. Я нисколько не исключаяю ни мистики сердечной, ни лиризма чувства. Женщина, мужчина...—каждый из них человек, существо духовное, а оттого и совокупление их—тайна, но тайна светлая, как луч солнечный, здоровая и нерасплывающаяся в пустоте...“²⁾. Т. о. „достоинство“ личности, о котором так часто в эти годы говорит Белинский, нисколько не преуменьшено по сравнению с периодом теоретического индивидуализма 1836—1838 гг., но лишь упрощено в достижении. Его осуществление—по-прежнему „религиозный вопрос“³⁾; только путь осуществления иной. То совершенство, которое присуще каждой человеческой особи от природы, достигнет своего полного обнаружения не через нее самое, а только через совокупную жизнь человечества так же как и зло возникает, но и постепенно уничтожается и уничтожится в будущем этой же совокупной жизнью человечества⁴⁾.

„Социальность“, „человечество“, „общество“—это та новая истина, которая разрешает теперь собою все противоречия Белин-

¹⁾ Ibid., стр. 321.

²⁾ См. *ibid.* стр. 180.—Ср. у Леру: „человечество обретет спасение тогда когда поймет, что не следует бороться с плотью, а следует стараться возвысить и освятить всю жизнь телесную“ (Из статьи в „Новой энциклопедии“, см. В. Каренин, I, II, стр. 10).

³⁾ См. Письма, т. II, стр. 257.

⁴⁾ Ср. следующее место в статье Леру „Счастье“ (из „Новой энциклопедии“) „Человек счастлив.. лишь когда живет согласно со своей человеческой природой.. Мы тяготеем, стремимся (gravitons) к божеству, к высшей красоте.. посредством инстинкта нашей природы, любящей и разумной, но как все тела на поверхности земли тяготеют к солнцу лишь все вместе, и притяжение земли является лишь центром их совокупных притяжений, так и мы духовно поднимаемся (тяготеем) к богу лишь через посредство человечества.. Человек неразрывно связан с человечеством он сам в себе есть человечество. Нельзя помыслить о человеке вне человечества. „Ибо—говорит апостол Павел,—как в одном теле у нас много членов, но у всех членов одно и то же тело, так мы многие составляем одно тело во Христе., а порознь один для другого члены“.. Человек должен беспрепятственно входить в общение со всем миром.. Все, что его порабощает, закрепляет в известные рамки—зло. Человек не может жить без общества, семьи, собственности.. Все зло на земле именно от ложно понятых обязанностей, налагаемых этими тремя институтами, должествовавшими по природе своей служить лишь ко благу человечества“. См. В. Каренин, т. II, стр. 7, 9.

ского, все его горькие недоумения предыдущих лет. Было бы ошибкой, однако, видеть в „общественности“ Белинского этого начального периода (1840—1843 гг.) попытку социально-прагматического построения. Идея общества воспринята была им так, как она была обоснована в умозрениях Леру: и для Белинского, она пока еще неразрывно связана с идеей „достоинства“ человека, она конструируется из заданий религии гуманизма; идея „божественного человека“ из себя,—как средство для своей реализации,—создает идею общественного прогресса.

Что именно таково содержание излюбленных теперь понятий Белинского,—„человечество“, „общество“, „социальность“,—легко усмотреть,—там, где о них идет речь,—их контекста: „Гейне весь отдался идее достоинства личности“ и поэтому „неудивительно что видит во Франции цвет человечества“; „с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это сделается чрез социальность“; „Социальность. социальность—или смерть! Вот девиз мой“, и сейчас же, как пояснение этого девиза—знаменитая тирада: „что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? и т. д.“¹⁾ Не исторический прагматизм, а эсхатология гуманизированного христианства подсказывала Белинскому идею общества; общество, развиваясь, ведет к „очеловечению“²⁾,—вот формула; и только поэтому: „что за жизнь для человека вне общества“.

В эти годы (1841—1843 г. г.) „общество“ для Белинского—„все-ленское гражданство“, оно—лишь расширенный дружеский кружок 1836 года, совокупными усилиями созидающий „царство божие на земле“. Не даром, говоря о своей новой идее, Белинский иногда пользуется старыми терминами: „субстанциальное“ значение идеи общества“, „субстанция общественной жизни“³⁾.

Но не было тайной и для самого Белинского это родство его новых верований со старыми, „прямухинской поры“. Вот что писал он Николаю Бакунину в апреле 1841 года: „Снова возникли передо мною во всем блеске лучезарного величия колоссальные образы Фихте и Шиллера, этих пророков человечности (гуманности), этих провозвестников царства божия на земле, этих жрецов вечной любви и вечной правды“⁴⁾. Так поясняет сам Белинский свой душевный перелом 1841 года („Нет, иной и в сорок лет не

¹⁾ См. письма, т. II, стр. 207, 288—269, 266.

²⁾ Ibid., стр. 129.

³⁾ Ibid., стр. 41, 263.

⁴⁾ См. Письма, т. II, стр. 232.

может измениться до такой степени“ и т. д.),—как возврат к Фихте¹⁾. И конфиденнт для такого признания выбран не случайно: оживают „прямухинские“ верования, — оживают и приближаются вновь сердечные воспоминания, милые образы: „Меня посетило вдруг, словно вдохновение, такое живое воспоминание... что опротивело все, и если б я мог ехать в ту же минуту... Боже мой! какая бы для меня была радость приехать в Прямухино... Одна мысль — я в Прямухине — Господи, хоть бы во сне увидеть! Этот дом, комнаты, все, все — просто страшно ехать“²⁾.

„Мечта о Прямухине умиляет душу“, признается Белинский³⁾.

Мечта о Прямухине не покидает Белинского в эти годы (1841—1843 гг.). Воспоминания о „прямухинской гармонии 1836 года, — это почва, из которой возникли радостные верования 1841—1843 гг. „Варвара Александровна, вы благодарите меня, что я еще не совсем забыл вас“, — пишет ей Белинский в феврале 1843 года. — „За кого же вы меня принимаете?.. Многое, на что толпа смотрит с бессмысленным равнодушием, было для меня откровением высокого значения жизни, и благоговейная память о том навсегда пресуществлялась душе моей“⁴⁾.

И как бы в знак этой „благоговейной памяти“ к старым „откровениям“, Белинский дарит одной из сестер Бакуниных, любимой ученице Мишеля, альбом, — „Les femmes de Georges Sand“, — свой новый „пантеон“. — „Я рад, пишет он, что именно этот подарок могу сделать. Ведь это не просто хорошенькие картинки — это „Les femmes de Georges Sand“... Нашлась вещь, стоящая внимания того, кому назначается. Прощайте“⁵⁾.

Подарок, действительно, был прощальным.

Проведя летом этого года несколько дней в Прямухине со старыми друзьями⁶⁾, осенью Белинский женился. Расчет с „идеальностью“ вступил в новую, куда более решительную фазу.

¹⁾ Верования 1840—1843 гг. родственны верованиям 1836 года не только в своей идеологической сердцевине, но, так сказать, и по периферии: и теперь, и тогда — в противоположность 1838—1839 гг. — одинаково сочувственное отношение к Шиллеру; и теперь, и тогда — в противоположность не только 1839, но и 1847 гг. — близок Белинскому революционный радикализм: „Я тогда (в 1836 г.)... фихтеанизм понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови“ (письмо к М. Бакунину 12—24 октября 1838 г., см. Письма. Т. I, стр. 273). Ср. с этим мысли Белинского о французской революции за 1841—1843 гг. Письма, т. II, стр. 186, 246, 247, 267, 305, 311.

²⁾ См. *ibid.*, стр. 323. Письмо к Н. Бакунину 28 ноября 1842 г.

³⁾ См. Письма, Т. II, стр. 332.

⁴⁾ *Ibid.*, стр. 340.

⁵⁾ *Ibid.*, стр. 341, 352.

⁶⁾ *Ibid.*, стр. 371.

Теперь вниманием Белинского все более и более завладевают течения „левого гегельянства“; в нем заметно нарастает желание конкретизировать идею общества,—наполнить реально-историческим содержанием идею „человечества“. Чтобы приобрести это содержание, но, вместе с тем, остаться идеей религиозной, „человечество“ Пьера Леру только и могло быть осмыслено как церковь¹⁾. Белинский в своем искании реалистического мировоззрения один уже раз,— и навсегда,— отверг этот путь; он был для него невозможен уже в период философского оправдания русской действительности; тем более невозможен он был теперь. И потому идея человечества становилась для него конкретной лишь в другом направлении— в построениях материализма из феноменологии Гегеля.

Конец 1844 года отмечен в развитии Белинского первым сдвигом в сторону чистого атеизма: летом этого года свидетелем первых религиозных сомнений в Белинском был Тургенев²⁾. Но сомнения, о которых повествует Тургенев, победили не сразу. Новый душевный процесс был и трудным (как видно из рассказа Тургенева), и длительным; решительный перелом наступил только в конце 1846 года: летом, проездом через Москву, попав в самый разгар религиозных споров Герцена с Грановским, Белинский сразу и уже без колебаний взял сторону Герцена³⁾.

И вот, характер восприятий Белинским идей французских утопистов лучше всего изобличается тем, что именно на них прежде всего и сказалось разрушительное действие его религиозных сомнений 1844—1846 гг. За эти годы „религия гуманности“ как бы увядает в Белинском; она еще живет в нем, но уже далеко не столь ярко, как прежде. Еще продолжает Белинский с восторгом отзываться о романах Жорж-Занд⁴⁾, еще не перестает и в середине 1845 года превозносить, как своих учителей, идеологов „Revue Independante“⁵⁾; и даже в начале 1846 года, когда впервые появляется у него Гончаров⁶⁾, он готов еще мечтать, подобно Фурье, о великодушном энтузиасте, строителе фаланстеры. Но все это заметно идет на убыль...

1) Опыт такого осмысления был сделан Вл. Соловьевым в его статье „Идея человечества у Огюста Конта“.

2) См. „Белинский в оценке его современников“ Ашевского, стр. 295. См. также письмо Белинского к Герцену 26 января 1845 г. Письма, т. III, стр. 87.

3) См. „Былое и Думы“, Ч. I, гл. XXXII.

4) См. его рецензию на роман Э. Сю „Парижские тайны“ 1844 г. Полное собр. соч., т. VIII, стр. 467—485.

5) Достоевский называет Леру, перечисляя авторитеты Белинского в 1845 г. См. „Дневник Писателя“ 1873 г., „Старые люди“.

6) См. его „Воспоминания“.

К концу 1846 г. все признаки душевного перелома налицо. Письма Белинского вновь переполнены горячими признаниями, столь свойственными ему в периоды первых увлечений новыми мыслями; снова страстное поругание старых мыслей, отвергнутых, чередуется здесь с исповеданием новых. Теперь восторг вызывают Литтре и О. Конт, учение которых понято как материализм¹⁾; поруганию же и насмешкам предаются... Пьер Леру и Жорж-Занд, а вместе с ними и Луи Блан и Ламартин²⁾.

Новые атеистические убеждения Белинского к осени 1846 г. до конца разрушили в нем „религию гуманности“ утопистов.

Смена верований Белинского показательна; резко и выразительно отражает она в себе рост атеистического сознания русской интеллигенции. И в этой смене видное место принадлежит идеям французских утопистов.

Возникнув непосредственно из неразрешимых религиозных проблем германского идеализма, „новое христианство“ утопий в равной мере не разрешало их по существу, но приуготовляло полное их упразднение в догмах атеизма.

В. Комарович.

30. VIII. 1923.

1) См. Письма, т. III, стр. 165, 166, 173—175.

2) См. *ibid.*, стр. 166, 173, 176, 245, 246, 313, 325 и др. Достоинно внимания, что новому, резко отрицательному отношению Белинского к Жорж-Занд вполне соответствует статья А. Кронеберга „Последние романы Жорж-Занд“, напечатанная в 1 № „Современника“ 1847 года. Напротив, совершенно иную (сочувственную) оценку романов Жорж-Занд находим в том же году на страницах „Отечественных Записок“ (см. т. LIV август 1847 г. отд. библиограф. хр. VI, стр. 9—18). Т. о., идеологические разногласия Валерьяна Майкова и Белинского, относящиеся к концу 1846 года и вызванные, главным образом, переменою мировоззрения Белинского (см. „Юность Достоевского“, „Былое“ № 23), распространялись не только на близких друзей противников, но и сказывались на направлении журналов.



Мария Васильевна Белинская,
урожд. Орлова



Ольга Виссарионовна Бензи,
урожд. Белинская



Ольга Константиновна Прозорова,
урожд. Белинская



Митрофан Константинович
Белинский

Белинский и Некрасов о воспоминаниях Ф. Булгарина.

В известном Собрании сочинений Белинского под редакцией Р. В. Иванова-Разумника, в предисловии к статье о „Воспоминаниях Булгарина“, редактор пишет: „В начале 1846 года вышли отдельным изданием две первых части „Воспоминаний Фаддея Булгарина“ (третья часть вышла в конце этого же года); Белинский хотел воспользоваться этим поводом, чтобы дать исчерпывающую статью о Булгарине, документально обрисовать его литературную физиономию. Статью свою он разделил на две части (мы их отметили ниже цифрами I и II): в первой части он дал свои „литературные воспоминания“ о Булгарине, а во второй части перешел к „Воспоминаниям“ самого Булгарина. „...Мы решились начать с начала,—пишет Белинский : т. е., сперва бросить взгляд на всё литературное поприще г. Булгарина, а потом уже, как венец дела, как последнее слово длинной речи, как разгадку загадки, рассмотреть Воспоминания“... Но как-раз в то время, когда Белинский писал обе части этой своей статьи, Булгарин подавал Дубельту свой донос на „Отеч. Записки“, одновременно запугивая цензоров письмами... Все это привело к тому, что первая, наиболее интересная часть статьи Белинского не была пропущена цензурой, за исключением четырех-пяти последних страниц, которые в виде отдельного отрывка удалось поместить в „Смеси“ „Отеч. Записок“; таким образом, Белинскому пришлось ограничиться второй частью статьи, которая и была напечатана в „Отеч. Записках“ 1846 года (т. XLVI, отд. VI, стр. 40—53). Первая же часть статьи пролежала в рукописи до шестидесятых годов, когда и появилась, наконец, в XII томе первого собрания сочинений Белинского. Но зато, по совершенно непонятной для нас причине, в это собрание сочинений (а также и во все последующие) не вошла вторая часть этой статьи Белинского, напечатанная в вышеуказанном томе „Отеч. Записок“; в настоящем издании мы впервые даем и эту вторую часть статьи Белинского“¹⁾.

¹⁾ Собр. соч. Белинского, под ред. Иванова-Разумника, изд. 3-е, П., 1919, т. III, стр. 575—576.

В дальнейшем Иванов-Разумник старается показать, что между первой и второй статьёй существует тесная, неразрывная связь. И нельзя не признать, что доводы Иванова-Разумника кажутся как-будто правдоподобными, а цельность статьи Белинского — восстановленной. Мы не знаем, какими соображениями руководствовался С. А. Венгеров, но только и он, вслед за Ивановым-Разумником, эту статью поместил в полное собрание сочинений Белинского (т. X, стр. 338—355). Между тем, производя изыскания текстов для работы „Летопись жизни Белинского“, мы наткнулись на факты, неопровержимо доказывающие, что эта так называемая вторая половина статьи о „Воспоминаниях“ Булгарина принадлежит не Белинскому, а Некрасову. По какой-то странной случайности эти факты ускользнули от внимания таких авторитетных редакторов и комментаторов Белинского, как С. А. Венгеров и Р. В. Иванов-Разумник. На принадлежность этой статьи Некрасову хотя и не утвердительно, а только предположительно, в печати впервые указала В. Дернова в своей работе „Библиография и хронология сочинений Н. А. Некрасова“ (см. „Некрасовский сборник“ под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова. П., 1918, стр. 209); но она не указала тех источников, которые дали ей основание приписать эту статью Некрасову, я же к своим выводам пришел независимо от Дерновой.]

В декабрьской книжке „Отечественных Записок“ за 1846 год, в отделе хроники, находим небольшую статью, принадлежащую, безусловно, Краевскому, в которой он писал:

„Редакция „Отеч. Записок“ в прошлом месяце разослала при разных периодических изданиях особую брошюру, под названием: Объяснение по не-литературному делу, в которой выводились наружу разные неправды, по обыкновению возводимые на нее „Северною Пчелою“. Вслед за тем, при городских афишах, появился листок, называющийся По поводу не-литературного объяснения и подписанный гг.-ми Виссарионом Белинским, Иваном Панаевым и Николаем Некрасовым. В этом листке стараются доказать 1) что г. Белинский не принимает участия в „Отеч. Записках“ с 1-го апреля 1846 года и что одиннадцатая и последняя статья его о „сочинениях Пушкина“, напечатанная в октябре, была доставлена в редакцию еще в апреле; 2) что гг. Панаев и Некрасов были постоянными сотрудниками „Отеч. Записок“, потому что первый иногда составлял статьи о французской литературе, а последний с 1843 года принимал участие в Библиографической хронике, и наконец 3) что гг. Белинский, Панаев и Некрасов „не будут помещать трудов (ы) своих (и) в „Отеч. Записках“. Не зная, с каким намерением гг. Виссарион Белинский, Иван Панаев и Николай Некрасов пустили в публику этот листок, и не имея никакого желания разгадывать эту загадку, мы должны, однакоже, в предупреждение всяких недоумений, сказать следующее:

1) В „Объяснении по не-литературному делу“ весьма ясно напечатано, что „г. Белинский не принимает участия в „Отечественных Записках“ с 1-го апреля

1846 года—Чего же еще хочет этот листок? „Следовало бы прибавить — говорит он, что одиннадцатая и последняя статья Белинского о сочинениях Пушкина, доставленная в редакцию в апреле, напечатана в октябрьской книжке“. Но мы не имели права прибавлять этого, потому что статья не была подписана г. Белинским. А почему мы не напечатали ее тотчас после того, как она была нам доставлена,—на это ответ очень прост: потому что в мае, июне, июле, августе и сентябре мы должны были поместить в отделе критики статьи более интересные, как-то: о сочинениях графа Канкринна „Хозяйство человеческих обществ“, об „Истории русской словесности г. Шевырева“, о „Преподавании отечественного языка, г. Буслаева“, о „Сборнике исторических и статистических сведений, г. Валуева“, о „Дополнениях к актам историческим, изданных археографическою Комиссиею“, о „Кратком начертании истории русской литературы, г. Аскоченского“ и проч., и проч.,—и наконец уже в октябре могли дать место статье г. Белинского. Ясно ли? ... Что же касается до г. Некрасова, то сотрудничество его с 1843 года ограничивалось составлением в две, три книжки журнала небольших библиографических статей о мелких изделиях книжной промышленности, и только в майской книжке нынешнего года помещена была довольно большая статья его—о „Воспоминаниях“ г. Булгарина“ (0. З., т. XLVI, Библ. Хр., стр. 40—53; разрядка моя).

Уже одного этого категорического указания Краевского было бы достаточно, чтобы утверждать принадлежность второй половины статьи о „Воспоминаниях“ Булгарина Некрасову, а не Белинскому.

Но кроме приведенного заявления Краевского у нас имеется по этому вопросу не менее определенное заявление Белинского, Панаева и Некрасова, которое с неопровержимой убедительностью говорит, кто является настоящим автором этой статьи. На наше счастье на страницах „Северной Пчелы“ сохранился текст того листка, о котором Краевский писал, что он первоначально был разослан при городских афишах. Листок, как мы выше видели,—назывался: „По поводу не-литературного объяснения“ и подписан был Белинским, Панаевым и Некрасовым. Мы думаем, что автором этого листка был не кто иной, как Белинский.

Ввиду исключительной библиографической редкости листка, а также ввиду того, что благодаря ему еще раз документально подтверждается принадлежность большой рецензии на „Воспоминания“ Булгарина—Некрасову, мы текст этого листка приводим здесь целиком.

По поводу „не-литературного объяснения“. Редакция „Отечественных Записок“ разослала „Объяснение по не-литературному делу“. Оставляя в стороне распрю г. Краевского с г. Булгаринным, подавшую повод к „объяснению“, мы считаем необходимым сказать несколько слов о том, что в этом „объяснении“ касается собственно до нас и нашего участия в „Отечественных Записках“. В „объяснении“ (см. стр. 5) сказано, что г. Белинский не принимает участия в „Отеч. Зап.“ с 1-го апреля 1846 г.“. Это совершенно справедливо. Г. Белинский принимал в „Отеч. Записках“ самое деятельное участие в продолжение почти семи лет; отделы критики и библиографии этого журнала преимущественно наполнялись его

трудами, начиная с восьмой книжки 1839 года и до четвертой нынешнего, когда он решительно отказался от всякого участия в журнале Краевского. Но извещая об этом, для большей ясности, следовало бы прибавить, что одиннадцатая и последняя статья г. Белинского, „О сочинениях Пушкина“, доставленная в редакцию еще в Апреле, напечатана в октябрьской книжке, и что статья эта последняя, писанная им для „Отеч. Зап.“. Иначе читатели могут подумать, что с Октября месяца г. Белинский снова принял участие в „Отеч. Зап.“, тем более что в „Объяснении“, явившемся через месяц после статьи, сказано: редакция их („Отеч. Запис.“) остается та же, сотрудники те же, что и теперь (см. стр. 7).

Далее в „Объяснении“ мы прочли: „г. Некрасов и Панаев никогда не были постоянными сотрудниками „Отеч. Записок“, а иногда или весьма редко печатали статьи свои в этом журнале (преимущественно в отделе словесности), всегда подписывая под ними имена свои“. Это не совсем справедливо: г. Панаев, с самого основания „Отеч. Записок“, то-есть с 1839 по 1846 год, помещая повести свои исключительно в этом журнале, сверх того, иногда составлял статьи о Французской Литературе, и статьи эти являлись в „Отеч. Зап.“ без подписи его имени.

Г. Некрасов с 1843 г. принимал участие в „Библиографической хронике“ и вообще статей г. Некрасова не подписанных его именем в „Отеч. Зап.“ несравненно более, чем подписанных. Не далее как в майской книжке нынешнего года „Отеч. Зап.“ большая часть „Библиографической хроники“ написана г. Некрасовым.

Были ли г.г. Панаев и Некрасов постоянными сотрудниками „Отеч. Записок“, можно лучше всего видеть из следующих собственных слов „Не-литературного объяснения“: „Постоянными сотрудниками называются те, которые принимают участие в редактировании журнала, разделяя труды редактора по главным существенным отделам его издания, каковы: Критика, Библиография, Хроника, Иностранная литература, Смесь...“ и далее: „если когда либо помещается в означенных отделах О. З. статья не постоянного их сотрудника, а постороннего автора—под нею всегда ставится его имя“ (см. стр. 5 и 6).

Затем „Объяснение“ опровергает показание своего противника, будто „От. Зап.“ покинуты своими сотрудниками. Не зная, о каких сотрудниках идет дело, мы и здесь скажем только то, что лично до нас касается: г.г. Белинский, Панаев, Некрасов, равно как г.г. Искандер, Кронеберг и некоторые другие, с 1847 г. примут деятельное и постоянное участие в „Современнике“, и помещать трудов своих в „Отечественных Записках“ не будут.

Виссарион Белинский.

Иван Панаев.

Николай Некрасов.

С.-Петербург. 12-го Ноября 1846 г.

(„Северная Пчела“ 1846 г. № 266, 25 ноября).

Как из статьи Краевского, так и из текста вышеприведенного листка, вполне определенно явствует, что с 1-го апреля 1846 года Белинский перестал быть сотрудником „Отечественных Записок“, и что после апреля в этом журнале появилась только одна одиннадцатая статья его о сочинениях Пушкина и больше ни строки.—Это вполне опровергает слова Иванова-Разумника в его вступительной

заметке к статье Белинского— „Взгляд на русскую литературу 1846 г.“, где он пишет: „С 1-го Апреля 1846 года Белинский перестал быть сотрудником „Отечественных Записок“, хотя некоторые его статьи продолжали появляться в этом журнале и после его ухода“ (Собр. соч. Белинского, т. III, стр. 731).

Кроме того, из текста „По поводу не-литературного объяснения“ вполне определенно доказывается принадлежность перу Некрасова и других рецензий в майской книжке „Отечественных Записок“ за 1846 год. Если взять Библиографическую Хронику этой книжки всю в целом, то рецензии на книги чисто литературного характера (какие только и мог писать Некрасов) оказываются следующие:

- 1) На сборник „Новоселье“, часть III, — стр. 1—14;
- 2) На „Воспоминания“ Булгарина — стр. 40—53;
- 3) Четыре рецензии на мелкие сборники стихотворений, — стр. 53—54.

Таким образом, все рецензии на книжки чисто литературного характера составят в общей сложности около 28 страниц из 54-х всей Библиографической Хроники. Цифра эта, подтвержденная словами листка, что „...в майской книжке нынешнего года „Отеч. Зап.“ большая часть „Библиографической хроники“ написана г. Некрасовым“, дает возможность сделать определенные выводы, что все вышеуказанные рецензии принадлежат Некрасову.

Тем не менее, хотя и с несомненной убедительностью выясняется, что Некрасов, а не Белинский был автором большой рецензии на „Воспоминания“ Булгарина, у нас все же остается один недоуменный вопрос, на который мы должны дать так или иначе ответ. Дело в том, что по словам Ивана Разумника, доказательством принадлежности этой статьи Белинскому „...является хотя бы то, что первая страница этой второй части является почти дословным повторением начала, не появившейся в журнале первой части этой статьи“ (Белинский. Собр. соч., т. III, стр. 576). Действительно, за исключением нескольких вступительных строк во второй статье, дальше идет почти дословное сходство текстов той и другой статьи на протяжении почти целой страницы (в издании под ред. Иванова-Разумника, стр. 581—583 и 618—619, в издании под ред. С. А. Венгерова, стр. 338—339 и 356—357).

Как же объяснить это совпадение?

Что оно не случайно, об этом, конечно, не может быть и речи. Остается только одно объяснение: когда определилось, что цензура не пропустила статьи Белинского, где он давал убийственную характеристику истории журнальной деятельности Булгарина, за отзыв о „Воспоминаниях“ Булгарина взялся Некрасов, который и решил

воспользоваться началом статьи Белинского для своей рецензии. В таком заимствовании нет ничего необычайного, т. к. это вполне было в духе литературных нравов того времени. Мы знаем, что и сам Белинский заимствовал целые отрывки из писем Боткина и из тетрадей Каткова. В письме к Боткину от 1 марта 1841 года Белинский писал: „Катков оставил мне свои тетради — я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти все его слово в слово“. (Белинский, Письма, т. II, стр. 215). Что же касается до заключительных слов статьи Белинского: „Наше дело было представить в легком очерке литературную деятельность г. Булгарина за двадцать пять лет. Как умели, мы это сделали и теперь от наших воспоминаний об его деятельности обращаемся к его собственным „Воспоминаниям“, надеясь, что те и другие будут служить друг другу комментарием...“, то слова эти определенно свидетельствуют о том, что Белинский намеревался сделать подробный разбор самих „Воспоминаний“. Но последовавший вскоре окончательный разрыв Белинского с „Отечественными Записками“ с одной стороны, и отъезд его в конце апреля на юг России — с другой, помешали очевидно ему выполнить это задание. Этот разбор, как мы видели, был сделан Некрасовым.

П. Будков.

Белинский и Макс Штирнер

З а м е т к а.

Среди идейных воздействий социальной мысли Запада на русскую общественную мысль влияние М. Штирнера на русских людей сороковых годов должно быть признано неоспоримым.

М. Штирнера читают петрашевцы—В. А. Энгельсон, бравший сочинение Штирнера на просмотр у М. В. Петрашевского¹⁾, Ф. М. Достоевский²⁾ и, вероятно, другие. Реформаторская программа М. Штирнера знакома была славянофилу А. С. Хомякову, который видел в ней критику социализма. Хомяков (в статьях: „Мнение русского об иностранцах“, „По поводу Гумбольдта“ и др.), выступая с возражениями против социализма, так освещает теорию Штирнера: На западе философский скепсис и непрерывные брожения социальные. Запад тщетно ищет нового духовного начала. Системы, появившиеся „под фирмою Овена или Сен Симона, под именем коммунизма или социализма“, наделали немало шума, но быстро пали... и все будущие попытки в этом роде обречены на неудачу. Уже несколько лет тому назад Макс Штирнер в своей книге, — не-лепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо логической“, произнес приговор над всеми системами, „произвольно создающими узы и ожидающими, что другие примут их на себя с покорностью“. Тут бессознательный протест духовной свободы. „Современная история есть живой комментарий на Макса Штирнера, физический протест жизненной простоты против книжного умничания, которое вздумало ее надувать призраками самодельных духовных начал, когда духовные начала, которыми она

1) М. Штирнер значится в списке книг библиотеки М. В. Буташевича—Петрашевского, ходивших по рукам для чтения среди членов кружка. Список приведен у В. И. Семевского „М. В. Буташевич—Петрашевский“, ч. 1. М. 1922 г., стр. 170 (и в „Голосе Минувшего“ 1913, VIII, 53—54).

2) Ср. А. П. Гроссман. Библиотека Достоевского, Одесса, 1919, стр. 11—12.

некогда действительно жила, уже не существуют“ (Ср. П. Н. Сакуллин „Русская литература и социализм“, ч. 1-я. 1922, стр. 438).

Глубокий интерес книга М. Штирнера возбудила в Белинском; ценное свидетельство о знакомстве Белинского с нею и отношении его к ее идейному содержанию сберег П. В. Анненков в своих „Литературных воспоминаниях“, в рассказе о последних годах жизни Белинского.

Это показание Анненкова как-то не обратило на себя внимание биографов; между тем оно отмечает важный момент в идеологической истории Белинского. Говоря о сороковых годах, Анненков пишет:

„Тогда много шумела известная — теперь уже позабытая — книга Макса Штирнера „Der Einzige und sein Eigenthum“ (Единичный человек и его достоинство). Сущность книги, если выразить ее наиболее кратким определением, заключалась в возвеличении и прославлении эгоизма, как единственного оружия, каким частное лицо, притесняемое со всех сторон государственными распорядами, может и должно защищаться против материальной и нравственной эксплуатации, направленной на него узаконениями, обществом и государством вообще. Книга принадлежала к числу многочисленных тогдашних попыток подменить существующие основы политической жизни другими, лучшего изделия, и достигла, как часто бывало с этими попытками, целей, совершенно противоположных тем, какие имела в виду. Возводя эгоизм на степень политической доблести, книга Штирнера устраивала в сущности дела плутократии (кстати — легкий каламбур, представляемый этим словом на русском языке, не раз и тогда употреблялся Белинским в разговоре). Ознакомившись с книгой Штирнера, Белинский принял близко к сердцу вопрос, который она поднимала и старалась разрешить. Оказалось, что тут был для него весьма важный нравственный вопрос“.

Утверждение Анненкова, что книга Макса Штирнера глубоко затронула Белинского, не подлежит сомнению. Действительно, так и было. В письме к Боткину от 17 февраля 1847 года Белинский спрашивает своего друга: „прочел ли ты книгу Макса Штирнера?“. Без сомнения, здесь сквозит заинтересованность книгой, и письмо подкрепляет рассказ Анненкова.

Но последний записал и размышления Белинского по поводу основной идеи книги М. Штирнера. Как бы условна ни была точность записи Анненковым „смысла речи“ Белинского, это „собрание с помощью уцелевших в памяти отрывков“ рассуждений Белинского имеет значение и должно быть учтено исследователем. Не портя изложения Анненкова нашим пересказом, приведем слово в слово его сообщение:

Пугаться одного слова „эгоизм“, говорил Белинский, было бы ребячеством. Доказано, что человек и чувствует, и мыслит, и действует неизменно по закону эгоистических побуждений, да других и иметь не может. Беда в том, что мистические учения опозорили это слово, дав ему значение прислужника всех

низких страстей и инстинктов в человеке, а мы привыкли уже понимать его в этом смысле. Слово было обесчещено понапрасну, так как в сущности обозначает вполне естественное, необходимое, а потому и законное явление, да еще и включает в себе, как все необходимое и естественное, возможность морального вывода. А вот я вижу тут автора, который оставляет слову его позорное значение, данное мистиками, да только делает его при этом мяяком, способным указывать путь человечеству, открывая во всех позорных мыслях, какие даются слову, еще новые качества его и новые его права на всеобщее уважение. Он просто делает со словом то же, что делали с ним и мистики, только с другого конца. Отсюда и выходит невообразимая путаница: я полагаю, например, что книга автора найдёт восторженных ценителей в тех людях, одобрения которых он совсем не желал, и строгих критиков в тех, для которых книга написана. Нельзя серьезно говорить об эгоизме, не положив предварительно в основу его моральный принцип, и не попытав затем изложить его теоретически, как моральное начало, чем он, рано или поздно, непременно сделается.

Я передаю здесь смысл речи Белинского в том порядке, как она запечатлелась в моей памяти, и конечно, другими словами, а не теми самыми, такие он употреблял, несколько раз, при разных случаях и в разное время возвращался он опять к вопросу, который видимо занимал его. Не могло быть сомнения, что вопрос связывался с последним видоизменением долгой моральной проповеди, которую Белинский вел всю свою жизнь, и постепенное развитие которой было уже нами представлено. Заключительное слово этой проповеди настолько любопытно, что может оправдать попытку собрать его заметки, с помощью уцелевших в моей памяти отрывков, в одно целое, причем необходима оговорка, уже столько раз прежде делаемая, что изложение не дает ни малейшего понятия о пыле и красках, какие сообщал автор своему слову, ни о форме, в какую вылилась его речь.

— Грубый животный эгоизм — размышлял Белинский, — не может быть возведен не только в идеал существования, как бы хотел немецкий автор, но и в простое правило общежития. Это раз'единяющее, а не связывающее начало в своем первоначальном виде и получает свойство живой и благодетельной силы только после тщательной обработки. Кто не согласится, что чувство эгоизма, управляющее всем живым миром на земле, есть также точно источник всех ужасов, на ней происходивших, как и источник всего добра, которое она видела! Значит если нельзя отделаться от этого чувства, если необходимо считаться с ним на всех пунктах вселенной, в политической, гражданской и частной жизни человека, то уже сама собой является обязанность осмыслить его и дать ему нравственное содержание. Точно то же было сделано для других таких же всесветных двигателей — любви, например, полового влечения, честолюбия, — и нет причины думать, что эгоизм менее способен преобразоваться в моральный принцип, чем равносильные ему другие природные побуждения, уже в него возведенные. А моральным принципом эгоизм делается только тогда, когда каждая отдельная личность будет в состоянии присоединить к своим частным интересам и нуждам еще интересы посторонних, своей страны, целой цивилизации, смотреть на них, как на одно и то же дело, посвящать им те самые заботы, которые вызываются у нея потребностью самосохранения, самозащиты и прочее. Такое обобщение эгоизма и есть именно преобразование его в моральный принцип. Вот уже и теперь есть примеры в некоторых государствах таких передовых личностей, которые принимают оскорбление, нанесенное одному человеку на другом конце света, за личную обиду и обнаруживают настойчивость в преследовании незнакомого преступника, как будто дело идет о восстановлении собственной чести. И заметить надо, что при этом любовь, сочувствие, уважение и вообще

сердечные настроения не играют ни какой роли—покровительство распространяется в одинаковой мере на людей, часто презираемых от всей души защитниками их, на таких, которых последние никогда не допустят в свое общество, да случается, не признают пользы и самого существования их на свете. Что это такое, как не эгоизм, превосходно воспитанный и достигший уже до чувствительности строгого, нравственного начала. Но таких передовых личностей еще очень мало — и они остаются покамест исключениями. Французы обозначают словом солидарность эту способность сберегать самого себя в других, и пытаются сделать из него научный термин, вводя понятие, которое оно выражает, в политическую экономию, как необходимый ее отдел. А что такое солидарность как не тот же эгоизм, отшлифованный и освобожденный от всех частиц грубого материала, входившего в его состав. Говорят, что все старые и новые философы и проповедники тоже учили искони думать о ближнем более чем о самом себе. Это правда, но они не столько учили, сколько приказывали верить своим словам, требуя жертв и не обещая никаких вознаграждений за послушание, кроме похвал совести, и успех этих приказаний был таков, как известно, что эгоизм живет и доселе повсеместно в самом сыром и не тронутом виде. О нас уже и говорить нечего. Несмотря на многовековые приказы быть чувствительными к страданиям ближнего, найдется ли у нас пяток человек, которые возмутились бы ударами, падающими не на их собственную кожу? Единственную крепкую и надежную узду на эгоизм выковывает человек сам на себя, как только доходит до высшего понимания своих интересов. Немецкий автор напрасно соболезнует о жертвах, какие требуются теперь от каждой отдельной личности государством и обществом, и напрасно старается защитить эту личность, проповедуя всеотрицающий эгоизм, настоящий эгоизм будет всегда приносить добровольно огромные жертвы тем силам, которые способствуют облагораживанию его природы, а это именно и составляет задачу всякой цивилизации. Государство и общество никакой другой цели в сущности и не имеют, кроме цели способствовать превращению животного эгоизма личности в чуткий, восприимчивый духовный инструмент, который сотрясается и приходит в движение при всяком веянии насилия и безобразия, откуда бы они ни приходили!...

Пусть в пересказе Анненкова, часто неточного в воспоминаниях¹⁾, будет только зерно истины. Но и на основании этого можно сделать некоторые выводы.

Если Хомяков для защиты своей славянофильской доктрины, в целях полемических, использовал только разрушительную тенденцию неприемлемой для него по существу доктрины Штирнера, ссылаясь на нее, как на резкое опровержение идей утопического социализма, то Белинский, напротив, воспринимает основную идею сочинения анархиста Штирнера и вскрывает ее социальное устремление; он видит в ней положительное достижение современной мысли. Белинский указывает слабые стороны в учении Штирнера, хочет строже провести истолкование термина „эгоизм“ в позитивном смысле. Отметим, что на восприятии Белинским идей Штирнера сказалось

¹⁾ Д. В. Рязанов в своей книге „К. Маркс и русские люди сороковых годов“ указывает не раз на отклонения Анненкова в его показаниях от действительности (в изд. Петр., 1918 г., см. стр. 57, 92 и др.).

несомненно переживаемое им в те годы раздумье над социализмом. Им-то и окрашена вся оценка Штирнера, которую слышал от Белинского Анненков. Сквозь туманную оболочку рассуждений о „солидарности“, о пропитывании моральным принципом эгоизма, светится мысль Белинского о социальном переустройстве жизни; туда же бесспорно метит Белинский, говоря о „высшем понимании своих интересов людьми, когда отдельная личность... в состоянии присоединить к своим частным интересам и нуждам еще интересы посторонних, своей страны, целой цивилизации“...

Мы не можем привести других свидетельств для суждения об усвоении Белинским теории Штирнера, о его откликах на нее,— таких материалов пока нет. Но их стоит поискать, чтобы полнее осветить этот вопрос.

Н. Бельчиков.

К иллюстрациям.

Перед текстом. Снимок с портрета елинского работы К. А. Горбунова. Воспроизводится впервые. История этого редчайшего портрета такова. А. Н. Пыпин в своей известной книге: „Белинский, его жизнь и переписка“ (первое издание—1876, второе—1908), по поводу известного портрета Белинского, писанного доровитым портретистом сороковых годов К. А. Горбуновым в 1843 году, пишет: „Нам известен еще один небольшой акварельный портрет, деланный, кажется, тем же Горбуновым гораздо ранее, вероятно, еще в Москве. Эта акварель принадлежала В. П. Боткину и находится теперь у М. П. Боткина. Белинский изображен здесь с совершенно юношескими чертами, но не знаем, насколько верно переданы эти черты“. Через год после написания этих строк, в 1877 г., М. П. Боткин пожертвовал этот портрет в Российскую Публичную Библиотеку (Ленинград), где он и хранится доселе. Снимок с портрета доставлен в сборник А. И. Кондратьевым вместе с следующей справкой: „Портрет-акварель хранится в Рукописном Отделении Библиотеки. Вставлен в черную рамку со стеклом. Задняя сторона наглухо заклеена картоном и на нем имеются следующие две надписи—рукою В. П. Боткина: „Портрет Белинского работы Горбунова. 1838 г.“, рукою В. В. Стасова: „Белинский 1838 г.“. Размер портрета: 20×24 сантиметра. „Что касается поставленного Пыпиным вопроса о сходстве портрета 1838 года с оригиналом, то его следует решить положительно. В собрании сочинений Белинского под редакцией С. А. Венгерова, т. II (1900) воспроизведен другой, тоже акварельный, портрет Белинского, принадлежавший инспектору Московского Межевого Института кн. П. Д. Козловскому и писанный одним из воспитанников Института, „отличавшимся умением рисовать с натуры“; „портрет был очень похож“. Этот портрет сделан около 1838—1839 гг. При сличении обоих портретов сразу очевидно их сходство между собою. Разница только в том, что публикуемый нами портрет работы К. А. Горбунова сделан не дилетантом-учеником, а настоящим художником-портретистом.

Перед текстом. Снимок с бюста Белинского. Воспроизводится впервые. Бюст—работы скульптора В. Н. Домогацкого (1923). Собственность Российской Академии Художественных Наук.

— К стр. 57. Снимок с автографа письма Белинского к В. П. Боткину, от 12 августа 1838 г. Воспроизводится впервые. Историю письма см. выше, в статье И. Л. Поливанова. Доставлено для сборника И. Л. Поливановым.

— К стр. 81. Снимок с автографа письма Белинского к его брату Константину Григорьевичу Белинскому, от 21 мая 1832 г. Воспроизводится впервые. Хранится в Пушкинском Доме Российской Академии Наук в Ленинграде, куда поступило из собрания академика А. Н. Пыпина. Пометка в верхнем левом углу письма: „От Дм. П. Иванова. А. П. 1874“—сделана рукою Пыпина. Доставлено для сборника Н. К. Козминым.

— К стр. 197. Снимок с автографа письма Белинского к А. Я. Кульчицкому, от 3 сентября 1840 г. Воспроизводится впервые. Александр Яковлевич Кульчицкий был одним из харьковских друзей Белинского. О нем много упоминаний в переписке Белинского. Письмо напечатано во втором томе писем Белинского под редакцией Е. А. Лядского, П., 1914, стр. 155—157, стр. 395—396. Хранится в Пушкинском доме; сообщено Н. К. Козминым. Пометка в левом верхнем углу письма сделана Пыпиным.

— К стр. 153. Снимок с автографа статьи о „Мертвых Душах“. Воспроизводится впервые. Подлинник хранится в б. Румянцовском Музее, ныне Всероссийская Публичная Библиотека имени В. И. Ленина (Рукописное Отделение, Музейное собрание, папка автографов Белинского, № 3322). Доставлено Н. Ф. Бельчиковым. Статья Белинского о „Мертвых Душах“ напечатана в измененном виде в „Современнике“ 1847, № 1 (цензурное разрешение—30 декабря 1846 г.). С автографа Румянцевского Музея статья была воспроизведена в издании: „Семь статей Белинского. Под редакцией П. А. Ефремова и В. Е. Якушкина“. М. 1898 (однако без точного перечня исправлений в рукописи).

— К стр. 209. Снимок с первой страницы „Литературных Мечтаний“ Белинского в „Молве“ 1834, № 38 (цензурн. разреш. 21 сент. 1834). Воспроизводится впервые. Доставлено Н. Ф. Бельчиковым.

— К стр. 241. Снимок с автографа письма Я. П. Полонского к Белинскому, от 11 мая 1842 г. Воспроизводится впервые. Историю письма см. выше, в статье И. Л. Поливанова. Подлинник письма хранится в Пушкинском Доме. Доставлено Н. К. Козминым.

— К стр. 241. Снимок с автографа письма Я. П. Полонского в Пензенскую Публичную Библиотеку. Воспроизводится впервые. Историю письма см. выше, в статье И. Л. Поливанова. Доставлено им же.

— К стр. 273. Снимки с фотографий родственников Белинского. Воспроизводятся впервые. Собственность Российской Академии Художественных Наук. Доставлены А. И. Кондратьевым от престарелой внучки Белинского по брату Константину, Антонины Петровны Стрельцовой из Тверской губ. 1) Мария Васильевна Белинская, урожденная Орлова, жена Виссариона Григорьевича, в пожилом возрасте. 2) Ольга Виссарионовна Белинская, в замужестве Бензи (род. 13 июня 1845 г.), дочь Виссариона Григорьевича. 3) Ольга Константиновна Белинская, в замужестве Прозорова, дочь брата Белинского, Константина Виссарионовича. 4) Митрофан Константинович Белинский, брат Ольги Константиновны Прозоровой, родной племянник Белинского.

Р е д.

Работы Российской Академии Художественных Наук.

1. Искусство. Журнал Российской Академии Художественных Наук. 1923. № 1. Гиз. 450 стр.
2. Венок Белинскому. Новые страницы Белинского. Речи, исследования, материалы. Редакция **Н. К. Пиксанова**. М. 1924. „Новая Москва“. 285 стр.
3. Всероссийская Художественно-Промышленная Выставка. Бюллетени. №№ 1—3. 1923. Редакция **А. И. Кондратьева**. Изд. Р. А. Х. Н. 16—28—22 стр.

По Литературной Секции.

4. Летопись жизни Белинского. Составили **Н. Ф. Бельчиков**, **Ю. Г. Оксман** и **П. Е. Будков**. Редакция **Н. К. Пиксанова**. М. 1924. Гиз. XVI+283 стр.

По Театральной Секции.

5. А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. Переписка. Редакция **Н. Л. Бродского**, **Н. П. Кашина** и **А. А. Бахрушина**. М. 1923. Гиз. 498 стр.
6. Творчество А. Н. Островского. Сборник статей. Редакция **С. К. Шамбинаго**. М. 1923. Гиз. 365 стр.
7. **Георг Кайзер**. Драмы. Переводы **П. А. Маркова**, **А. С. Цуккера**, **Шика**, **В. Э. Морица**, **С. А. Полякова** и **Н. Е. Эфроса**. Предисловие **А. В. Луначарского**. М. 1923. Гиз. 300 стр.

По Музыкальной Секции.

8. Современная музыка. Сборник Ассоциации Современной Музыки при Р. А. Х. Н. Редакция **Л. Л. Сабанеева**, **В. М. Беляева** и **В. В. Держановского**. № 1. М. 1924. 32 стр. Изд. „Современная музыка“—№ 2. М. 1924. 32 стр.—№ 3. М. 1924. 32 стр.

По Полиграфической Секции.

9. Гравюра и книга. Редакция **А. А. Сидорова**. № 1. М. 1924. Изд. „Гравюра и книга“. 48 стр.—№ 2. М. 1924. 80 стр.
10. Книга в России. Т. I и II. Гиз. М. 1924.

По Библиографическому Кабинету.

11. Художественная литература в оценке марксистской критики. Составила **Р. С. Мандельштам**. Редакция **Н. К. Пиксанова**. Изд. 2-е. М. 1923. Гиз. 95 стр.—Изд. 3-е. М. 1924. Гиз. 170 стр.

09565



2

Цена 4 руб.

2018813378

